

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова

Верстка: О. Н. Вялкова

4/2019

Содержание

ПРОЗА

Валерий КОПНИНОВ. Гоголь-моголь, или Майская ночь на рождество. Рассказ.	3
Михаил ПОЛЮГА. К строевой годен. Повесть.	20
Дарья СЕЛЮКОВА. Холодные дни. Рассказы.	73
Наталья КОРОТКОВА. Письмо в головной офис. Рассказ.	89
Алексей ИВИН. Аника-труженик. Рассказ.	105
Надежда ПЕРМИНОВА. Тонькина кукла. Рассказы.	112
Сергей ВЛАДИМИРОВ. Старик и собака. Рассказ.	121
Нина МИХАЙЛОВА. Коренная порода. Рассказы.	129

ПОЭЗИЯ

Любовь КОЛЕСНИК. «Там, где раньше были канцтовары...» Стихи.	16
Владимир КРЮКОВ. Невозвратимая пора. Стихи.	71
Анжела БЕЦКО. Дом на пропажу. Стихи.	84
«В нашем марте вооруженном». Дмитрий Трибушиный, Сергей Шаталов, Иван Волосюк, Анна Ревякина. Стихи поэтов Донецка.	100

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Татьяна САВЧЕНКОВА. Тобольский поэт-романтик Иван Нагибин и его поэма «Алтын-Аргинак».	138
Иван НАГИБИН. Алтын-Аргинак. Поэма.	141

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Лариса ПОДИСТОВА. Рождение сибирской легенды. <i>К 75-летию Государственного академического Сибирского русского народного хора. Очерк первый.</i>	147
Анатолий КИРИЛИН. Давай умрем в Чарышском! <i>Путевой очерк.</i>	160

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Михаил ХЛЕБНИКОВ. Роман Алексея Иванова «Тобол», или О пользе прямолинейности.	177
--	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Владимир ЧИРКОВ. «Железный скульптор» Александр Капралов. ...	187
--	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Валерий КОПНИНОВ

**ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ,
ИЛИ МАЙСКАЯ НОЧЬ
НА РОЖДЕСТВО**

Р а с с к а з

День выдался хлопотным. Да и неудивительно. День рождения как-никак. А родившемуся в мае суждено всю жизнь маяться. В лучшем случае — пятьдесят на пятьдесят. И хотя я уже давно шагнул в возраст, когда праздник этот стал скорее грустным, чем веселым, все равно было чертовски приятно услышать о себе столько хороших слов и получить массу добрых пожеланий.

«Олег, мы с тобой знаем друг друга с первого класса! Ты всегда был для меня, есть и будешь...»

«Дружочек ты мой дорогой! Человечище...»

«Олежка! Люблю-люблю-люблю! Целую тебя нежно... всего-все-го... Не забывай свою...»

«Ну что я могу сказать в этот знаменательный день? Живи лет до ста... Одним словом, будь!...»

Это и много еще чего в таком же духе — с самого утра и до сумерек! — про меня. В честь именинника, так сказать. И если вообразить хотя бы пятую часть из того, что наговорили обо мне друзья и знакомые, соответствующей действительности, то можно считать: жизнь я проживаю не зря! А в славное, доброе и светлое (о себе) хочется верить безоговорочно.

К вечеру я порядком устал. И потянуло меня принять горизонтальное положение. По телевизору шла очередная мура про патологически сообразительных сыщиков. Под их сверхдлинные и сверхумные разговоры я не заметил, как задремал...

Разбудили меня чьи-то осторожные шаги и тихое, невнятное бормотание. Открыв глаза, я увидел склонившегося у книжных полок незнакомого мужчину в длинном темном плаще с какой-то странной пелериной, напоминающей сложенные крылья.

«Еще не проснулся», — решил я и снова сомкнул веки. После повторного открывания глаз мужчина не исчез.

«Ничего себе подарок на день рождения! — уже обеспокоенно подумал я. — Вор? Мерещится?.. Или все-таки нет?» Предвидя вашу ухмылку, замечу, что я уже давненько не злоупотребляю в таких количествах, чтобы мне кто-то мерещился. Да и раньше пить я умел и до белой горячки дело не доходило. Поэтому, извините, «кто виноват?» — вопрос неуместный. А вот что делать?»

Можно было, конечно, заорать, выхватить гантель из-под дивана, но... Что-то угадывалось в этой вороньей фигуре знакомое. И в плаще. Даже очень.

— Толстой, Набоков, Шукшин, Маркес, Булгаков, я... — шептал незнакомец, разглядывая корешки книг.

Да, прямо так и сказал: «Я». Что еще больше меня обескуражило. Я ведь знал, кто стоит за Булгаковым.

Я кашлянул. Мужчина повернулся, прошелестев старомодной пелериной плаща — в самом деле, точно крыльями, — и приветливо кивнул, клюнув воздух крупным носом. Да! Несомненно! Господи... Вот так птица прилетела! Лицом человек этот оказался удивительно похож на Николая Васильевича Гоголя. Профиль — один в один! И стрижка каре.

— А я и есть, — с мягким южным выговором неожиданно произнес незнакомец, — Николай Васильевич Гоголь. Тот самый.

— Великий русский писатель? — машинально спросил я.

— Ну да, так меня величают потомки, хотя современники разное говорили, — грустно улыбнулся мужчина, выдающий себя за Гоголя.

Нет, ерунда какая-то! Совсем уже, что ли? Даже потихоньку зло начало разбирать. Пришел тут, плетет бог знает что. Чудак... на букву «м»!

— Ладно, хорошо. Чур тогда я — Пушкин! — вызывающе заявил я.

А что мне было терять? Если сегодня кто-то объявил день дураков, значит, любые шутки уместны.

— Пушкин — это, конечно, слишком, пока во всяком случае. Но вы ведь тоже писатель, Олег Валентинович, — продолжал гнуть свою линию лже-Гоголь. — Хоть и начинающий. И стихи сочиняете. Я читал, и мне многое понравилось... Про Есенина — недурно! И про любовь... ну, где пчелы. Особенно про вкус меда на губах, где ваши глагольные рифмы как нельзя кстати! И на память хорошо легло.

Май создан затем, чтобы маяться,
 Скатиться до края и каяться,
 Чтоб всласть покутить, позабавиться
 На страстных амурных пирах.

Пусть кто-то, поверив, обманется
 И даже до крови поранится —
 Вкус меда надолго останется
 На наших греховных губах...

Я слушал строчки моих стихов и недоумевал: а он-то откуда их знает? Ведь я, собственно, никому и не показывал. А имя мое откуда? Отчество?

— Это же улица Кузнецкая, дом 127, квартира 27?

— Она самая.

— Все просто: я вас разыскал через адресное бюро.

— Но сейчас нет никаких адресных бюро! — скептически усмехнулся я.

— У вас — нет, — еще более скептически усмехнулся лже-Гоголь в ответ. — А у них, в высших сферах, есть!

— У них... В высших сферах... Уважаемый, если вы Гоголь, предъявите документы, — предложил я. — Так, на всякий случай.

— Зачем такие формальности? — засмеялся мужчина. — Ну хотите, я что-нибудь из своих произведений наизусть расскажу? Поверите тогда?

— Ага, «Птицу-тройку», которую каждый дурак зубрил в восьмом классе, — хмыкнул я, изобразив на лице чуть ли не презрительную гримасу.

— Зачем «Птицу-тройку»? — отвечает. — Давайте что угодно. Без дураков!

Открыл я «Вечера на хуторе близ Диканьки», ткнул пальцем. Попал в «Ночь перед Рождеством».

— Перескажи... те, — предлагаю, — сцену, когда черт намылился к Солохе!

— Ради бога! Мне, кстати, это место тоже нравится. Сейчас, момент... Вот, пожалуй, отсюда начну... *«Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу...»*

И он начал шпарить как по писаному! Причем не близко к тексту, а слово в слово! Тут я и поверил. Да и любой бы на моем месте — тоже.

А еще меня заворожил исходящий от него сладкий запах, при всей своей сочной осязаемости непривычный для дня нынешнего. Полузабытого происхождения. Что-то осевшее некогда в памяти, напоминающее жаркий аромат воска церковных свечей и одновременно какой-то сдобной выпечки, возможно пасхального кулича.

— Я рад, конечно, Николай Васильевич, — замямлил я, немножко растерянный и сбитый с толку, — но чем заслужил... честь такую?

— Я же говорю: пришел поздравить начинающего писателя с днем ангела, как говаривали в стародавние времена. Кстати, про ангелов. Запах, который вы изволили почувствовать, не мой. Это запах от попутного ангела, что доставил меня к вам. А я, пардон, бестелесный, и пахнуть во мне нечему-с! Итак, у вас ведь сегодня день рождения! Сколько стукнуло-то? Пятьдесят...

— ...три, — неохотно отозвался я.

Неохотно, потому как уже неоднократно (и каждый раз безуспешно) пытался понять для себя, почему это после сорока годы жизни понеслись с такой головокружительной скоростью, словно курьерский поезд, нагоняющий график. И чем дальше, тем быстрее. Поэтому каждый год, с гадкой периодичностью прибавляемый к возрасту, ввергал меня в уныние. И философские тезисы типа: «Мои года — мое богатство» не вселяли желанного оптимизма...

А Гоголь продолжал читать мои мысли:

— Ну вот... мужчина в поисках оптимизма! В вашем возрасте пора бы и о душе задуматься! Скачете, как мальчик, а там, наверху, — он ткнул перстом в потолок, очевидно, намекая на небеса, — вас ждет нелицеприятный приговор Высшего суда! Вы понимаете? Высшего. За вами куча грехов!

— Действительно, куча? — поинтересовался я с некоторой надеждой на ошибку.

— А вы как думаете? — ехидно спросил Гоголь. — Считаете себя паинькой?

Я молчал. Нет, о паиньке не могло быть и речи, но и давать показания на себя я тоже не собирался.

— Ваши «показания» никому не нужны, — разглядел мои томления Гоголь. — Это от прокурора можно правду скрыть, а от Небесной канцелярии — никогда. Как там в песне поется? «Мне сверху видно все — ты так и знай!» Подтверждаю: видно — все!

— То есть они за нами — как в замочную скважину? — вдруг что-то похожее на негодование прорвалось из меня. — И они еще о совести говорят? И они...

— Не вам, уважаемый Олег Валентинович, — Гоголь вновь поднял перст, но теперь уже с предостережением, — человеку, подверженному порокам, разглагольствовать о совести! К тому же для них там, наверху, нет необходимости в слежке. Вся ваша жизнь — открытая книга.

— Ну и что они там, — теперь уже я, копируя жест Гоголя, ткнул вверх, — называют пороками?

— А вы ведь, Олег Валентинович, не случайно в моей книженции угодили пальцем туда, где находилась несравненная Солоха вкупе с чертом! Я вот о чем: *«Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить...»* Понимаете? Или пояснить?

— Понимаю. Допустим. И что, доказательства есть?

Вместо ответа Гоголь вынул откуда-то из рукава несколько желтоватых листов толстого пергамента с неровными краями по левой кромке и протянул мне. Какая-то каллиграфическая вязь вместо привычных букв заполняла страницы. Что это? На каком языке? Я не улавливал.

— Это старославянский. Ничего, сейчас глаза у вас попривыкнут и все станет понятным.

«...и буде оный Олег сын Валентинов от жены законной гуляти, и на девиц молодых и жен чужих жадным оком поглядывати, и вести речи, кои разум девицам и женам чужим затмевати будут и ко греху склоняти. Что повелось у оного с младых ногтей его. А первую блудницею стала ему сестра супруги сродного брата, шестнадцать годов с осьмушкою. Во ту пору, когда оный Олег имел возрасту четырнадцати с половиною годов. Будучи оба-двое одурманены вином. И срамной тот облик обрета, он и ввел названную в смуту...»

Ну да, было такое. Первый мой сексуальный опыт — Светка, младшая сестра жены брата двоюродного. В общем, объяснять — язык сломаешь, кто кому и кем приходится. Главное, что стала она для меня открытием нового и взрослого качества жизни, направив мои ищущие выхода токи, аккумулировавшиеся в теле, в нужное русло. Раз и навсегда снимая с меня ту страшную дух и плоть, еще мальчишескую боязнь проникновения в неведанное, иное.

Да только кто кого «в смуту ввел»? Светка та еще штука была! И она стала моей первой... Там о чувствах нежных говорить, конечно же, преждевременно. И все же. Будь моя воля, я давал бы звание «Первая женщина» тем дочерям Евы, кто открывает нам, мужчинам, путь к обретению своего места в природном ритуале таинства...

Но! Откуда такие подробности? Знали-то о случившемся: я, Светка да пара дружков закадычных, кому я, не выдержав, похвастался. Да что же это творится на белом свете, люди добрые? Что это?

— Это — «Житие Олега сына Валентинова из рода Масленниковых». Ваше то есть. И в руках вы держите далеко не полный перечень свершений неправедных. Это так, избранное. Наиболее объемно в своде грехов представлены прелюбодеяния! Я вырвал несколько страниц — вам преподнести. Перевод ваш не очень точный, но основную суть вы схватываете.

— А кто составил сей документ, — заговорил я, невольно вставляя в речь слова древнего языка, — это «Житие»... мое?

Выражение «житие мое» всплыло из гайдаевского фильма про царя Ивана Грозного, перенесенного на машине времени в наши (хотя семидесятые годы прошлого века давно уже не наши) дни. Так, может быть, Гоголь тоже?..

— И мне доводилось постановку ту лицезреть. Как там?.. «Какое житие твое, пес смердящий?» — процитировал Гоголь, опять уловив ход моих мыслей. — Нет, я прибыл к вам не на машине времени, поскольку таковой не существует. Увы, об этом глаголят факты науки. А способ своего прибытия я вам изложил... Ну так что, интересуется вас автор «Жития» вашего?

— Разумеется! — с нахальством, заменяющим достоинство, ответил я.

— Один падший ангел. Из этой среды частенько привлекаются особи для подобных работ в канцелярию, чтобы чистые ангелы из любви к своим подопечным не вымарывали некоторые прегрешения человеческие. А ваше «Житие» писал некий Лаврентий Берия.



— Что?! — заорал я. — Падший ангел — Берия? Тот самый?

— Шутка, — беззлобно рассмеялся Гоголь и добавил, подражая голосу Юрия Никулина: — Бамбарбия! Киргуду! Ха-ха-ха!.. Ладно, отвлеклись. Читайте дальше. Только давайте присядем. В ногах-то правды нет... Но правды нет и выше! Ха-ха-ха! Извините. Это не я — это Пушкин... И позвольте сначала с вас расписочку получить.

— Какую расписочку?

— Что не разгласите открывшиеся вам тайны. Информация-то секретная. Прямо оттуда. — На этот раз он не прибегнул к указующему персту, а просто зыркнул очами вверх. — Пишите...

И под диктовку Гоголя я набросал следующее:

«Я, Масленников Олег Валентинович, обязуюсь и торжественно клянусь не разглашать полученных сакральных знаний об имеющемся в архивах Небесной канцелярии перечне грехов, взятых мною на душу в течение дарованной мне свыше жизни. Дабы не нарушить своей невоздержанностью естественную суть вещей и событий. И если клятву эту порушу словом, то пусть окаменеет мой болтливый язык, а если порушу делом и изложу оные сведения на бумаге, то пусть конечности мои станут немоцны, отсохнут члены и мозг иссушится до размера грецкого ореха...»

И соответственно: дата, подпись.

— Кровью бы расписаться не помешало, — сокрушенно промолвил Гоголь. — Ну да ладно.

Но я бы лучше кровью расписался за право удалить из клятвы маленькую фразу про отсохнувшие члены. Отчего-то фраза эта не понравилась мне особенно.

Пока мы беседовали да писали расписку, наступила полноценная майская ночь. Гоголь растворил окно, впуская в комнату воздух, казалось, в равных пропорциях перемешанный с лунным светом, и, вдохнув полной грудью трепетный аромат, составленный из цвета сирени и яблони, сказал с некоторым даже упоением:

— Прелюбодеяние — это грех!

Я подивился слегка его тону, однако промолчал.

Мы сели на подоконник, свесив ноги на улицу. Не могу утверждать, что я любитель сидеть вот таким образом на подоконнике квартиры восьмого этажа, но Гоголь, разместившись первым, предложил последовать его примеру. И я не смог отказаться.

Под нашими свисающими в пропасть ногами, беззащитно обнажая серебристую изнанку листьев, шумели раскидистые кроны тополей, не в силах противостоять легкомысленным порывам теплого ветра. Я с крепнущим дурным предчувствием взял из рук Гоголя пергаменты и попробовал разобрататься в них, толком не понимая, с чего начать.

«Прелюбодеяние, посреди прочих, из самых скверных грехов пребудет. И через потворство коему человек совершает падение в пучины низменного. Тот недостойный, что возжелал жены соседа своего...»

Я испугался. Ну а как вы хотели? Я влюбчивый. А тут — документ!



«...ибо гласит заповедь: не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его...»

И ведь, действительно, случалось мне возжелать неоднократно. Дома ближнего моего мне не надо и дальнего тоже. Оsla, вола и раба — тем более. А вот жены чужой...

Похоже, что все замешивалось всерьез. Буквы поплыли, пальцы задрожали. Будто уже вынесенный приговор держал я в руках.

— Да не волнуйтесь вы так, Олег Валентинович, — подбодрил меня Гоголь. — Пропустите всякие формальности, читайте главное.

Немного успокоившись, я углубился в чтение «Жития». Все мои грехопадения были описаны с канцелярской тщательностью и беспристрастностью, с констатацией мотивов, которые я когда-то толковал для себя совсем иначе. Не стану приводить здесь полного текста. Во-первых, расписка обязывает. А во-вторых и в главных, в тексте фигурировали фамилии женщин, на момент нашей близости (да и в настоящее время) числящихся добропорядочными женами. Были там и мои коллеги, с которыми случались у меня служебные романы, — дамы безупречной репутации! Были там — у меня, семейного человека! — проститутки, купленные, как товар, за деньги. Были и... Да кого там только не было! Некоторые имена я помнил смутно. Чьих-то имен вовсе не знал. Стыд-позор! Я считал, что тайны моей жизни принадлежат лично мне. Конечно, разрозненные крупинки доступны и соприкасавшимся со мной людям. Но всё целиком — только мое. А, оказывается, это собрано, систематизировано и готово к применению.

«Слушается дело Масленникова Олега Валентиновича, обвиняемого в...» — поплыла в моем воображении речь архангела Михаила, сопровождаемая мерным колокольным звоном. И от тех колоколов, звонивших, очевидно, по мне, стыд встал в горле плотным комом, делая меня самого пустотелым и невесомым сосудом с запечатанным внутри, словно законсервированным, грехом.

— И что скажете на это? — тактично полюбопытствовал Гоголь. — Может, есть у вас смягчающие обстоятельства?

— Никогда я не желал, — начал я издали, пытаясь ухватиться за соломинку, — дома ближнего своего. Ни вола его, ни осла его...

— Честь вам и хвала! — усмехнулся Гоголь. — А жены ближнего? Вы же сами изволили давеча признаться мысленно. Впрочем, дело не только в женах. Список ваших женщин разнообразен и не так уж короток... Что, не можете поставить точку в полигамном поиске?

«Да что это он всё хаханьки строит? — не решаясь обратиться напрямую, огрызнулся я про себя, понимая, что все мои внутренние монологи Гоголь слышит не хуже произнесенных вслух. — Я же не единственная паршивая овца в стаде! Такова человеческая природа. И не все, что ведет нас к прелюбодеянию, от плоти исходит. В человеке сложности иные. Не просто инстинкт самца и самки. В нас биохимия высшего порядка. Оттого мы в определенном состоянии все рациональные законы

нарушаем и притяжение земное преодолеваем. И все это — любовь! Вот в чем дело! Любовь все равно что полет. Возможность обрести крылья такие, которые не из плоти телесной состоят. А иначе вся красота и нежность того, что рождается между мужчиной и женщиной, да и само желание обладать, смешанное с потребностью принадлежать, — невозможны! Ласки, поцелуи станут просто случайкой, физкультурой для определенной группы мышц. И не моя вина или кого-то из живущих на земле, что любовь многолика...

Что могу я противопоставить движению планет, подчиненных логике мироздания? Да и зачем? Все существует так, как предназначено! Они входят в мою жизнь и берут мое сердце в теплые ласковые ладони: Светы и Тани, Наташи и Ольги, Ирочки и Надюши, Леночки Сергеевны и Галочки Ивановны. Первые... седьмые... двенадцатые... тридцать третьи... Список слишком длинный получается. Контора пишет. Обюрократились совсем!

Любовь! Вот ответ всему. Любовь!

А что же еще заставляло меня на танцах в пионерском лагере, сжимая одной рукой ладошку юной красотки, а другую держа на ее талии, терпеть зверские укусы комаров, залетевших в брючину модных в то время «колоколов»? С чего бы ради я выуживал всю мою скудную студенческую наличность, обрекая себя на голодный паек, чтобы одна милая девушка получила большущий букет роз на день рождения? Каким таким образом завязывались у меня длительные и доверительные отношения с представительницами древнейшей профессии, что позволяли целовать себя в губы (действие, явно противоречащее их деловой этике) и выводить наши встречи за границы, контролируемые сутенером? Какая причина заставляла меня лежать не шелохнувшись, не обращая внимания на покалывание онемевших мышц, пока добрая сердцем чаровница спала на моем плече?

Любовь к женщине двигала мной!

Зачем бы я мерз, ожидая свидания, насквозь промокал под дождем, бросал все дела, срывался не задумываясь, страдал и мучился, забирался в окна, дрался, пил с горя, брошенный ей, и пил от одиночества, бросив ее? Откуда, в конце концов, родились бы все мои стихи?..»

— Не погружайтесь в себя, как в тихий омут! — предостерег Гоголь, не сводящий с меня все это время лукавых глаз. — Сами знаете, кто там может обнаружиться. Говорите вслух. Мы ведь с вами беседуем без свидетелей. При ясной луне.

— Я понял, — ответил я немедленно. — Понял и утвердил в себе то, что меня от греха отдалило... Нет во мне и помысла к прелюбодеянию — прелюбо! — кроме как в любви. А я не был с ними без любви. Со своими женщинами. Я любил их! Каждую. На одну ночь, на один час — но любил! Мы же люди. Мужчины и женщины. Нам нельзя как собакам или кошкам — без любви. Не знаю, как правильно сказать... Может, все, что я говорю, вообще вздор?

— Может быть! — подтвердил Гоголь.

— Может быть. — Я не стал больше ничего доказывать, и без того испытывая истинную радость от собственных слов, будто бы зревших во мне давно и дождавшихся своего часа. — Но вот сказал я вам все, что думаю. И стало легче на сердце. И жалеть о содеянном я не намерен... А стыд свой принимаю, раз так положено.

— Вот и славно! — подытожил Гоголь. — Вы не безнадежный. Кстати, позвольте спросить: не возникло ли у вас желания со стыда сигануть сейчас вниз? Я таких глупостей не люблю.

— Да что вы говорите такое? — несколько обиженно ответил я. — Даже в мыслях нет.

— Точно? Точно нет? — выпытывал Гоголь. — Если врете, вам же хуже будет!

— Нет! Точно!

— Ну, тогда вот что! — Он взял меня за запястье, будто собрался нащупать пульс, и заговорил медленно, нараспев: — Видите уплотненные слои воздуха прямо на уровне наших ног? Уплотнения эти удерживают на себе тончайший слой лунного света, и если шагнуть на него с легким сердцем, то лунный свет способен выдержать подобного легкосердечного пешехода. И если на вашем сердце нет камня... не прогуляться ли нам по лунному свету? В подтверждение сказанного вами!

Вон он как повернул... Есть ли он, этот камень, или нет? Сказать-то я сказал. Но это всего лишь фигура речи. Вот кабы знать наверняка, можно было бы рискнуть... А что?

Лунная дорожка читалась чуть выше буйных крон тополей-долгожителей, она манила и одновременно страшила своей зыбкостью и нематериальностью.

— Да не переживайте вы, — успокоил меня Гоголь. — Не желаете прогуляться — страшного в том нет. Позволили себе фигуру речи. Что с того? Слаб человек — вот, собственно, и оправдание вам.

Однако я уже понемногу сползал с подоконника вниз, пытаясь ногой нащупать опору. Страшно не страшно, а за свои слова нужно отвечать! Ну что же, по крайней мере, я был искренним.

— Э, нет, дорогой мой! — произнес Гоголь, медленно выпуская мою руку. — Все не так. Выдохните как следует! Что это в горле вам мешает? И не ищите тверди под собой. Прогулка по лунной дорожке — это не физическое действие, а состояние души!

И я пошел... Кровь колотилась в висках, а сердце ныло от каждого шага, и, видимо, поэтому сначала ноги мои проваливались в лунный свет по щиколотку и выше. Но с каждым шагом я обретал уверенность. И сердце успокоилось, и на душе стало легко, и тело обрело невесомость.

Улица лежала подо мной, слегка преломляемая от непривычного ракурса, словно на глубине моря под толщей чистой воды. Тополя и клены шевелили ветками, как будто водоросли от потоков скрытого течения. Механическими рыбами со светящимися глазами плыли к ночным парковкам запоздалые автомобили. Одинокие пешеходы, широко и нелепо вышагивая на тротуарах, спешили по домам. Мне, конечно, хотелось

крикнуть им что-нибудь вроде: «Эй, люди, посмотрите, я здесь! Гуляю по лунной дорожке!» И все же я понимал, что делать этого не следует. Я продолжал идти, и ничто не тянуло меня вниз...

— *«Больше мне ничего не нужно! — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника...»*

О! Я сразу узнал те великие слова, что процитировал Гоголь. Слова, будоражащие сознание.

— *«Тогда лунный путь вскипает»,* — подхватил я, озираясь во круг, но рассчитывая увидеть не остроухого пса Понтия Пилата, а скорее огромного черного кота, давнего любимца моего, — *«из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет...»*

— *«...луна танцует и шалит»,* — закончил предложение Гоголь. Затем смолк ненадолго, давая мне возможность сделать еще несколько шагов, и после решительно произнес: — Давайте возвращаться, Олег Валентинович! Луна к тучам подбирается и скоро юркнет за них. Понимаете?

— Конечно, — сказал я с сожалением. — Время работы луна-парка завершается по техническим причинам.

— Все хорошо в меру.

Мы развернулись и через некоторое время уже забирались через окно в мою квартиру.

— Вы молодец! — похвалил Гоголь. — Я-то бестелесный, с меня не убудет. А почему вы шагнули? Не побоялись? Ведь я поставил условие...

— Побоялся, — ответил я, переводя в слова чувства, нахлынувшие на меня, когда я только решался ступить на лунную дорожку. — И... шагнул!

— Дайте-ка мне «Житие», — вмешался в мои путаные объяснения Гоголь.

— И что вы с ним сделаете? — тихо спросил я.

— Сожгу! Мне не впервой тексты жечь.

— Но для меня это ничего не изменит.

— Изменит! — Гоголь снова указал перстом в небеса. — Там на вас ничего не будет!

— Ну и что? — пожал я плечами. — Я... им сам все расскажу!

— Вот именно! — воскликнул Гоголь, потрясая сжатыми кулаками. — Сам! И важно не то, что вы расскажете, а как расскажете. Это — разница.

— А почему мне... — спохватился я. — За что честь такая?

— Так ведь день рождения у вас! Забыли? И еще: обожаю живых людей, тех, у кого по жилам течет горячая кровь.

— Николай Васильевич, — в волнении вымолвил я, — вы ангел! Вы сами ангел, а не тот, который вас доставляет. Я теперь не Богу — вам буду молиться!

— Дурак! — неожиданно разозлился Гоголь, так что даже перешел на «ты». — Чиканушка юродивая! Не разочаровывай меня. Молиться должно по правильному адресу. И адрес у человека — один! Понимаешь?

— Кажется, да. Понимаю, конечно, понимаю! — поспешно ответил я, готовый сквозь землю провалиться от выказанной глупости. — Это шутка! Бамбарбия! Киргуду!

— И провалишься, именно сквозь землю, коли дураком останешься, — словно батюшка в поучение недорослю неразумному, пророкотал Гоголь и, смягчившись, добавил ворчливо: — Кажется ему. Кажется... Когда кажется — креститься надо! Да-с. Сильна в нас, славянах, языческая наследственность. Вот оттого и огонь любим... Ну что, будем жечь грехи твои в горниле огненном?

— Всенепременно, Николай Васильевич! — заорал я, троекратно осеняя себя крестом, стараясь плотно сжимать в щепоть распадающиеся с непривычки пальцы.

Быстренько метнувшись на кухню, я вернулся с большой кастрюлей и засунул в нее листки, озаглавленные «Житие Олега сына Валентинова из рода Масленниковых». Гоголь щелкнул пальцами, и бумага тут же вспыхнула, будто пропитанная спиртом. Отблески огня метались багровым светом по лицу и плащу, придавая его фигуре схожесть с бурятским шаманом.

— Полно вам, я не ангел. Полно... — вновь умиротворенно заговорил Гоголь, пребывая в истинном восторге от происходящего. — А давайте еще что-нибудь сожжем! Такое, знаете ли, удовлетворение ощущаю! Терпеть не могу этот канцелярский язык. Даже если изложено на старославянском.

— А чиновники к нему привыкают, — поддакнул я. — Прирастают просто-напросто.

— Для чиновника канцелярский язык что второй родной! Вспомните письмо Городничего к Анне Андреевне в «Ревизоре».

— Которое на ресторанном счете? С огурцом?

— Оно, родимое. *«Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два соленых огурца особенно и за полпорции икры рубль двадцать пять копеек...»* И все сливается в одно целое! Письмо и счет... Всю бы эту дрянь — в огонь!

— Вот-вот! — снова поддакнул я. — А может... и расписку о неразглашении — в огонь? Таких, как я, тьма. Поделиться бы с человечеством, Николай Васильевич! Предупрежден — значит вооружен.

— Несите! — с воодушевлением воскликнул Гоголь.

И через пару минут я уже пристраивал на сожжение свою расписку, радуясь дарованной мне в перспективе возможности рассказать (само собой разумеется, без указания имен и фамилий) всем заинтересованным лицам (а таковых будет немало) о том... В общем, чтобы готовились. За все придется отвечать.

— Вот мы тебя! — в состоянии близком к эйфории приговаривал я, жулькая расписку для придания бумаге наибольших горючих свойств.

— Вот мы тебя! — эхом отозвался Гоголь, отчего-то заметно мрачней.

Он так быстро щелкнул пальцами, что расписка загорелась практически у меня в руках. Швырнув пылающую бумажку в кастрюлю, я с некоторым удивлением взглянул на пальцы, не почувствовавшие боли от ожога.

— Не задумывайтесь сейчас об этом, — тихо сказал Гоголь. — Потом все станет понятно.

Он пошарил взглядом по стенам, словно отыскивая часы, и я понял, что наше время, так же как у Золушки на ее счастливом балу, истекло. К тому же вновь усилился запах свечного воска и ванили. Гоголь покидал меня.

— Спасибо огромное! — торопливо заговорил я. — Чем же вас отблагодарить?

— Вы и так для меня много сделали, — с грустной улыбкой сказал Гоголь. — У вас есть мои произведения. Вы их читаете, а порой перечитываете некоторые и, смею надеяться, любите то, что по Божьему соизволению я написал когда-то... Нынешняя-то молодежь меня почти не читает. Да пусть. Может, им это ни к чему. Сейчас даже мало кто знает, что такое гоголь-моголь, уж если на то пошло.

Я молчал. А что я мог возразить, чем утешить?

— Серьезнейший и умнейший человек Иван Тургенев говорил обо мне: «Для нас он был больше, чем просто писатель: он раскрыл нам нас самих». Я не хвастаюсь. Просто... наверное, я устарел. Мы с Тургеневым оба устарели.

— Это временное безвременье. Это пройдет! — ответил я уверенно. — Это уже проходит. Почти прошло!

— Верю вам, — еле слышно произнес Гоголь, понемногу теряя плотность тела (не тела, конечно, но не знаю, как правильно назвать эту субстанцию), так что лунный свет начинал пронизывать его невысокую фигуру в накинутом старомодном плаще с пелериной. — Верю и надеюсь...

И, не договорив, исчез.

Утром будильник зазвонил с опозданием — по закону подлости. Катастрофа! На работе мне такой вольности, даже после дня рождения, не простят. Наскоро собравшись, я добежал до остановки и героически запрыгнул в отходящий автобус. Успел! Чуть сердце не выскочило, но догнал и, можно сказать, в закрытые двери просочился. И утреннее везенье мое продолжилось наличием свободного местечка, да еще у окошка.

Ну, все. Можно выдохнуть спокойно. Рассматривая городские картинки за окном и понемногу приходя в себя, я не сразу вспомнил о ночном госте. А вспомнив — повеселился. Приснится же такое! Гоголь, «Жи-

тие», расписка... Что-то жгли там. Надо же, фантастический реализм! Нужно будет вечером в кастрюлях посмотреть — а вдруг где пепел найду?

Смехота! Майская ночь на рождество! Не сон, а гоголь-моголь. Кстати, гоголь-моголь — какой он из себя? Ни разу не пробовал.

Послесловие

В один из пригожих майских дней у первого от арки подъезда по адресу улица Кузнецкая, дом 127 можно было наблюдать двух чистеньких, благообразных старушек, греющихся под солнышком на сверкающей новой краской скамеечке. Несмотря на давно уже летнюю температуру, снарядились они довольно тепло — в шерстяные кофты, толстые юбки, гамаша да еще в суконные ботики поверх шерстяных носков. На голове одной старушки красовался меховой берет, другая подвязалась мохеровым платочком.

— Ох ты господи! — сетовала одна из них, та, что в берете. — Опять наемни поспать не дали толком. Вроде задремала, а поди ж ты — машина к подъезду подкатила и давай дверьми хлопать. Я и проснулась. Глядь — скорая...

— И к кому же это? — встрепенулась вторая.

— Да к энтим, шebutным, в шешнадцатую квартиру.

— К пьющим? — скорбно покачала головой обладательница мохера.

— Да она-то вроде ничего, хозяйка-то. Сам — вот он запойный. Так, слышь, допился до чертей, до белой горячки.

— Свят-свят-свят! А как определили-то?

— Так он говорит, мол, видел ночью двух мужиков, дескать, они по воздуху ходили... Ну и сам через окно к ним полезть собирался.

— Господи сохрани! Вот она, водка, до чего доводит! — резюмировала старушка в мохеровом платочке.

— И не говори! Мужиков-то добрых совсем не осталось.

— Воистину так.

— Одни вон пьют, а другие по воздуху ходят.

— Не приведи господь! Ох, грехи наши тяжкие...



Любовь КОЛЕСНИК

**«ТАМ, ГДЕ РАНЬШЕ
БЫЛИ КАНЦТОВАРЫ...»**

* * *

земля безвидна и пуста.
карбункулом в дыре
горит багровая звезда,
как шапка на воре.

на все узлы, во все углы
живцов и мертвецов
глядят чугунные орлы
глазами праотцов.

и смерть красна, и кость бела,
и синий черный люд.
и голубой экран дотла
прожжен враньем малют.

идет на выборы гора,
за нею — магомет.
и я кричу: «ура, ура!» —
и просыпаюсь?
нет.

* * *

— Как ты, поехала? — Бабушка, полетела:
вот «Журавли» с голубой этикеткой, вот...
Слово со словом слепить — половина дела,
хуже — за дело словить кулаком в живот,
мягкий настолько, что даже почти не жалко
горькой настойкой жечь его изнутри.

Бабушка, про меня говорили «жаба!»
 — Внученька, жабыя шкурка легко горит,
 ты — остаешься, маленькая царевна.
 — Я остаюсь, но опять остаюсь одна!
 Если не жить, то не выживешь — так, наверно,
 а поминать — до беспамятства и до дна.
 В полупустой постели — ни сна, ни принца,
 только колода подкинутых дураков.
 Пусть президент запрещает глазам слезиться!
 Я не могу! А еще — не писать стихов.
 Старый хрусталь по столу твоему катаю,
 как в этой рюмке, во мне сердцевины нет.
 Я улетаю, бабушка, улетаю
 в синюю сказку за журавлями вслед.

* * *

Большой кобылы белая спина,
 сутулая парабола сугроба.
 Весна еще почти что не видна:
 летает снег, подвешенный на стропах.

Покойная чугунная земля,
 и в ней вода, как замершее зелье.
 Под стенами елового кремля
 озимые припрятывают зелень.

Но небеса становятся синей,
 надколотые стрелами сосуллек.
 Берется настом серый след саней,
 и белый свет становится сказуем.

День короток, и снег еще не сник,
 и неподвижны каменные зерна.
 Синица, залетевшая в денник,
 звенит весной из горлышка, из горна.

* * *

мимо красной «комбикорма»
 мимо серого где тюрьма
 под чугунным что над дорогой
 небо пахнет как бастурма

поворот мясокомбинат
слева делают ламинат
справа спят и не знают проку
бьется колокол об заклад
бесконечное ми ли ре
троеточие три тире
ни спасения и ни схрона
город выстроенный в каре
по кирпичику на авось
над трубой дымовая гроздь
я снимаюсь с тебя как с кона
проезжаю тебя насквозь

* * *

Телик включаешь — и будто бы не один,
будто бы нужен какой-то живой душе.
В плече, как в танке, целостен-невредим,
уши подставил сыплющейся лапше.

Словно тебя бомбят, отнимают Крым
и по костям разбирают в «Пусть говорят».
Там, за экраном басково-голубым,
будто живые люди троятся в ряд.

Падаешь в норку дикторова рта.
Смертный, господний — запрятан в тени вещей.
Выключишь телик, страшная пустота —
нет ни тебя, ничего вокруг вообще.

* * *

в чистом поле за рекою
ил черпая в сапоги
ходят наши к пивопою
молодежной музыки

как слепни жужжат гитары
и не ведают они
лучше пластиковой тары
коллективной толкотни

в возлияниях ванильных
где мои семнадцать лет
ни монет ни порнофильмов
ни элизиума нет

торбы с волком груз заплечный
бочки жирные щелчки
бунт недорогой и вечный
диски майки и значки

и ухватистый как пинчер
и ужимистый как мим
константин евгеньич кинчев
бьет из танка по своим

* * *

челюсти в надколоте стакане,
помните московский сервелат,
серый телик, рябенькую пани,
жизнь, стремглав идущую на лад?

там, где раньше были канцтовары,
красное и белое горит
там, где раньше был портрет тамары,
екает все время и болит

черепаший люк под слоем ила,
чем скрежещешь, пьяный ты дурак?
только б это все не уходило
вовсе — ни на пенсию, никак



Михаил ПОЛЮГА

К СТРОЕВОЙ ГОДЕН

Повесть

Часть первая

Бердичев

— Вы умеете рисовать? Очень жаль. Я, к сожалению, тоже не умею.

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев

1.

В юные годы я с замиранием сердца думал об армии: не дай бог!..

Мать подначивала меня в воспитательных целях: «Не хочешь учиться — загремишь в армию. Там сделают из тебя человека!»

Почему? С какой стати? Я не желал, чтобы чьи-то грубые руки лепили из меня человека. Разве я не человек — без этих армейских штучек-дрючек? И вообще, на что это похоже, скажите на милость: отдавать честь какому-то мудозвону (как понимать — отдавать? а мне тогда что останется?), выполнять бессмысленные, твякающие команды, зачем-то выпячивать грудь, равняться, ходить строевым шагом... Я — робот, манекен или человек мыслящий?

Но вместе с тем прилагать усилия, зубрить, учиться и еще раз учиться, когда рядом — живой, соблазнительный мир, было выше моих сил. Да еще если зачем-то мучают точными науками: физикой, химией, математикой — тогда как готовлюсь стать гуманитарием.

Эх, если бы не этот дамоклов меч — если бы не армия!..

Одним словом, школу я окончил с грехом пополам, на четыре с минусом, потом благополучно провалил вступительные экзамены в институт.

— Ну вот, — вздохнула мать, очевидно ничего путного от авантюры с поступлением не ожидавшая. — До осеннего призыва еще далеко, а сейчас пойдика ты поработай. Завод ждет тебя не дождется!

Так я стал гордо именоваться рабочим.

А мысли об армии обрели тяжелый, вещный, угрожающий смысл. Не скажу, что мир потускнел, а гипотетический запах кирзовых сапог душил по ночам, но чем ближе подступала осень, тем отчетливее ощущал я загривком большую, неотвратимую беду, которая вскорости должна была произойти со мной.

Первым звонком стала медицинская комиссия, на которую я был вызван, — последняя перед осенним призывом.

В холодном, неуютном помещении военкомата нас раздели до трусов и погнали по кругу — от одного эскулапа к другому. Будто лошадь, которой заглядывают в зубы, мнут холку, крутят суставы и задирают хвост, я позволял себя щупать, мять, поворачивать, измерять, взвешивать...

— У меня давление скачет, — промямлил я, с надеждой заглядывая в глаза похожему на коновала терапевту.

— В самом деле? Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу. Не страшнее насморка, — ответствовал скотина терапевт и ободряюще похлопал меня по плечу. — У каждого второго, кто пугался в детстве какой-нибудь бяки, вот эта самая дистония. А в армии некогда бояться. Как говорится, пройдешь полный курс оздоровления. Так что давай, готовься... Ишь ты, давление у него скачет!

«Чтоб тебя!.. — подумал я, жаждая неотвратимого отмщения эскулапу, если не сейчас, то когда-нибудь в будущем. — И твою дистонию заодно!..»

А под занавес этой проклятой комиссии — еще хлеще. В дальнем углу за занавеской сидела пожилая мужеподобная тетка с мутными, стеклянными глазами. На столике возле нее были разложены жуткие стеклышки, баночки, пробирки и клочки ваты — одним словом, всякая непотребная хрень. Но особо насторожил вид самой тетки — отвратно-гнусный, как у летучей мыши-вампира, насосавшейся крови. И, как оказалось, неспроста.

— Опустит трупы, нагнись, раздвинь ягодицы! — сипло приказала она.

Испытывая отвращение и стыд, я повиновался, и тут же мерзкая гарпия что-то воткнула и провернула в том месте, о котором не принято упоминать в присутствии приличных людей...

— Одевайся. Следующий — на мазки!..

— И тебя девственности лишили? — едва я выбрался из-за занавески, хихикнул мой товарищ по несчастью, Ярослав Сога. — Сурово, брат! Как она ловко, а?.. О-хо-хо!

— Чего ржешь? Ржешь-то чего?!

После комиссии призывников предварительно распределяли по родам войск и вручали приписные свидетельства. За столом президиума восседали человек пять военных и гражданских с суровыми лицами, обремененные важным государственным делом — призывом в армию. К столу вызывали по одному. Поглядев на меня с хитрым, лисьим прищуром, какой-то хмырь в голубых майорских погонах бодреньким тенорком объявил мне приговор:



— В авиацию!

Все страхи, что копились в последние месяцы ожиданий, в одночасье обрушились на меня: пуще смерти я боялся высоты, старался не смотреть вниз с балконов и из окон, опасался забираться на высокие деревья — и вот на тебе: авиация! Да я умру от одного вида взлетающего самолета!..

Я был смертельно ранен, почти убит на той подлой комиссии.

Но мне повезло. При заполнении какой-то анкеты, памятуя о рассказах знатоков армейской жизни, я назвался художником, и этой небольшой ложью определил свою армейскую судьбу на следующие два года.

2.

Прошел месяц, и я получил повестку из военкомата.

Проклятая авиация снилась мне по ночам, в этих снах я стремглав летел с высоты в пропасть и земля с ускорением неслась мне навстречу, но в последний миг видения проваливались в черную бездну, а я просыпался в холодном поту, с сердцем у горла и ощущением погибельной обреченности.

Но делать нечего. Вечером накануне призыва мать накрыла скромный стол, мы с приятелями выпили немного вина и попрощались. Потом в какой-то подворотне я прощался со своей милой: без прежнего вожделения тискал ее, целовал в холодные щеки, а она отстраненно поддавалась и, как казалось мне в те проклятые минуты, вовсе не сожалела о моей участи. Ближе к ночи я проводил девочку к автобусной остановке и в унынии поплелся домой.

Надо ли рассказывать, как я спал в ту ночь...

Наутро, с заранее упакованным рюкзаком за плечами, я отправился к военкомату, но чем дальше отходил от дома, тем больше заплетал ногами, спотыкался и в задумчивости останавливался у каждого знакомого здания. В итоге я опоздал на пятнадцать минут, автобусы с призывниками укатили без меня, а дежурный прапорщик с проникновенным ехидством поведал, что следующей повестки может и не быть, так как осенний призыв закончился.

— Весной пойдешь, — сказал прапорщик, позевывая и блистая золотыми коронками. — Только не просыпай больше — как пить дать посадят.

Из этой краткой тирады я услышал только одно заветное слово — «весна».

Ах, как я целовал свою милую вечером того счастливого дня!..

3.

К наступлению весны я постарался подготовиться надлежащим образом. Испуганная не меньше моего словом «авиация», мать отправилась на поклон к *нужному человеку* — подполковнику в отставке Ковалю,

некогда, в неправдоподобно далекие времена, служившему в одном полку с городским военкомом.

— Замечательный человек Иван Иванович! — горячо воскликнул Коваль, вернувшись после дружеской встречи в сильном подпитии. — Спи спокойно, пацан! Военком обещал: будешь служить в городе, у мамы под крылом. Ах, Иван Иванович! Какой у него в сейфе коньяк!..

И вот он настал, тот незабываемый майский день. Рано поутру, когда город крепко спал, а прохладная синева еще только заползала в пустынные улочки и переулки, от военкомата отчалили три автобуса с призывниками и взяли курс на Житомир. Путь, надо сказать, недолгий, и сорока километров не наберется, но тоска и осознание зыбкой неизвестности, ожидающей нас впереди, меняли временную протяженность — казалось, конца этому пути не было. Мы горланили песни, травили анекдоты; нашлись и ухари-молодцы с опухшими лицами, обосновавшиеся на задних сидениях и допивавшие оставшийся с вечера самогон. Но и пели, и смеялись, и пили с одним выражением потухших глаз: что-то будет дальше?

А была еще одна комиссия (все те же врачи, правда, без жуткой тетки с мазками), «покупатели» из различных родов войск, перетасовка наших дел и распределение по частям.

— Этот? — глядя на меня нежно, почти с любовью, ухмыльнулся рыжий моложавый майор, у которого на красных петлицах красовались эмблемы со змеей, обвиняющей чашу, и понимающе кивнул кому-то из «покупателей»: — Этого не выпустим! Самим художники позарез нужны...

«Неужели медчасть?!» — в душе возликовал я: служба в медицинской части казалась мне почему-то отменным подарком судьбы.

Преждевременное ликование, невольное отразившееся на моем лице, по всей видимости сделало его глуповатым.

— Это еще что такое? — воскликнул майор уже иным, гневным тоном и насупил медно-красные проволочные брови. — Почему не подстригся? Вшей разводить?! Шагом марш в парикмахерскую, и чтобы — как у Котовского!..

От дверей я оглянулся — майор обо мне уже забыл, листал очередное личное дело, вертел головой и переглядывался с «покупателями», сидевшими по обе стороны от него.

Парикмахерская нашлась неподалеку от областного военкомата.

— Еще один красавчик! — обрадовалась мне парикмахерша, полная тетка лет сорока, и улыбнулась большегубым ртом, полным золотых протезов. — Моя очередь, садись уж...

Я уселся в кресло и с сожалением, будто в последний раз, посмотрел на свою светловолосую шевелюру.

Тетка хищно щелкнула у меня за спиной ножницами, на мгновение мы пересеклись с нею взглядами в овальном зеркале над столиком, — и тут она вздохнула и опустила руки:

— А и в самом деле красавчик! Под машинку, что ли? Погляди, Тань...



Молоденькая парикмахерша, стоявшая у окна, подошла к креслу, встала над моей головой, щелкнула ножницами, состригла клочок волос и почему-то засмеялась. Точно норовистый конь, я дернул головой, заерзал в кресле: чего, мол, лезешь со своими чикалками! Но девочка не унималась: тянулась, щелкала, состригала... Она явно заигрывала со мной, а я вел себя как трусливый недоросль, хотя парикмахерша была юна, красива и понравилась мне с первого взгляда. Будь я умнее, познакомился бы с ней, стали бы писать письма, тем более что, прощаясь, я не просил свою милую ждать меня эти два года. Но вместо этого я упрявился, не давался ее летучим рукам, а когда покидал парикмахерскую, то и головы не повернул в ее сторону. А так хотелось повернуть, ах как хотелось!..

«Нет, — думал я, улыбаясь, точно и не было только что надругательства над моей шевелюрой, — никакая это не черная сторона жизни, а новая, еще неведомая сторона! Какая славная девочка! И почему не взял у нее адресок... И какие еще встречи ждут меня впереди?»

В областном военкомате нас продержали до конца дня. Призывники бродили по двору, знакомились, доедали прихваченные из дома бутерброды; несколько человек, на глазах захмелевшие, беспробудно спали на траве под забором. Наконец, когда стало темнеть и по периметру двора загорелись рыжие фонари, послышалась команда «по автобусам!» — и мы снова тронулись в путь. Все — и бодрствующие, как я, и те, кого с трудом растолкали после похмельного сна, — прильнули к окнам: куда едем? И когда наш автобус, один из трех прибывших, повернул к мосту через реку Тетерев, мы поняли: едем домой!

— Ура! — разнесся по автобусу дикий ор.

Запрыгали, зашлепали ладонями по оконным стеклам и до горлового хрипа орали, орали «ура!», пока широкий, латунного отлива речной плес не исчез за горбатым поворотом ночной дороги.

4.

В медицинскую учебную роту нас (меня и еще двоих) доставили глубокой ночью. По всей видимости, мы были первыми из нового призыва, поскольку казарма оказалась безлюдной — только лампочка тлела высоко над дверью да темнели ряды двухъярусных кроватей, застеленных одинаковыми темно-коричневыми одеялами. Было велено ложиться спать, и я тут же, от греха подальше, забрался на второй ярус, закрыл глаза и притих там.

Но не тут-то было! Дверь распахнулась, вошли несколько человек и остановились посреди казармы, в полосе света, косо сваливающейся из дверного проема.

— Ага, «молодые»! — раздался зловеющий голос, как будто нас застукали за чем-то непозволительным. — Ну-ка, «молодые», у кого пожрать есть?

У меня в рюкзаке были отбивные котлеты, хлеб и пачка печенья — то, что осталось из приготовленного в дорогу матерью. Все это я молча выложил на прикроватную тумбочку и так же молча улегся на свое место.

— Молодец! — похвалил, не без издевки в голосе, оголодавший сержант, в котором я узнал Юзика Вышинского, жившего неподалеку от моего дома. — Правильно начинаешь, будет из тебя толк!

По всей видимости, в полутьме казармы он меня не узнал, а может, запах жареного мяса превратил его в эти минуты в слепоглухонемого.

Шурша упаковочной бумагой, Вышинский порылся в моих запасах съестного, удовлетворенно крякнул и стал жевать, чавкая и громко глотая. Был он упитан, мордаст, отнюдь не выглядел изможденным, и потому меня неприятно удивила жадность, с которой незваный земляк поглощал пищу. Но тут я вспомнил, как школьный приятель Саша Батурский, хорошо знавший Юзика, называл того не иначе как жлобом и законченной сволочью. И теперь этот жлоб и сволочь, в военной форме с новыми сержантскими лычками, в полутемной казарме пожирал мои котлеты с таким видом, точно имел на это полное право.

А может, имел? Ведь в армии, говорят, кто старше по званию, тот и прав...

5.

В те времена на территории военного городка базировалось несколько учебных рот: артиллерийская, связи, медицинская, была даже рота тыла — предмет зависти будущих хозяйственников и снабженцев. Здесь же был клуб, небольшая санчасть на десяток-другой коек и заповедная вотчина курсантов-тыловиков — свиарник. В городке ходили слухи, что там, в свиарнике, то свиноматка придавит поросенка, то случится непредвиденный падеж, то в канун очередного праздника заколют кабанчика, — и тогда присматривающие за поголовьем тыловики жарят сворованную свинину и выпивают вместе с дежурным прапорщиком. Не жизнь, а малина этим тыловикам!

Городок был небольшой, обустроенный под воинские нужды еще в далекие царские времена. С севера его огибала железная дорога, по которой каждые десять минут проносились, громяхая на стыках рельс, пассажирские и товарные поезда. На западной стороне, за двухметровым кирпичным забором, разлегся холмистый пустырь, названный Глинками из-за тяжелой глинистой почвы. С восточной, сразу за свиарником, темнело густой дикой зеленью заброшенное кладбище. И, наконец, южнее к забору примыкали городские улочки, исхоженные мной с детства, и на одной из этих улочек, в десяти минутах ходьбы от КПП, находился мой отчий дом.

Самым тяжелым в начальные дни службы оказалось осознание того, что дом — рядом, но пойти туда нет никакой возможности.

— Блатные? — выстроив нас рано поутру в казарме, прорычал командир отделения, сержант Смут, неказистый сельский хохол с повад-



ками ездового, но здесь, в казарме, за счет армейской выправки и подогнанной формы казавшийся потомком щеголя гусара. — Предупреждаю в первый и последний раз: «сачков» не потерплю! А кто настраивается на самовольные отлучки, тому один путь — на «губу». Всем ясно? А? Что? Не слышу!

— Так точно! — пропищали мы неокрепшими голосами.

— А теперь всем — получать форму и оправляться! Оправляться — это не к маме на горшок, а подшивать подворотнички, надраивать бляхи на ремнях и все такое прочее. Шагом марш!

Эхе-хе, обмундирование... На сержанте Смуте хэбэ лежало красиво — в обтяжку, с наглаженными стрелочками; голенища сапог щеголевато собраны в гармошку; подворотничок слепил глаза белизной. Мы же, переодевшись, без смеха не могли смотреть друг на друга — точно нас в хлопчатобумажные мешки нарядили. А наши физиономии под пилотками, напыленными то на ухо, то на стриженный затылок, то поперек головы, вызывали гомерический хохот. И только Смут, хмыкнув в тонкие сухие губы, оставался невозмутимым:

— Прекратить смешочки! Кто сказал «цирк»? Ну-ка, что за клоун там объявился? Клоунам время сортир драить! Когда окончите учебку, нацепите лычки — тогда и будете красоваться: ушьете мотню, набьете гармошку на голенищах, обрежете полы шинелей. А пока — марш в казарму!

И уже в казарме:

— Показываю: подворотнички подшиваются так...

6.

О службе не вспоминаю. Черт его знает, что это была за служба: день изо дня — одно и то же! До изнеможения учились ходить строевым шагом на плацу, горланили «Не плачь, девчонка!» — вразнобой, неровно, фальшиво, как поют после третьей бутылки пьяные грузчики, перед сном вскакивали в штаны и выскакивали из штанов по команде «подъем-отбой».

— Взво-о-од!.. — прохаживался между рядами коек сержант Смут и тянул, мотал кишки этим долгим, нутряным «о», затем взрывался скороговоркой: — Сорок секунд — подъем! Кто там запутался в мотне? Правило номер один: из-за одного вахлака страдают остальные. Взво-о-од!.. Сорок секунд — отбой!

Однажды я едва не убился, вознамерившись быстрее других выполнить команду «подъем». Толстяк с нижнего яруса замешкался, завозился, застрял между кроватями, подставляя мне спину, а я уже слетал с верхнего яруса и, чтобы не сломать толстяку позвоночник, устремился ногами в сторону и при этом врезался подбородком в металлический угол кровати. Боли не ощутил, но кожа на подбородке оказалась глубоко расцечена, брызнула кровь и, взяв меня в наступившей тишине за подбородок, Смут коротко глянул, покачал головой, пробормотал: «Ни хрена себе!» — и спровадил меня в санчасть. Там фельдшер наложил на рану

несколько швов, но рубец на подбородке остался на всю жизнь. Зато в казарме курсантам улыбнулось счастье — Смут, от греха подальше, командовал взводу «отбой».

Во второй раз меня подвела хитрость с портянками, которые я, чтобы как можно скорее выполнить команду «подъем», не наматывал, а вталкивал в сапоги ступнями, и со временем привык так. Но при первом же марш-броске натер косточку на лодыжке и с кроваво-багровой, плохо заживавшей раной снова угодил в медсанчасть.

Но особенно не любил я разбирать и чистить после очередных стрельб автомат: был с рождения белоручкой и вычищать ствол от нагара, смазывать механизмы тряпкой, пропитанной ружейным маслом, оказалось для меня мучением.

Одним словом, солдат из меня получился тот еще...

В то же время я был подвижен, легок, прыгуч, отлично бежал и быстро смекал, где схитрить, и потому служба не слишком угнетала меня. Я научился бегать в противогазе, слегка оттягивая гофрированную трубку и таким образом пропуская под маску воздух, тогда как другие задыхались и, не раз бывало, валились без сил на половине пути. И, напротив, закреплял противогаз с особым тщанием, когда нас притравливали каким-то рыжим, текучим газом в химической палатке. А еще на Глинках пытался залечь там, где росла чахлая травка: в таком месте земля была мягче, а значит, окапываться было легче.

— Шустрый малый! — огорченно говорил перед взводом сержант Смут. — Ты ведь сачок, а? Сачок!

— Никак нет — художник!

— Художник от слова «худо». Была бы моя воля, я б тебя, художник... Но — пробежал! А вы двое, — тыкал он пальцем в нерадивых курсантов, — как бабы беременные, брюхами мотали. Ну что же, будем тренироваться. Лучшее средство от любви — бег в противогазе. И ты, художник... Сачковать не дам! Взво-о-од!.. Надели противогазы! Бего-о-ом марш!

Но я в душе улыбался и продолжал сачковать как мог.

Угнетало другое: изолированность от внешнего мира, существовавшего по своим гражданским законам вне нашего армейского бытия совсем рядом, за кирпичным забором городка, ощущение клетки, в которой надолго заперт, бессмысленность и ненужность всего, что происходило со мной. Что за хрень такая, кому нужно, с какой радости — отдать два года, может быть лучших в моей жизни, тому, к чему душа не лежит, от чего не может быть никакого толку? Но ответа не было, оставалось одно: смирение, ожидание перемен и внутреннее сопротивление подлой судьбе.

7.

Прошло совсем немного времени, и я стал осматриваться и примечать, что да как.

В шесть утра под крик дневального: «Рота, подъем!» — мы высккивали из постелей и полуодетые, с голыми торсами, мчались в туалет,



чтобы успеть протолкнуться раньше других и улечься в отведенные пять минут. Затем, гогоча и пожевываясь, гремя кирзачами о ступеньки, выламывались на плац и строились в две шеренги. Начиналась физзарядка: бег, упражнения для рук и ног, приседания, отжимания и снова бег.

— Раз-два, раз-два! — отрывисто командовал сержант Смут, хлопая ладонями и приседая вместе с нами. — Задницу подбери! Кто там прилег и не дышит? Я вижу... Раз так — всем еще десять раз отжаться! Раз-два!..

После физзарядки наступало время утреннего туалета: мы умывались, чистили зубы, заправляли кровати — так, чтобы не было ни единой складочки на одеяле и подушки торчали углом кверху, а не «плющились вареником», по меткому выражению сержанта Смута. Мучительное дело — эти складочки и углы!..

— К осмотру становись!

И пошло-поехало: заметив складочку на одеяле, Смут переворачивал всю постель; всмотревшись, надрывал неумело подшитый подворотничок; дергал за бляху, если ремень оказывался прослабленным и «висел на брюхе».

«А зубы тебе не надо показать?» — втихомолку злобился я, но сделать ничего не мог — и перестилал постель, перешивал подворотничок, подтягивал ремень, если попадал под горячую руку Смута.

Потом был завтрак, мучительный для меня, потому что я с детства не выносил каш, а в столовой гречка подпирала перловку, дальше — развод и учебные занятия: политподготовка, азы химической защиты, оказание первой помощи...

Вторая половина дня напоминала первую: обед, самоподготовка, ужин, личное время и прогулка строем с песней «Не плачь, девчонка!». И наконец в двадцать два часа — долгожданный отбой.

А между этими замечательными мероприятиями — три или четыре построения с проверкой, на месте ты или незаметно сиганул через ограду и был таков.

Особенно торжественной была вечерняя переключка.

— Коваленко? — выкрикивал старшина роты.

— Я!

— Гришин?

— Я!

— Вайнсберг?

— Я!..

Ко всему, после принятия присяги нам доверили оружие. Мы учились на время разбирать-собирать автоматы, после стрельб чистили закопченные стволы, смазывали механизмы, совершали марш-броски с полной выкладкой — в касках, с автоматом наперевес, с подсумком, противогазной и санитарной сумками, саперной лопаткой на боку, ползали и окапывались на Глинках.

Но более всего я почему-то помню не это, а зависть, которая мучила нас всякий раз, когда мимо нашей казармы шаркала разношерстными кир-

зачаи разудала, расхристанная шайка мужиков, призванных на пере-подготовку, — так называемые «партизаны». Вот кому было счастье! Они, эти «партизаны», даже подворотнички не подшивали, некоторые были кое-как выбриты, а к вечеру от большинства за версту несло самогоном.

8.

Очень скоро настало для меня время проявить художественные умения и навыки. Не раскаяние в невинной лжи, отнюдь, а вполне обоснованные сомнения в наличии этих самых умений и навыков исподволь подтачивали мою уверенность в собственных силах. Еще в школе я пристрастился к малеванью стенгазет, какое-то время посещал кружок рисования при Доме пионеров, однажды даже сотворил автопортрет масляными красками, — но как это школярство было далеко от понятия «художник»!

«Как бы меня не ссадили с этого корабля!» — уныло думал я, вспоминая фразу из фильма «Двенадцать стульев», который смотрел незадолго до призыва: «Киса, вы умеете рисовать?..»

Но не сдаваться же, в самом деле!

Перво-наперво, по распоряжению замполита роты, я взялся за плакаты с цитатами из воинского устава — задача, как по мне, пустяковая: макай себе плакатные перья в гуашь и скрипи по расчерченному ватману, вот и все дела. Мне даже понравилось разноцветье строчек, когда плакаты оказались развешанными в боевом уголке, хотя, как теперь понимаю, буквы походили на синие и зеленые бублики с подведенными по правой стороне краями.

— Молодец! — одобрил мою нетленку замполит, как оказалось, имевший свои, весьма специфические представления об искусстве. — Далеко пойдешь. Если не остановят...

И уже через неделю могли бы остановить.

— В гарнизонном детсаде «Звездочка» нужно разрисовать деревянный павильон, — поставил очередную задачу неугомонный замполит. — Ну, там, зверушки разные, кошечки-собачки, Буратины с Мальвинами... От чего деткам радостно, то и нарисовать. Возьми в подсобники Коваленко и отправляйся. За день-два управитесь. Ясно?

«Яволь!» — хотелось дурашливо брякнуть мне, но я только козырнул и отправился вызволять из лап Смута новоявленного подсобника.

Коваленко был высокий, гибкий в талии, нерасторопный западенец из Ивано-Франковска со сросшимися на переносье бровями, широким утиным носом, губастым ртом и большими, жесткими, как клешни у тихоокеанского краба, кистями рук.

— Рисовать умеешь? — спросил я на всякий случай, ничего хорошего от таких загребущих рук не ожидая.

Коваленко распылил в улыбке рот, указательным пальцем подтолкнул к переносице роговые очки и пропел нежнейшим украинским баритоном:



- Не так чтобы очень... Зайчиков рисовал когда-то давно, в школе.
- Зайчиков? Это хорошо! Это здорово! А козликов?
- Ну, если вместо ушей пририсовать рожки...

«Вот он, счастливый случай!» — возликовал я, но, как и надлежит мастеру в общении с нерадивым учеником, бросил укоризненный, полный неодобрения взгляд на сконфузившегося Коваленко.

Детсад «Звездочка» располагался в красивом одноэтажном особняке с черепичной крышей и квадратной островерхой башенкой с одной стороны. До революции здесь обитал не то градоначальник, не то какой-то сановитый генерал, теперь — возились в песочнице малыши, съезжали с горок, рулили в деревянных грузовичках. Две молодежавшие воспитательницы, совершенно к нам равнодушные, о чем-то оживленно щебетали в сторонке.

Заведующая, крупная шатенка с шикарным изумрудом на безымянном пальце, указала на дощатый павильон, задник которого был обит листами фанеры, выкрашенными в бледно-голубой цвет:

— Видите, как уныло, голо, безрадостно? А деткам хочется праздника — чего-то яркого, радостного, веселого! Но вы художники, вы понимаете лучше других, чего деткам хочется. Краски, кисточки — все есть. Еще что-нибудь понадобится — не стесняйтесь, говорите. Только уж постарайтесь!

Мы согласно кивнули и прищурились на фанерную стенку, как если бы мысленно уже видели очертания будущей красоты.

— Так, — сказал я командирским голосом, когда мы остались одни, давая понять, что принимаю бразды правления, — намечаю перспективу. На зеленом пригорке растут две березы и один кустик, над ними блещет солнце, на травке скачут козлики и зайчики. Можно добавить облака, птичку на ветке... Нет, птичку не надо. Ты ведь не умеешь рисовать птичку?

— Птичку? Какую птичку? Птичку не умею...

— Ладно, обойдемся без излишеств. Я рисую березы, холмик, солнце и облака, ты — все остальное. Смотри рожки с ушками не перепутай!

И мы вдохновенно взялись за кисти и масляные краски.

«Хорошее дерево — береза! — думал я, мазюкая белилами по фанере. — Толстый ствол, макушки не видно... Она где-то там, выше потолка, макушка, поэтому рисовать ее не надо. Ветка влево, ветка вправо, листочки. Несколько черных и коричневых пятен на старом стволе — и вся недолга. “Белая береза под моим окном...” Может, и вправду таится во мне до поры до времени нераскрытый талант художника?»

Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Чем больше воображение распалось, тем упорнее тормозили его полет наши неумелые руки: каждая ветка, каждое пятно на стволе, не говоря уже о зайчиках-козликах, требовали невероятных усилий. Высунув языки, мы пыхтели, как прилежные первоклашки над прописями, тре-

петно наносили мазок к мазку, но солнечная поляна упорно не желала являться на фанерной стене. К обеду, потом и кровью, мы изобразили белый обрубок с корявой веткой, два овала с головами-шариками об одном ухе и двух рожках, скачущие на кривеньких ножках-палочках, и зеленый размыв холмика у березовых корней. Тут нас позвали отобедать. Скорчившись за детскими столиками, мы отведали зеленого борща, картофельного пюре с тефтелями и компота из сухофруктов. На душе сразу стало покойнее, потянуло в сон.

— Да-а! — потягиваясь и зевая, блаженно вздохнул Коваленко, забрался в качели-лодочку, вытянул длинные ноги и стал раскачиваться. — Хорошо бы после обеда поспать. Я всегда знал, что искусство — большая сила, но чтобы такая большая!..

— Тебе не кажется, что мы слишком быстро работаем? — заговорщицки оглядываясь по сторонам, спросил я. — Тут надо бы вдумчиво, кропотливо... Думаю, за два дня управиться невозможно. А?

Коваленко заинтересованно посмотрел на меня.

— Я бы недельку провольнил. Вот скажи: у зайчика глаза косенькие, а у козлика?.. Какие у козлика глазки? Надо подумать, обмозговать... А нас не погонят, если мы — того?..

— Могут. А могут и не погнать. Искусство не терпит суеты.

И мы решили подойти к заданию со всей ответственностью, торопиться не спеша, халтуру не гнать. Ведь служба наша только начинается, ей конца-края не видно. А деткам так хочется прекрасного!

Но хорошего человеку по жизни всегда бывает мало, тогда как плохое — не успеешь оглянуться, а оно тут как тут.

На третий день, когда мы после обеда отдыхали на игровой площадке, в садике нежданно-негаданно объявился замполит роты.

— Тэк-с! — угрожающе навис он над нами. — Значит, трудимся в поте лица? То-то мне заведующая жалуется, что художники — отменные едоки, а работники из рук вон. Пуговицу застегни, Коваленко! Отъел ряху... А ты... — укоризненно обернулся ко мне замполит. — Показывай, что вы там наваяли!

Широким жестом я препроводил замполита к павильону.

— Это что? — всмотревшись, подозрительно покосился на меня тот. — Это как?

— Утро на поляне.

— Утро? А где поляна? Ах, там, где зеленое... Это солнце или блин? А что с березой? Какой-то обрубок, а не береза! И почему у животного три ноги? Это вообще кто?

— Это козлик, — распевно протянул за нашими спинами Коваленко. — Он одну ножку поджал, чтобы теплее. Утро раннее, солнышко едва встало, роса на травке студеная. Но если надо, я пририсую...

— Вот и пририсуй! Чего доброго, детки подумают, что козел мочится на березу. А ты — за мной! — обернулся ко мне замполит. — Приказ комдива: всех художников бросить на школу прапорщиков — ту, что будет в Красной Горе. Через два дня открытие, приедет начальство, а на-



глядная агитация не готова. Я уже одного направил: буквы писать умеет, но не художник. Присмотри там за ним. Так что — за мной шагом марш! А тебе, Коваленко, день сроку. И чтобы никаких трехногих козлов!..

9.

Серпутько был странный мальчик: нервный, дерганый, глаза крохотные, беспокойные, кожа на щеках нечистая, в прыщах, короткопалые кисти рук в постоянной дрожи, как будто кто-то невидимый пропускал слабые разряды тока сквозь его пальцы. Откуда он взялся в роте, неведомо: сказал, что из другой части перевели — и все. Поэтому погоны у него черные, тогда как у нас, у медбрatьев, красные. И художник он такой же, как я, — от слова «худо»...

С утра до позднего вечера мы с ним суетились: что-то подмалевывали, писали плакатными перьями на ватманских листах текст Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1971 года о введении в вооруженных силах института прапорщиков, срисовывали образцы предназначенных для них погон. Но чаще — носили и расставляли столы, стулья, кадки с фикусами, развешивали на стенах стенды. При этом каждую секунду норовили нырнуть в какую-нибудь нишу, закуток под лестницей, притаиться там и наслаждаться бездельем. Народу в школу прапорщиков нагнали тьму тьмуцую, не мудрено было затеряться.

«Родственная душа нашлась, — думал я о новом напарнике. — Такой же «работящий», как я. Одно странно: почему у него дрожат руки? Болен? Сбежал из сумасшедшего дома? Нет, психов в армию не берут...»

По всей видимости, Серпутько тоже посещали мысли о «родственных душах», и он изредка поглядывал на меня с хитрой, пройдошливой улыбкой.

— Смотрю, ты парень что надо. Сработаемся, — сказал он мне наконец. — Главное в нашей теперешней ситуации — не надорваться...

— Эй! Где эти двое? — то и дело слышались голоса, и мы с Серпутько перемигивались и, скрывая ухмылки, выбирались из закутка: здесь мы, где же еще нам быть!

— Может, обедом покормят? — нашептывал он, часто моргая веками и вздрагивая от возбуждения. — Надоела перловка — так бы и запустил тарелкой в шеф-повара!

— Да, хорошо пахнет, — принюхивался я, голодно озираясь по сторонам. — Кажется, буфет устраивают? Но лучше не думай о буфете, нам не светит...

— Черт! Угораздило угодить в солдаты!..

Я оказался прав: к буфету нас не подпустили, а когда все было готово к приему высоких гостей — отправили восвояси в часть...

Когда везший нас с Серпутько узик проезжал в ворота, через КПП на территорию городка неспешно прошествовал старый мой приятель —

Ярослав Сога. Его зачислили в роту тыла, расположенную на первом этаже нашего корпуса, но, несмотря на это, мы с ним пересеклись за время службы всего каких-нибудь два или три раза.

Сога был сыт, спокоен и почти счастлив.

— Командир роты отпустил в увольнение, — пояснил он, поблескивая темными, как маслины, глазками. — Надо кое-какие вопросы решить. Они с отцом моим теперь кореша, а я на посылках. Уже не первый раз иду... Поел-поспал, поспал-поел — как Жаба-сын в мультике про Дюймовочку. Лафа, а не служба! Завтра снова пойду...

— Эх! — вздохнул Серпутько, живо прислушиваясь к разговору.

— Это кто? — скосил глаза на моего нового напарника Сога. — Что-то я не припомню... Кто такой?

В ответ я пожал плечами: и сам не знал.

— Ладно. Эй, приятель, сигарету хочешь? — обернулся к Серпутько, не отстававшему от нас ни на шаг, осторожный Сога. — На, покури. Только вот что, посиди в курилке. Мы давно с другом не виделись, дай поговорить.

Серпутько нехотя отошел.

— Ну как ты здесь? Притерпелся? — когда мы остались одни, спросил Сога, выдыхая мне в лицо запахи домашней стряпни, сдобренной чесноком.

— Привыкаю, — отозвался я, невольно сглатывая голодный спазм. — Я, чтоб ты знал, числюсь художником. Сейчас приехал из школы прапорщиков. Открывается такая школа в Красной Горе, мы ее оформляли. Буфет там и все такое...

— Художником? Ты? Ловко! Ты разве умеешь? Или только — большими буквами на заборе?..

«Не одному тебе гешефты проворачивать! — озлобился на приятеля я. — Командир его отпустил! Знаем, почему отпустил: папа-завскладом стащил на работе кусок дефицитной ткани — командиру сынка на новый костюм. Вот и все твои кое-какие вопросы...»

Я поджал губы, отвернулся и хотел уйти не прощаясь, но Сога, почуввав неладное, придержал меня за рукав:

— Говорят, роту тыла вот-вот расформируют, — меняя тему разговора, доверительно шепнул он. — Накроются мои дежурства в свиарнике. Я разок дежурил, тогда как раз свиноматка опоросилась. Оприходовали на одного поросенка меньше, а подсвинка забила. Нам тоже перепало, чтобы молчали. Так мы сразу свежины с картошкой нажарили, пару бутылок вина раздобыли... Жалко, если такая служба накроется! — Он хихикнул, видимо, припоминая несчастного подсвинка. — Но где наша не пропадала! Если расформируют, к вам в роту переведусь, буду шины накладывать. Главное, чтобы из города не выслали. Чем я хуже других? Думаешь, мы здесь одни с тобой местные? А человек тридцать не хочешь? Кто в роте связи, кто артиллерист, мы с тобой — здесь... Но хуже всех химикам: они, говорят, спят в противогазах.



Он еще раз хихикнул, подал на прощание руку, но уходить не спешил, спросил напоследок:

— Помнишь Юзика Вышинского?

Как не помнить? Тот самый Юзик, что в день моего появления в учебке слопал мои отбивные котлеты.

— Редкий скот! Грозил курсантам, сержантов посылал куда подальше — мол, местный, дружки у него приבלатненные, кто слово против скажет, того в увольнении эти дружки подстерегут...

— Так ведь его в Венгрию служить отправили!

— Потому и отправили, что общее собрание роты постановило. Как ни бегал папа Вышинский, как начальство ни суетилось, а отмазать не вышло. Командир роты и замполит собранию слово дали, что отправят. Так что ты, если что, не задирайся, будь потише...

10.

— Ну и дружан у тебя! — сказал Серпутько, когда мы остались одни. — Как व्यюн в масле. Тыфу, не люблю самовлюбленных красавчиков!

— Почему самовлюбленных? Дружан как дружан, — я пожал плечами и примиряюще похлопал Серпутько по плечу. — Кстати, девочкам он и вправду нравится.

— Почему ему можно в увольнение, а нам не положено? — упрямо гнул свое напарник. — И я хочу в увольнение! Не пустят — сбегу. Я уже убегал однажды...

Вот оно что: убегал, да не добежал...

— И я хочу, — запечалился я, потом, неожиданно для себя самого, предложил: — А давай махнем в самоволку!

— В самоволку? — загорелся огонек в глазках у Серпутько, и пальцы его, точно у записного алкоголика, заходили ходуном. — А давай! Когда?

— Сегодня вечером. Как стемнеет.

— Давай сейчас. Я до вечера не дотерплю. Давай сейчас!

Но я здраво рассудил, что идти нужно после вечерней поверки: тогда никто нас не хватится до отбоя.

Выбираться из городка мы решили с западной стороны — там была так называемая мертвая зона: безлюдно, тихо, сумеречно. К полутораметровому забору из бурого кирпича жалось несколько кривобоких деревьев. Сквозные, похилившиеся ворота из ржавых металлических листов не охранялись, и, в два счета протиснувшись между вывернутыми кем-то пластинами, мы оказались на Глинках. Здесь и подавно никого не было. Даже птицы не гоношились, потому что солнце уже сваливалось за железнодорожную насыпь и отовсюду подступала прозрачная голубая мгла.

— Ну? — просипел Серпутько, тяжело дыша и подслеповато моргая. — Ну?

— Видишь, никаких патрулей, — бодрым голосом сказал я и, сам того не желая, воровато оглянулся по сторонам. — Здесь рота проскользнет — никто не заметит!

— Ну? Дальше что? Дальше — куда?

А черт его знает! Никаких мыслей насчет «дальше» и «куда» у меня не возникало. Вот если бы пойти к девкам... Но с девками я не znalся. Не вести же Серпутько к своей бывшей зазнобе! Выпить вина? Но меня не тянуло к выпивке, да и спиртное отпускали только до девятнадцати ноль-ноль.

— Клубники хочешь? — нашелся наконец я. — Клубника — в полкулака! У моей бабушки — целая грядка на огороде.

— В полкулака? Врешь, такой не бывает.

Самоволка приобретала смысл. Спустившись по глинистой тропинке к железнодорожной насыпи, мы вскарабкались на нее по зыбкой, оседающей под ногами щебенке и пошли по путям в сторону кладбища. В сотне-другой метров справа от нас тускло светились окна казармы, слева темнели в кипении садов низкие пригородные крыши, впереди проблескивали далекие огни железнодорожного вокзала.

— А выпить у твоей бабушки не найдется? — сопя и отдуваясь, частил за мной по шпалам Серпутько. — Выпить бы — и назад...

— Выпить? У бабушки?

— Ну да! Сколько ей стукнуло?

— Семьдесят восьмой пошел. Она, между прочим, филолог, студентам в медучилище литературу преподает.

— Литературу? Тогда понятно... А хорошо бы сейчас вина!..

Насыпь забрала вправо, и огни городка скрылись за поворотом. Быстро темнело, над нашими головами стали просеиваться звезды, зато под ногами сгустилась непроглядная тьма. Все чаще мы оступались или спотыкались о неравномерно уложенные шпалы; однажды Серпутько едва не кувыркнулся с откоса — и, верно, расшибся бы до крови, но я вовремя выловил его за полу гимнастерки.

— Долго еще? — спросил он, вертя по сторонам круглой, как капустный кочан, головой.

— Смотри: слева — тюрьма, еще при Екатерине была тюрьмой. Впереди — железнодорожный переезд, а дальше — вокзал. Можно пойти к переезду, а там километра два по дороге. Но мы пойдем направо.

— Как — направо? А что там, справа? — с опаской глядя на сплошной темный массив вековых деревьев, спросил Серпутько.

— Старое кладбище. Ничего страшного: одна аллея, другая, третья — все чинно и благопристойно. Срежем немного, а главное — не встретимся с патрулем.

— Хм! — с сомнением протянул Серпутько. — Зачем на кладбище? Что нам делать на кладбище? Не пойду я на кладбище!

Но я уже сбегал с насыпи по тропинке, наискосок пересекающей пути и исчезающей между сумрачными кладбищенскими деревьями. Я хорошо знал этот путь, которым издавна бегал с приятелями купаться на очистные ставки рафинадного завода.

«Никуда не денется, — при этом думал я о Серпутько. — Пойдет за мной как миленький, ему теперь больше идти некуда».



И точно: за спиной у меня послышались топот кирзачей по глинобитной тропке и прерывистое слоновье сопение приятеля, не отстающего ни на шаг.

— Слушай, ты это... Ты не несись, будто с цепи сорвался! Не люблю я кладбищ. И покойников не люблю, боюсь я их... Это что? Это куда?

— Мемориальный сектор. Здесь солдаты похоронены, которые в войну погибли. Теперь сворачиваем влево и — по аллее мимо домика сторожа... Не дрейфь, сторож спит, а может, и нет его совсем. Кладбище давно закрыто.

В ответ Серпутько кланул зубами и вплотную придвинулся ко мне. На мгновение я услышал, как гулко, бешено колотится о ребра его сердце, — и тотчас ощутил дрожь в коленках.

Черт бы подрал этого слабака и труса! И зачем только я с ним связался?

Небо над аллеей скрылось за кронами деревьев, и мы шли в крошечной тьме, едва не на ощупь, натываясь друг на друга и не чувствуя под ногами дороги. Зловещая тишина нависала над кладбищем, любой вздох листьев казался громовым, пугал до смертной дрожи. А еще — я слышал теперь и свое сердце, большое, всполошенное, чуткое к каждому случайному звуку, и лишь об одном мог думать: как бы поскорее убраться отсюда восвояси.

И вдруг совсем рядом, у наших ног, сверкнули два фосфорно-зеленых дьявольских огонька! Истошный лай обрушился и поверг нас в ужас. И еще два огонька полыхнули, и еще — и уже свора собак нахлынула отовсюду и загрохотала, защелкала злобными пастьми, стала хватать нас за кирзовые икры и прожигать пылающими огоньками зрачков.

— А?! Что?! Откуда? — взвыл Серпутько, подпрыгивая, вертясь и дрыгая обутыми в кирзачи ногами. — Вон! Пошли вон! А-а!

— Вон! — не помня себя от страха, заорал и я, сорвал с пояса ремень и стал размахивать им, рассекать тяжелой, медной бляхой темное пространство преисподней, а когда свора на секунду отпрянула, крикнул Серпутько: — Дёру! Жми за мной!

И мы, как испуганные лоси, ломанулись вниз по аллее, сразу шестым чувством отыскав в кладбищенском мраке извилистый рукав пути. И пока бежали, проклятые псы неслись за нами по пятам, шныряя между могил и, точно из засады, выпрыгивая из-за оградок. Только у закрытых ворот кладбища псы отстали. К счастью, калитка была не заперта, и мы дружно выломались на свободу, остановились и, глядя друг на друга, попытались отдышаться и прийти в чувство.

— Ха-ха-ха! — сотрясал меня истерический хохот, тогда как Серпутько била крупная дрожь, глаза у него закатывались, и в полумраке слабо освещенной улицы я разглядел, что он бледен, точно покойник.

— Чего ржешь? — немного придя в себя, пробурчал он — и вдруг тонко и визгливо подхихикнул мне: — Кладбище!.. Собаки гребаные!.. Самоволка, а?..

Потом мы шли по пустынной улице, вытягивая шеи на перекрестках — нет ли поблизости патруля, — и, взглядывая друг на друга, тихо поскуливали, будто надо бы засмеяться, да смех весь вышел незнамо куда.

Бабушкин дом был погружен в благодатную бархатную тьму, но ничто в эти минуты не пробудило во мне солдатской тоски по родному очагу: ни калитка, запертая на крючок, ни покаты́й двор с кустом сирени, раскинувшимся над забором, ни спящие окна, частью обращенные в сумеречный тихий сад. Видимо, кладбищенский стресс не позволял теперь думать о чем-то другом, и оба мы двигались неосознанно, будто сомнамбулы.

— Иди за мной, — шепнул я приятелю и привычно отпер калитку.

Мы прошли через двор, обогнули по песчаной дорожке дом, оказались в саду и отыскивали клубничную поляну. Низко склонившись раскидистыми ветвями, над ней нависал старый орех, и в тени ореховых ветвей грядки показались нам сплошным черным ковром из листьев, под которыми не то что ягод — просветов между рядами нельзя было разглядеть.

Наклонившись, я запустил руки под клубничные кустики и стал шарить там, потом встал на колени, даже прилег на бок, но, как ни силился, ни единой ягоды отыскать не сумел.

— Здесь все должно быть в ягодах, — растерянно произнес я, поднимаясь с колен и отряхивая штаны. — Если бы посветить... Может, ты глянешь?

Серпутько засопел, как обиженный слон, махнул рукой и потопал прочь из сада. Я запер калитку, догнал приятеля и зашагал рядом.

— Пойдем городом, — сказал он, нагнув голову и искоса поглядывая на меня бегающими глазками. — Как есть, коротким путем. Если что, я лучше на «губе» переночую, но на кладбище — ни ногой! В гробу я видел твое кладбище!

«Да, “губа” как-то даже гуманнее», — мысленно поддержал я приятеля, и мы дружно затопали посреди мостовой, уже ни от кого не таясь. Но счастье в этот вечер было на нашей стороне и мы благополучно вернулись в часть, пройдя освещенными тихими улицами, минуя часового, прикорнувшего под калиткой у входа в медпункт, и проскользнув мимо дневального, жующего корку хлеба на тумбе у двери в оружейную комнату.

— Слышишь? — шепнул Серпутько, перед тем как нырнуть под одеяло. — А если бы нас загрызли на этом гребаном кладбище? И костей не осталось бы, одни ременные бляхи... Сколько жить буду, не забуду эту твою самоволку!

11.

Так прошел месяц, и еще месяц...

Роту тыла все-таки расформировали, Ярослав Сога перебрался в нашу казарму, сменил черные погоны на красные... и уже через неделю отправился в очередное увольнение.



— Ну, что я говорил? — воскликнул Серпутько, провожая счастливого злым, завистливым взглядом. — И здесь прижился!

— Может, еще раз за клубничкой сбегает? — с невинным видом предложил я, чтобы остудить его гнев.

Серпутько подпрыгнул, затряс бульдожьими щеками, но, встретившись со мной глазами, взвизгнул и залился неудержимым, хрюкающим смехом — под недоуменными взглядами несведущих сослуживцев.

— Ну вот, а ты говорил! Сладкое не всегда на пользу...

В последнее время я стал замечать, что у Серпутько почти не дрожат руки, он стал спокойнее, уравновешеннее и раздобыл на простых армейских харчах, к которым первоначально относился с таким предубеждением. У него даже завелось брюшко от употребления «этой самой» перловки.

— Ты не заболел часом? — поддразнивал его я.

— А что? — настораживался приятель, печенкой чувствуя подвох.

— На глазах пухнешь. Может, стоит показаться врачу?

По-прежнему отвлекал нас от занятий неугомонный замполит, мы что-то постоянно малевали в красном уголке, — и все-таки уже запросто управлялись с автоматом и даже знали, что должно находиться в санитарной сумке.

Из Ивано-Франковска приезжала мать Коваленко, останавливалась в доме моей бабушки, привезла сладости и кустарную копченую колбасу, а мне презентовала яркий, как павлиний хвост, галстук. Это была черноглазая, с западным говорком женщина, статная и такая же близорукая, как и сын; у них даже очки сидели одинаково, время от времени съезжая на кончик носа. И вообще они, мать и сын, были очень похожи друг на друга, и я, помнится, подумал тогда, что Коваленко должен быть по жизни счастливым малым.

Были и неприятные моменты службы. К причудам сержанта Смута все курсанты уже привыкли. Но однажды, возвращаясь из бани, рота нечетко чеканила шаг, и Смут, потеряв терпение, стал муштровывать нас на плацу.

— Ро-ота-а!.. — накалял он сиплый, сорванный голос и, выдержав паузу, командовал: — Строевым — марш!

И рота принималась что есть силы лупить подошвами по асфальту.

Так продолжалось достаточно долго. Разморенные банным теплом, мы выбивались из сил, но, как ни старались, потрафить придирчивому Смуту не умели. И тут дежурный по роте, молодой лейтенант, призванный в армию на год после окончания института с военной кафедрой, выскочил на крыльцо казармы и фальцетом закричал:

— Сержант Смут, немедленно отставить! Это что за издевательство?! Я на вас рапорт напишу!

Рота встрепенулась, и все мы как один повернули головы и окинули восхищенными взглядами тонкоголосого лейтенанта. А еще подумали о том, как здорово, что среди армейских службистов иногда попадаются очкарики с высшим гражданским образованием...

И вот в один прекрасный день все это житье-бытье, почти налаженное, понятное и принятое мной, вдруг рухнуло — для таких, как я, *местных*. Все же прав был неизвестный скептик, некогда заметивший, что в жизни полное счастье достается только идиотам.

Однажды нас с Ярославом Согой вызвал к себе замполит.

— Вот что, ребята... — сочувственно вздохнул он. — Как говорится, не все коту масленица. Придется вам уезжать отсюда.

— Как уезжать? Куда уезжать? Почему уезжать? — воскликнули мы в один голос.

— Почему... По кочану! Юзика Вышинского помните?

— Того, что в Венгрии?

— Того самого. Отец Юзика написал жалобу министру обороны, что его сына незаслуженно отправили служить за границу, а вас, местных, оставили здесь. Перечислил всех, никого не забыл. Написал, что один дома служит, другой бьет баклуши и бегает в самоволки, третий... Одним словом, пришел приказ: всех вас до единого отправить для прохождения дальнейшей службы в город Черновцы. В Черновцах такая же учебная дивизия, как у нас, чтоб вы знали. Так что вот вам увольнительные до утра: прощайтесь с маменьками, целуйте девочек, а завтра в восемь ноль-ноль чтобы как штык были в части. Ясно? Тогда — кругом, шагом марш! Только без приключений, водку жрать с чувством, умеренно, чтобы все шито-крыто...

Едва покинув кабинет замполита, мы заговорили на великом, могучем непечатном языке — а как тут на ином заговоришь?! Припомнили все, что могли, похабное и забористое.

— Юзик, в бога душу мать! — злобно брызгал слюной Сога. — Отслужил полгода дома, гнида, а нам и двух месяцев не выпало!

— Сука поганая! — не отставал и я, припоминая словечки, некогда усвоенные мной в подворотне. — Чтоб его!.. Чтоб он!.. Чтоб ему!..

— Ну, дальше-то что? — спросил Сога, когда запас ругательств наконец иссяк. — Предлагаю — по домам. Переодеваемся в гражданку, чистим зубы и через полтора часа пересекаемся на «стометровке».

«Стометровкой» у нас называли центральную улицу. Как и прежде, там текла мирная, гражданская жизнь. Бульвары были зелены и тенисты, в центральном гастрономе наши веселые одногодки покупали вино и конфеты, незанятые девочки сбивались в стайки и посматривали на нас искоса с любопытством. Все они радовались жизни, и только мы ощущали себя обманутыми, брошенными на произвол судьбы, — и отсрочкой нашему приговору были короткий вечер да ночь до утра.

— Давай для начала выпьем, — предложил Сога, голодно и нетерпеливо поглядывая по сторонам. — Как назло, никого из знакомых и девочки все второй свежести... Нет, без вина никак нельзя, не тот коленкор — без вина!





Но я сказал, что пить не стану, лучше прогуляюсь по городу, а потом, быть может, пойду в кино.

— Тем более что девочки, как ты говоришь, второй свежести, да и знакомиться на один вечер бессмысленно, как по мне.

У Соги привяло лицо, он остановился и пристально посмотрел на меня, как смотрят на законченного идиота.

«Что значит — бессмысленно? Почему бессмысленно? — прочитывалось в его недоуменном, вопрошающем взгляде. — Именно — на один вечер! Именно в этом и заключается для настоящего мужчины истинный смысл бытия!»

Но я был в те годы наивен, как ребенок. А может, опасался встретить свою милую, с которой повздорил незадолго до призыва: что скажу ей, как оправдаюсь, если пойду по «стометровке» с девушкой второй свежести?

Подождав минуту-другую — может, передумаю? — при этом вытягивая длинную шею и вертя головой, как будто все еще надеялся найти кого-то в незнакомой праздной толпе, мой долговязый приятель наконец тяжело вздохнул, как если бы его лишали последней радости в жизни, и промямлил:

— Ладно, иди в кассу за билетами, а я сейчас...

Он шустро ввинтился в толпу, и еще какое-то время я различал его затылок, промелькивающий поверх голов гуляющей публики, как мелькает в фабричном цехе неутомимый челнок ткацкого станка.

Но, против ожидания, Сога объявился к началу фильма, уселся рядом и прилежно стал делать вид, что смотрит на экран.

То был новый фильм «Остров сокровищ» с Борисом Андреевым в роли одноногого Сильвера. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йохо-хо, и бутылка рома!» Когда-то, еще в детстве, я много раз смотрел прекрасный довоенный фильм, читал роман Стивенсона, распевал эту пиратскую песню и воображение вызывало во мне удивительные видения далекого острова в океане. Но теперь все было иным, мысли о завтрашнем отъезде не отпускали меня, и я ровным счетом ничего не запомнил из фильма. Сога, в свою очередь, ерзал в кресле, вертел головой, тяжело вздыхал, а через полчаса после начала сеанса шепнул мне:

— Я выйду на минуту, — и скрылся в полумраке.

— Не вынесла душа поэта! — ухмыльнулся я вслед приятелю — и вдруг ощутил тоску и одиночество в переполненном, затаившем дыхание кинозале.

«Какой дурак! — думал о себе я. — Может, это мой последний вечер на воле, и неизвестно, вернусь ли когда-нибудь домой и что будет со мной в неведомых, далеких, как заповедный остров сокровищ, Черновцах... А раз так, зачем я сижу здесь, среди ненастоящего, призрачного мира, тогда как там, на бульварах, среди живой, осязаемой, как девичье плечо, жизни мой приятель Ярослав Сога соблазняет девушек второй свежести? Пусть даже третьей, если на то пошло! Ведь я еще не познал этой самой

“свежести” — ни первой, ни второй, ни третьей — и, может быть, никогда уже не познаю!..»

Тут из полумрака возникла долговязая фигура Соги, и он настойчиво и загадочно поманил меня за собой пальцем.

Мягкий вечерний свет прильнул к глазам, едва мы вышли из душного зала на свежий воздух. У кинотеатра было все так же многолюдно, осаждала киоск с газированной водой цветастая, текучая очередь, на прилегающей площади загорались первые, еще тусклые фонари.

— Ну какое кино?! Ну?! — частил Сога, увлекая меня по «стометровке» в сторону парка; глаза его сияли и жмурились, как у блудливого кота, на лице написано было нетерпение, и весь он стремился, несясь к неведомой мне цели, точно цель эта составляла его счастье на всю оставшуюся жизнь. — Нас ждут! Что ты спотыкаешься, как неживой?! Давай ходу!

Стараясь не отставать, я лихорадочно думал: вот оно! — примечал, что брючный карман приятеля оттопыривает бутылка, и, казалось, слышал, как при каждом неосторожном движении в ней булькает вино, — и это потаенное бульканье придавало нашему бегу некий смысл, которого минутой ранее так мне недоставало.

У трехэтажного дома, на первом этаже которого в те годы находился единственный в городе ресторан, Сога свернул в проулок, оттуда — во двор, весь укутанный в мягкий, бархатный полумрак. В глубине двора на скамейке под липами сидели две девицы, дебелая и маленькая, курили и негромко переговаривались о чем-то. В неярком малиновом свете тлеющих сигарет я разглядел, что у дебелой толстогубый насмешливый рот, большие коровьи глаза с накрашенными ресницами и завитушки темных волос над ушами. Маленькая была неразличима: тощая, как куренок, бледное пятно лица, хрящик носа с горбинкой, белесые волосики, стянутые на затылке в пучочек...

— Вот и мы! — подкатил к девицам Сога, хохотнул, выпятил грудь и сразу стал похож на распутившего хвост павлина. — Соскучились?

— А, лапочка — половая тряпочка! — хриплым баском отозвалась дебелая и закинула могучую, как окорок, ногу на ногу. — Выпить принес, служивый?

Сога прихватил бутылку за горлышко, выволок из кармана и встряхнул ею в воздухе. Вино соблазнительно булькнуло.

— А? — засмеялся он и еще раз встряхнул бутылку: — А?

Дебелая оживилась, затушила о скамейку окурочек, достала из сумочки складной пластиковый стаканчик, дунула в него, изгоняя видимую ей одной соринку.

Дешевое плодово-ягодное вино после первого же стаканчика ударило мне в голову. Повеселевшими, бессмысленными глазами я всматривался в девиц, и чем больше всматривался, тем больше ощущал легкую тошноту, как если бы хватил лишку — не вина, а странных жизненных впечатлений, каких раньше никогда у меня не было. Девицы не нравились мне, особенно дебелая — развязная, наглая баба. Вторая — маленькая — все так же была незаметна, но нам хватало и первой. Она насмешничала,



дразнила Согу, курила сигарету за сигаретой, стряхивая пепел на большие, как булки, груди, в два глотка выпивала содержимое стаканчика и, кажется, не пьянела вовсе.

— Лапочка — половая тряпочка! — рокотала она, придавая различные оттенки любимой прибаутке. — Эй, служивый! Еще вина!

Сога оказывался тут как тут: наливал, подносил зажженную спичку к сигарете, заглядывал в глаза, сыпал скабресными анекдотами, которые всегда умел рассказывать как никто другой, — и уже пытался сесть рядом, приобнять могучие плечи или запустить губы в расстегнутый ворот прозрачной блузки.

Улучив минуту, он и мне шепнул:

— Что теряешься? — и перевел взгляд на съживившегося на скамейке куренка.

Я закрыл глаза, почему-то представил птицерезку, синюю ошипанную тушку с выпукло, смертно напозшими на глаза веками — и тотчас тошнота всколыхнулась в подвздошь и стала необратимой...

Теперь уже я пробормотал, что скоро вернусь, и повлекся со двора, с трудом сдерживая нетерпеливую дрожь в коленках, чтобы прежде времени не соскочить с шага на постыдный, трусливый бег...

Часть вторая

Черновцы

*Вчера мой адвокат сказал, что если
уж меня один раз признали слабоумным,
то это пригодится на всю жизнь.*

Я. Гашек.

Похождения бравого солдата Швейка

1.

В Черновцы поезд прибыл по расписанию. На вокзале нас встретил низкорослый кряжок с погонами старшего прапорщика, далеко не молодой, горбоносый, черноглазый, злой, густо побитый на висках сединой.

— Все прибыли? — спросил он отрывисто и сухо, как будто выговаривал нам за что-то, достал из планшета бумагу, сверил наши фамилии со списком. — За мной! В машину шагом марш!

Через центральный зал вокзала с высоким купольным потолком и огромными сквозными окнами мы вышли на привокзальную площадь, где нас ожидал санитарный уазик, сели в кузов, и автомобиль затарахтел вверх по улице, мощенной брусчаткой. Окна в уазике были узкие, машина прыгала и тряслась, сидеть на жестких сиденьях было неудобно, и несколько раз я едва не соскочил задом на пол. К тому же мы пребывали в настроении того рода, какое бывает у человека, не по своей воле

оказавшегося в чужой и чуждой среде обитания. И тем не менее я сумел разглядеть сквозь мутное стекло, что город не похож ни на один из виденных мной ранее. Лепнина, портики и арки, островерхие черепичные крыши домов, по преимуществу трехэтажных, тесно прижавшихся друг к другу и тянувшихся вдоль тротуаров сплошной каменной стеной, храмы, скверы, ратуша, наконец странный, красивый дом-корабль, разрезающий носом волны-улицы, — все это представлялось каким-то нереальным средневековым, но не угрюмым, а светлым, ярким, праздничным. Право, не город, а загляденье! Каково мне будет здесь, на этом островке остановившегося, изумленного времени?

И тут подумалось: как мало видел я за свою недолгую жизнь! Сколько есть еще райских мест, красивых городов, древних замков и храмов, которые, вероятнее всего, я никогда не увижу... Но может случиться наоборот, и когда-нибудь, в ожидаемом прекрасном будущем, жизнь мне улыбнется: эти места, города, замки, храмы станут доступны и я смогу пройтись по каменным мостовым, коснуться мха в расщелинах стен, услышать колокольный звон, уловить дыхание ветра в щербатых бойницах башен. По крайней мере, один такой город мне довелось увидеть сегодня. И станет ли кто-нибудь спорить после этого, что худа без добра не бывает?..

Но в эту минуту мои прекраснодушные размышления были прерваны. Обогнув мрачное трехэтажное здание, вернее — несколько зданий, сбитых в уродливую прямоугольную конструкцию, узик свернул в узкий проулок и остановился у КПП. Створки ворот распахнулись и снова захлопнулись за нами, машина миновала огороженную забором спортплощадку, проскочила мрачную арку в кирпичной стене дома, и тотчас я понял, что мы оказались в мышеловке. То была знаменитая Коробка — сооружение из четырех зданий, замкнувших по периметру довольно большой плац, на котором несколько взводов как раз отбатывали строевой шаг.

— Раз-два, раз-два! Выше ногу! Тяни носок! — отрывисто командовал то один сержант, то другой.

Мне свело скулы неизъяснимой тоской. Задрав голову, словно в последний раз я увидел в прямоугольном просвете над головой солнце — яркое, летнее, веселое, но тотчас сообразил, что из-за высоких стен оно не сможет заглядывать сюда по утрам и вечерам. И забора с прорехами, чтобы перемахнуть через него, не было здесь, и трава не росла — только тянулись к небу два-три рябиновых деревца, да и те едва живые, унылые, с хрупкими веточками и бледными, чахлыми листочками.

— Это еще что за тюрьма? — подавленно хохотнул Сога, оглядываясь по сторонам и втягивая голову в плечи, точно лис, угодивший в западню.

— Разговорчики! — одернул его старший прапорщик и знаком приказал нам следовать за собой.

В солнечном свете глаза его показались мне не такими черными, как в тени вокзала, — скорее темно-карими с янтарно-желтым отливом, как будто в каждый зрачок природа зачем-то вприснула по капле смертоносного яда.



2.

Вышло — из огня да в полымя. Где ты, друг сердечный, сержант Смут? Где лейтенант-гуманист, призванный в армию по окончании гражданского вуза и заступавшийся за нас, курсантов, сырых и бесправных?

Нас с Ярославом Согой развели по разным взводам и в первый же день взяли в оборот.

Командир моего отделения, сержант Конин — невысокий, плотно сбитый качок, белобрысый, горбоносый, гладко выбритый, надушенный одеколоном «Шипр», — был из недалеких деревенских парней, которым армейская служба и лычки на погонах счастливым образом придали веса в собственных глазах. От природы кривоногий, он ходил мягко, вкрадчиво и уже издали до смерти пугал курсантов язвительной ухмылкой тонких, поджатых губ и прорезями рысьих глаз, готовых полоснуть, точно лезвием бритвы, за малейшую провинность, неловкость и ненадлежащее выполнение устава или приказа. И говорил он так же — едва разжимая губы, негромко, вкрадчиво, но оттого голос его звучал еще более жутко, даже если в словах и поступках ничего страшного не было.

Мне показалось, что мы с Кониным сразу что-то поняли друг о друге, и это «что-то» обозначило нас как заклятых врагов. Я всегда был упрямым, как все Овны, и сторонился недалеких малых с завышенным самомнением, тогда как Конин на дух не переносил умников, белоручек, интеллигентов. «Здесь умничать не получится, — подчеркивал он всем своим видом. — Здесь только один человек умный — твой командир!»

Но, с другой стороны, у сержанта Конины было некое моральное право измываться над нами. Никто в роте не мог щегольнуть такой выправкой, как он, никто не застилал койку так умело и тщательно, ни у кого не были так разглажены и белоснежны подворотнички, так надраена до тусклого блеска бляха ремня и начищены сапоги, как у этой самодовольной деревенщины. А я, напротив, был из тех солдат, которым день да ночь — сутки прочь. Как же нам не столкнуться лбами, как не поцапаться?

— Оторвали от мамы? — едва я оказался в строю, принялся сверлить меня стальными зрачками Конин. — Запомни, здесь тебе не Бердичев, — делая ударение на первом слоге, ткнул он меня в грудь пальцем.

— Бердичев, — не удержавшись, поправил я сержанта.

Конин онемел, заиграл желваками, глаза и вовсе сжались в щелочки и стали как у татарина.

— Умный, да? Ты кто — хохол? Что-то ты на еврея смахиваешь. Ну, гляди у меня, хохол с прожидью!..

Но «глядеть» в этот раз мне не довелось — вызвали к замполиту.

Майор Калина, замполит роты, оказался пожилым интеллигентом с мягким, добрым лицом редактора заводской малотиражки или заведующего клубом где-нибудь на периферии, с большими зальсынами и позолоченными очками на кончике носа.

— Художник? — испытующе глядя усталыми глазами, переспросил он и почему-то вздохнул. — Ты-то мне и нужен. Отправляйся в библиотеку и берись за наглядную агитацию. А то библиотека есть, а агитации нет. Надо, чтобы воин читал, чтобы был грамотным воин. Все, что потребуется: перья, гуашь, ватман, — попросишь у заведующей. И вот еще что: найди прапорщика Рыжова, возьми ключи от радиоузла. Будешь художником, почтальоном и радиомехаником по совместительству. Обязанности: утром ходить на почту — да, в город, — за письмами, газетами, журналами. Еще — передавать сообщения по роте, а в часы личного времени — транслировать легкую музыку для поднятия настроения. Там найдешь кое-какие пластинки. Ну и, разумеется, рисовать. Задача ясна?

— Так точно!

— Чего стоишь? Выполняй.

— Командир отделения сержант Конин... — замялся я.

— Какой еще Конин? Доложишь командиру взвода, что я приказал. Все, свободен!

Приказ майора Калины не произвел на взводного того впечатления, на которое я рассчитывал. Он покривился, уничижительно посмотрел на меня, точно видел впервые, покачал головой и сказал только: «А экзамены будет за тебя сдавать папа Карло?» — на что я развел руками с видом покаянным и сокрушенным, но не лишенным завиральной бодрости: мол, ничего страшного, и не такое видали...

Что до сержанта Конины, то разговор с ним и вовсе не получился. Он смерил меня с головы до ног таким взглядом, каким заядлые стрелки в тире целятся в мишень, потом притянул за ремень и выдохнул в лицо:

— Ну, теперь гляди... Сам напросился...

И тотчас лучезарное сияние майорских звезд на погонах замполита как-то приуменьшилось, поблекло в моих глазах.

3.

Вскоре я пообвык в Коробке. Более того, если бы не мое ежедневное противостояние с сержантом Кониным, жизнь в учебной роте стала бы для меня вполне сносной и даже не лишенной некоторых приятных моментов. Большую часть дня я был предоставлен самому себе: утром отправлялся на почту, возвратившись — сортировал письма и газеты, потом малевал плакаты с цитатами из классиков в библиотеке, а когда выпадала свободная минута — запирался в радиоузле и отсиживался там до отбоя.

Особым счастьем было для меня время утренних прогулок по городу. С маленьким чемоданчиком в руке я выходил за ворота КПП в Казарменный переулок, шел мимо красно-бурой кирпичной стены казарм, заворачивал на Главную улицу и там замедлял шаг, полной грудью вдыхая воздух недолгой и потому особенно сладостной и желанной свободы. Через дорогу, наискосок от Коробки, белела колоннами прямоугольная, слегка выгнутая арка — вход в Центральный парк культуры и отдыха. Там мы бегали по утрам — с голыми торсами, тяжело дыша и топоча кирзачами,



сначала устремлялись в боковую аллею, оттуда заворачивали на главную и по ней возвращались к арке. Тело быстро привыкало к знобкой прохладе, тишина действовала умиротворяюще — и жизнь снова казалась радостной, и солнечные лучи, просеиваясь сквозь листву, весело играли и переливались на росистой траве газонов, и струился, плыл, перетекал воздух — такой, как родниковая вода в хрустальном стакане... Но это — ранним утром, а теперь путь мой лежал в другую сторону, вниз по Главной улице, и я поворачивался к парку спиной и неторопливо шагал дальше.

А дальше сбегала вниз мощенная брусчаткой улица, дома становились все вычурней и краше, и вскоре я едва уже сдерживал желание свернуть на перекрестке вправо, к улице Ольги Кобылянской, одной из самых красивых в городе, и неспешно прогуляться по ней от начала до конца. Но отклоняться от маршрута было запрещено, и скрепя сердце я продолжал брести по Главной, никуда не сворачивая. Правда, длилось такое послушание не очень долго, и через неделю-другую я уже проворно нырял в боковые улочки и проулки, забредал в проходные дворы, заглядывал в арки и подворотни. Но городская изнанка не оттолкнула меня: все-таки что-то привлекательное и потаенное, до поры скрытое от постороннего глаза, было в этом уцелевшем после двух мировых войн городе...

Куда все это подевалось, куда исчезло? Ни города, ни знакомых улиц и переулков, ни домов, парков и скверов, как ни стараюсь, не могу я теперь узнать на фотографиях в Интернете, хотя с тех пор миновало всего ничего — полвека не наберется. Как все-таки коротка наша жизнь, как ненадежна память!..

Но в тот июль все для меня было вещественно, осязаемо, зримо. Вот я, тяжело вздохнув, поворачиваю назад, в часть, как будто по собственной воле возвращаюсь в темницу, — и обратный путь уже не кажется мне прекрасным. Отяжелевшие сапоги шаркают подошвами по асфальту, натирает шею наспех подшитый подворотничок, pilotка темнеет от пота там, где соприкасается с разгоряченным лбом, чемоданчик с почтой гулко прогromыхивает, ударяясь о мое колено.

«А дома сейчас...» — непроизвольно думаю я, пытаюсь представить, что в эти минуты происходит далеко отсюда, в моем городе, у моего окна, в моей вселенной. Но видение смутно, недостоверно, неустойчиво, как мимолетный проблеск дороги в густом молочном тумане. Зато тоска вседовлеющая — и по этой причине сапоги, подворотничок, pilotка, чемоданчик так отвратительны для меня на обратном пути в казарму.

Запершись в радиоузде, я какое-то время сижу неподвижно, передыхая и тупо уставившись на ржавое пятно, застывшее напротив моих глаз на плохо выбеленной стене. Потом включаю проигрыватель, ставлю пластинку из той, прошлой жизни и слушаю, слушаю — точно живу на белом свете последний день:

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся.
Мне не везет в этом так, что просто беда...

Но и тут вмешивается грубая реальность армейского бытия: колотят в обитую металлом дверь — это дневальный вызывает меня к майору Калине.

Замполит с тем же выражением лица, с которым я впервые его увидел, интересуется, скоро ли закончу оформление библиотечных стендов.

— Что-то ты не торопишься, — пеняет он и пытается хмурить брови, но выходит не очень убедительно: на утомленном жизнью лице скорее выражение глубокого прискорбия, чем праведного гнева. — Ты уж постарайся, будь добр. Я ведь за тебя поручился.

— Так точно, постараюсь! — уверяю, испытывая мимолетный стыд: я ведь и вправду не очень расторопен, памятуя присказку, что солдат спит, а служба идет.

Мне немного жаль старика: каково это — служить, служить, мечтать о генеральских лампадах, а дослужиться всего-навсего до майорского звания, ко всему — прозябать под конец службы в жалкой, ничтожной медицинской роте! Откровенно говоря, с некоторых пор наша учебка представляется мне не чем иным, как местом отсидки офицеров-неудачников перед увольнением в запас. Взять хотя бы командира роты подполковника Штеренберга — тот еще, казалось бы, армейский волк, с безупречной выправкой, чеканными командами и бравым видом, но опять же возраст (он старше майора Калины), лоснящаяся плешь ото лба до затылка, тугое брюшко, а полковника все не присваивают, и быть ему до скончания века ротным командиром. Этим двум под стать третий — прапорщик Рыжов: скучный, серый, желчный неудачник из какого-нибудь строительного ПТУ, и самое лучшее место для него — здесь, в армии. У каждого из них своя печаль, а тут еще я со своей хитрой ленью.

Лучше бы он заорал на меня, этот тихий добряк майор Калина!

Полный раскаяния, я бегу из кабинета замполита в библиотеку.

Библиотекаряша Эмма Михайловна, милейшая женщина средних лет, по слухам — жена дивизионного штабиста, не крупного, но многообещающего, пьет чай с конфетами, укрывшись за библиотечной стойкой. Она аккуратна, хорошо одета и довольна собой, и когда подносит ко рту фарфоровую чашку с чаем, то изящно отставляет мизинчик в сторону и делает маленький глоток, потом еще один и еще один. От конфеты откусывает по крохотному кусочку, едва приоткрывая коралловый рот с двумя рядами мелких белых зубов.

— Доброе утро! — произносит она и улыбается мне так, как улыбаются из вежливости отдаленно знакомые люди. — Хотите чаю?

Чай удивительно ароматен, скомканная конфетная обертка на блюдце напоминает о позабытом вкусе шоколада, и я невольно проглатываю слюну, словно увидел заморскую диковинку, недоступную простому солдату.

Эмма Михайловна наполняет такую же, как у нее, чашку и подает мне. Потом кладет на стойку конфету, я узнаю по обертке «Белочку» — и мимолетная память о беззаботной жизни на гражданке торкает и сжимает мое сердце печалью. Но тотчас я забываю о печали: надобно следить за



собой, чтобы не ударить в грязь лицом, — отхлебывать бесшумно, а над конфетой измываться, как это делает она, растягивая наслаждение, хотя мне очень хочется проглотить лакомство сразу.

— У вас усталый вид, — говорит Эмма Михайловна, но голосом вполне беззаботным, каким говорят для поддержания необязательного разговора. — Тяжело служба дается?

— Не выспался — только и всего, — отвечаю я, прикидываясь бодрячком, чтобы, чего доброго, не вздумала меня жалеть. — Ночью дежурил на кухне. Обычное дело, отосплюсь на гражданке.

— А я думала... Хотите, поговорю с майором Калиной, чтобы не очень подгонял вас?

Ах, вот оно что! Значит, это она пожаловалась старику...

— Спасибо, Эмма Михайловна, просить не стоит. Постараюсь закончить оформление стенда сегодня. Крайний срок — завтра.

— Не торопитесь, время терпит. Завтра у меня отгул, но я оставляю вам ключ. Приходите, работайте — мешать никто не будет.

Потом я берусь за работу, она раскладывает принесенные мной газеты и журналы, заполняет какие-то формуляры, выдает книги — и все это молча, как будто о том, что можно и должно, давно уже переговорено между нами.

В полдень я ненадолго убегаю на построение, чтобы идти в столовую вместе со взводом, и сержант Конин тотчас отыскивает меня взглядом и манит пальцем с таким видом, как будто одного меня ему и не доставало. При этом зрачки его наливаются ядовитой желтизной, губы стягиваются в нитку, и он с ничего доброго не обещающей ухмылкой шипит мне в лицо:

— Гляди-ка, обед художник не пропускает! Художнику кушать хочется.

Но его время не наступило, я все еще не в его власти — и после обеда я возвращаюсь в библиотеку и остаюсь там до вечера. А уж вечером...

— Сегодня снова наряд на кухню, — гоголем прохаживаясь перед строем, вкрадливо, почти ласково тянет сержант Конин. — Есть добровольцы?

Пауза, настороженная тишина, и в тишине этой рысый глаз косится на меня, как будто засевший в нем зверь готовится к прыжку из засады. Ждать да гадать бессмысленно, все равно указательный палец сержанта, хочу того или нет, через секунду-другую насмешливо ткнется в мою грудь. Уж лучше вызваться самому — не так унижительно, да если еще с долей куража... И я молча, с задраным подбородком и кривой ухмылкой на губах выхожу из строя.

— Правильно, художник, — несколько обескураженно заглядывает мне в лицо Конин: видимо, ожидал от меня иного. — Не хочешь служить как все — будешь чистить картошку каждую ночь.

Так заканчивается для меня еще один день и начинается новый. Снова накрылась проклятая картофелечистка, и мы — трое или четверо курсантов — сидим кружком возле картофельной кучи, чистим картофелины и бросаем в большую кастрюлю, чистим и бросаем, чистим и бросаем...



Глаза слипаются, байки, хохмы и анекдоты давно рассказаны, движения вялы, хочется лечь на кафельном полу и забыться сном, а картофельная куча все не убывает...

Наконец под утро картошка почищена, посуда вымыта и расставлена по стеллажам, и мы со странным ощущением в груди, легчайше-невесомым, бессонным, разбредаемся по казармам — спать, спать! И только я медлю: ведь и часа не пройдет, как дневальный прокричит «подъем!» и сержант Конин, наплевав на устав, растолкает меня и погонит на зарядку. Ну уж нет, спасительный ключ — в кармане! И я заворачиваю в библиотеку, запираюсь на два оборота, укладываюсь на ковровую дорожку и, подсунув словарь Ожегова под щеку, блаженно закрываю глаза. Но сон непрочен, я нервозно прислушиваюсь, я полон тревог и опасений, как измученный, загнанный пес, прикорнувший в чужой подворотне. И точно: через какое-то время к моему убежищу приближаются торопливые шаги, кто-то колотит в дверь, потом выкрикивает приказ — немедленно явиться к сержанту Конинову, иначе... Да только как явишься, если меня здесь нет?..

4.

Вселенское одиночество — вот душевное состояние, с которым я служил в армии. Мне всегда казалось, что я и армия по определению несовместимы. Меня погрузили в нее, как в некую субстанцию, в которой надо было на время раствориться, но не получилось: я оказался инородным телом и тело это упрямо не желало растворяться, но и вытолкнуто этой субстанцией быть не могло. На мне была военная форма, я был ограничен в праве выбора, волеизъявления, передвижения, я выполнял, как умел, приказы и требования командиров, но при всем при этом оставался котом, который гуляет сам по себе, внутренне отторгая армейские устои, внешне следуя им исключительно в силу жизненных обстоятельств.

Не знаю, откуда взялось это неприятие, это отторжение. Может быть, причины крылись в генной памяти? Мой дед Михаил Михайлович, которого я никогда не видел, в Первую мировую окончил школу прапорщиков и, хотя повоевать не успел, едва не был расстрелян пьяными красногвардейцами как белый офицер. На Западной Украине, в Городке, где он пытался укрыться от красного террора и где, точно волны, схлестывались три армии: украинская, польская и красная, большевистская, — по неведомым мне причинам оказался в польской армии, попал в плен и едва не был расстрелян во второй раз. И снова деду повезло: то ли судьба не успела доплести свои затейливые нити, то ли вмешался банальный случай, но его отпустили. Но глаз с тех пор уже не спускали, поставив на тайный учет в ОГПУ. Затем третий арест, приговор «тройки», глухая июньская ночь, общая могила на пустыре за еврейским кладбищем в Житомире...

Но, скорее всего, генная память была ни при чем. Все гораздо проще: я жил в те годы с убежденностью, что человек рожден свободным, тогда как армия с принуждением, муштрой, казармой, сужением личного пространства — очевидная несвобода. И лишь теперь, по истечении



стольких лет, я осознал, что армия — только одна из множества несвобод. Что человек не может быть абсолютно свободен и сами жизнь и смерть — суть краеугольные камни этой несвободы. Ведь никто не поинтересовался у меня, хотел ли я родиться, как не спросят когда-нибудь, собираюсь ли умереть.

Одиночество это стало неизбывным, когда моя относительно автономная жизнь изменила свое привычное течение. Сержант Конин замутил взводного, а тот, в свою очередь, при каждом удобном случае напоминал майору Калине, а то и командиру роты, что я не посещаю занятия и потому непременно завалю выпускные экзамены. И майор Калина сдался: меня освободили от обязанностей почтальона, отобрали ключ от радиоузла и я, как инородное тело, снова был внедрен в отделение, в среду курсантов, от которых все последнее время держался на расстоянии. То-то радости было у заклятого моего врага — сержанта Конина! Но и курсанты, если быть до конца честным, не жаловали меня — да и за что было жаловать человека, которому повезло больше, чем остальным?

Стиснув зубы, молча, не отвечая на несправедливые наскоки сержанта Конина и не замечая почти откровенного недоброжелательства сослуживцев, я стал втягиваться в будни военной службы: ходил в наряды, совершал марш-броски по пересеченной местности, вникал в санитарное дело, добровольно-принудительно сдавал кровь в военном госпитале, который был расположен неподалеку от Коробки. При этом я старался затаиться, стать незаметным, как мышь. Правда, это не всегда удавалось, строптивый характер брал свое: я мог, например, залечь под столом в полутемной ленинской комнате, чтобы досмотреть футбольный матч, хотя курсантам была дана команда «отбой». В тот вечер меня не обнаружили, после окончания матча я незаметно выбрался из ленинской комнаты и прошмыгнул в казарму. Но во второй раз все вышло иначе: мне были объявлены два наряда вне очереди — из-за самого Аркадия Райкина (разумеется, не ведавшего об этом). Актер давал заключительный концерт в летнем театре Центрального парка культуры и отдыха. Был ли тот концерт благотворительным, стерлось из памяти, помню только, что десяти лучшим курсантам было разрешено в порядке поощрения посетить летний театр.

— А ты куда собрался? — остановил меня в коридоре сержант Конин. — Какой концерт? Отставить! Быстро снял парадную форму и в казарму шагом марш!

Но не тут-то было! Кто-то отвлек Конина, и я тут же выскользнул из казармы, догнал «самую лучшую десятку» и пристроился в хвосте.

— Это как понимать? — удивился сержант Баскаков, сопровождавший курсантов в летний театр. — Тебе Конин что приказал?

— Майор Калина разрешил, — не моргнув глазом, соврал я.

— Ну, раз так... — равнодушно пожал плечами Баскаков; он командовал другим отделением, и ему, в сущности, было все равно.

Летний театр после нашей казармы показался великолепным. И Райкин был, как всегда, в ударе. Все, что я не раз и не два видел по телевизору, и еще много чего было в той концертной программе. Но глав-

ное, единственный раз в жизни я увидел живую человека, о котором знала вся страна. И что с того, что по возвращении из театра меня ожидал нагоняй, два наряда вне очереди и бессонные ночи, проведенные рядом со сломанной картофелечисткой? Что с того?!

5.

Прошло лето, настала осень, теплая и сухая. В первых числах октября в учебку прибыли члены экзаменационной комиссии: суровый, неподкупный майор медицинской службы и моложавый, разбитной капитан. А поскольку оба прибыли издалека, командир роты подполковник Штеренберг приказал переоборудовать один из кабинетов в гостиничный номер: были поставлены две кровати, телевизор, на окна повесили занавески, а дощатый пол устлали ковровой дорожкой из библиотеки. Под конец в кабинет занесли два ящика пива, и, когда несли, бутылки заманчиво позвякивали о металлические прутья ящиков, вызывая у нас приступ жажды и обыкновенную зависть.

Накануне экзамена мы до ночи корпели над «Учебником санитарного инструктора», потрошили и упаковывали санитарную сумку, снова и снова накладывали шины и жгуты, бинтовали друг другу предплечья, головы, шеи, заучивая различные виды повязок.

Под конец этих мучений взводный, почему-то косясь на меня и тяжело вздыхая, напутствовал нас словами:

— Если в столе окажется учебник, хотя бы спишите правильно.

— Учебник, да! — воздел горе указательный палец Кавун, коротышка с вытянутым, будто молочный кувшин, лицом, румянцем на щеках и крохотными глазами-изюминками, пользовавшийся авторитетом во взводе, хотя, по моему глубокому убеждению, — дурак, каких поискать. — Надо пронести учебник! Чтобы прочитал, оставил книжку в столе, пошел отвечать, а другой читает... Кто первым пойдет, тот и пронесет.

— Пойдете по списку, — сказал взводный, приободрившись. — Кто у нас на «А»? Алекперов?

Как все-таки хорошо, что я оказался во второй половине списка!..

И вот он, экзамен. Наш учебный класс, преподавательский стол, цветы в вазе, бутылка минеральной воды. За столом экзаменаторы: посередине — майор, по краям — капитан и наш взводный. Каково ему теперь, взводному? Он что-то шепчет, вертится, заглядывает то в экзаменационную ведомость, то в глаза вершителей наших и его судеб.

Вытянув билет, я уселся на свободное место, изобразил задумчивость на лице, как если бы вникал в первый вопрос, а тем временем запустил руку в стол и пошарил на полке — учебник оказался на месте. Попытался незаметно перелистать страницы, но узкое пространство полки не позволяло, и тогда, с невинным выражением поглядывая на экзаменаторов, я разложил учебник на коленях. Сердце колотилось, мелькала неотвязная мысль, что меня сию же секунду разоблачат и погонят из класса. Но никто из экзаменаторов и с места не сдвинулся. Майор глядел перед со-



бой, словно пытался рассмотреть что-то на противоположной стене, и то и дело прикрывал выпуклые желтые веки, — тогда казалось, что он болен куриной слепотой. Капитан откровенно скучал и — со скуки или по причине живости характера — вертел по сторонам головой; несколько раз я наткнулся на его все подмечающий, озорной взгляд, как если бы он хотел подмигнуть мне и шепнуть на ухо: «Что, пройдоха, передираешь?» Судя по всему, капитану более всего хотелось в эти минуты подвести черту, вернуться к себе в комнату, лечь на койку и выпить холодного пива.

И тут экзаменационная идиллия едва не была нарушена. За соседним столом раздался звонкий шлепок: это Кавун уронил учебник на пол. Над классом повисла гробовая тишина, и каждый из курсантов обмер — ни жив ни мертв. Первым пришел в себя взводный: он встрепенулся, вытянул шею и стал что-то быстро лепетать экзаменаторам, посмеиваясь и округляя глаза.

— Да-да! — закивал взводному капитан, с любопытством поглядывая на окаменевшего Кавуна. — А вот еще, если вы не слышали...

И три головы за экзаменационным столом сблизилась, блеснули глаза, на губах появились скабрзные ухмылки.

«Анекдоты травят! — догадался я. — Вот так экзамен! Вот это да!»

За два человека до меня отвечать пошел Кавун. Что и как он говорил, я различал смутно, не до того было, но какой-то робкий, неуверенный лепет, мычание и долгие паузы все-таки уловил. «Что он там мямлит?» — помнится, подумал тогда я. — Ведь списывал из учебника...»

— Да-а! — донесся до меня укоризненный возглас, когда Кавун поднялся из-за стола, — это майор медицинской службы впервые за весь экзамен подал наконец голос, низкий и хриловатый. — Как же так можно? Вам и тройку не за что поставить. Да-а!

Взводный взвился, вытянул к майору шею и что-то залопотал тому на ухо, горячо и сбивчиво.

— Как это — лучший курсант? В каком смысле — лучший? — пробурчал сквозь зубы майор и накати веки на выпуклые глаза. — А если он неверно наложит повязку и кого-то удушит?

— Так ведь войны нет! — вмешался веселый капитан, хитро улыбаясь. — Нет войны! Кому повязку накладывать? Вот если бы случилась война...

Лицо у майора сделалось землистым, он упрямо заиграл желваками, но все-таки сдержался и через силу сказал:

— Если случится война, этого вашего... гм... первым укокошат. Ладно, делайте что хотите... Но не больше тройки!

В отличие от Кавуна, я отвечал быстро, говорил без остановки, благо язык хорошо был подвешен, да и учебник, что ни говори, помог.

— Отлично! — крикнул майор, остро отточенным карандашом вписал в экзаменационный лист отметку и сурово оглядел меня с ног до головы. — Да-а! Вот пример курсанта! Вот вам пример...

Торжествуя, я взглядом поискал глаза взводного, но тот, отвернувшись, за спиной майора о чем-то говорил веселому капитану.

И все-таки торжество во мне не померкло. «Что, взяли?» — всем своим видом демонстрировал я сослуживцам, покинув класс и ожидая окончания экзамена в коридоре. — Взяли, да?»

Но радовался я рано. Как оказалось, отметки заносились карандашом в экзаменационный лист не случайно, а чтобы их можно было впоследствии подправить. Не знаю, взводный ли постарался или кто иной, но мое «отлично» оказалось против фамилии Кавуна, а его «удовлетворительно» переползло в графу против моей.

— Ну-ну, что ты! — устыдившись горькой обиды в моих глазах, обнял меня за плечи взводный. — Кто знал, что ты ухитришься сдать? А вышло вон как... Ничего, месяц-другой походишь младшим сержантом, потом сержанта тебе присвоим. Ты, главное, давай служи!

6.

Коробка временно опустела. Новоявленные сержанты разъехались по местам новой службы, молодое пополнение только начало прибывать, те же, кто остался в учебке командовать отделениями (в том числе и я), маялись от безделья в ожидании денежного довольствия, чтобы сброситься и «обмыть» лычки. В числе первых уехал Ярослав Сога, укатил и Кавун, перед отъездом покрасовавшись в погонах с тремя лычками вместо заслуженных двух. Впрочем, если исчезновение Кавуна оставило меня равнодушным, то без Соги, с которым мы изредка обменивались словом-другим, одиночество мое усугубилось, стало безысходно-давящим. В самом деле, не беседовать же мне о высоком и прекрасном с сержантом Кониным!..

— А ты, как я погляжу, шустрый, — сказал он как-то с кривой усмешкой, и, помнится, я подумал, что тонкие бескровные губы сержанта напоминают плохо зарубцевавшийся послеоперационный шов. — Уломал майора Калину, остался в роте — зачем? Какой из тебя командир отделения? Недоразумение, а не командир! Попросился бы ты в «линейку», пересидел бы спокойно где-нибудь в лазарете. Так нет же... Дурак ты, парень! Ну, смотри, еще ничего не кончилось для тебя...

Он поднял палец, но почему-то не решился ткнуть меня в грудь.

«А твое время для меня кончилось! — подумал я, глядя вслед Кониному, и еще подумал со злорадством получившего свободу раба, что ладно скроенная фигура сержанта имеет один существенный недостаток: кривые ноги. — Козу он объезжал, что ли?»

И вот настал день, когда месячное денежное довольствие было выдано. Мы тотчас сбросились, подсчитали собранную сумму — она оказалась по тем временам весьма впечатляющей, целых шестьдесят рублей, — потом долго спорили, что будем пить и чем закусывать на нашем вечернем сабантуе. Остановились на вине: «Рожеве мицне», нареченное в народе «огнетушителем» за большие темные бутылки, привлекло нас внушительной емкостью и дешевизной.



— На закуску возьмете докторской колбасы и консервов — кабачковой икры, салата «Любительский», бычков в томатном соусе, — напутствовали «молодых», меня и младшего сержанта Перепелкина, умудренные опытом «старики». — Особо не разгоняйтесь, будет еще гречневая каша с мясом, мы договорились в столовке. Главное — вина побольше...

Разработали и план операции. Сержант Баскаков должен был стоять у окна второго этажа казармы, следить за нашими передвижениями и в случае появления патруля подать знак рукой или голосом. Помощник дежурного по роте сержант Киричок — стащить ключи от арочных ворот, лишь только дежурный пойдет на ужин, выпустить нас из Коробки и впустить обратно. Рискованная затея, но еще опаснее было попытаться пронести спиртное через КПП: путь вокруг здания был вдвое длиннее, не просматривался из окон, да и дежурили на КПП курсанты из других рот.

— Попадетесь — лучше не возвращайтесь! — точно бритвой, полоснул нас напоследок рысьим взглядом сержант Конин.

Несмотря на явную авантюристность, план сработал. Едва дежурный по роте, позевывая, направился в столовую, мы с Перепелкиным прошмыгнули в створ ворот и помчались через дорогу к продуктовому магазину. Ах, как давно не были мы в гражданском магазине! Что там наша армейская лавочка с кольцами одесской колбасы, булочками, конфетами и сметаной! Здесь все сияло и искрилось огнями: люстры, остекленные прилавки, ряды напитков на длинных зеркальных полках... Глаза у нас разбежались, желудки возбудились и запели величальную песню этому изобилию питья и яств.

— Я забыл, что велено брать, — сказал Перепелкин, и глаза у него стали жалобными и печальными, как у оголодавшего кота.

— Так, «огнетушители» — по рубль тридцать восемь штука, — стал вслух считать я. — Вот тридцать рублей, бери на все. А я — в продуктовый отдел.

— Двадцать бутылок? Не донесу столько, — скуксился нежный, похожий на барышню Перепелкин.

— Ты покупай, а нести я помогу.

Несли, в самом деле, на одном энтузиазме: высунув языки, отдуваясь и поглядывая по сторонам, тащили два до отказа набитых, увесистых, тускло позвякивающих вещмешка. Да еще ухитрялись видеть при этом торчащую из окна второго этажа голову сержанта Баскакова, высовывающегося из пролета арки Киричка, зазывно и суетливо машущего нам рукой, и еще почему-то — колоннаду входа в парк культуры и отдыха, белеющую на противоположной стороне Главной улицы.

— Красавцы! — встретил нас восторженным возгласом сержант Киричок и, запирая ворота, обеспокоился нам в спину: — Ничего не разбили, нет?

Больше я ничего не помню, кроме того, что пили стаканами. Я почему-то думал, что так и надо пить, но уже после третьего стакана тихо отполз в угол, на свою койку, и незаметно уснул.

Утром в роте стояла мертвая тишина. Только где-то в конце коридора сверлящий голос прапорщика Рыжова допытывался у дневального, почему все сержанты спят, если давно была побудка, кто облевал туалет и сломал под окнами каптерки тощую, и без того едва прижившуюся рябину.

7.

В этот раз пополнение прибыло странное, если не сказать больше. А может, оно всегда было таковым — пополнение, только мне об этом мало что известно. Как бы там ни было, в отделении, командовать которым довелось мне, оказались по преимуществу сельские парни, селюки, малообразованные и не слишком умные. Карта так легла, звезды ли на небе перетряхнуло, но из дюжины курсантов только два-три человека могли грамотно писать и внятно выражать мысли и только у них что-то еще, кроме естественных человеческих потребностей, прочитывалось в глазах.

Теперь, по истечении лет, я понимаю, что был по-снобски предвзят: каждый человек несет в себе жизненный опыт, наполненность собственным неповторимым бытием, свое осознание окружающего мира. Но тогда все, что было в стороне от моих привычек и интересов, вызывало у меня насмешку и отторжение.

И вот с первых минут я невзлюбил курсантов отделения, а они, в свою очередь, ответили мне взаимностью. Громила Смаль изначально показался мне идиотом и уродцем, толстого Громяка мать, по всей видимости, уронила в младенчестве с табурета, хрупкий Ясько напомнил подпaska, хворостинной гонявшего гусей на водопой... Ну а что они думали обо мне, я сообразил на утреннем разводе, когда, заступив в наряд помощником дежурного по роте, писклявым голосом прокукарекал команду: «Рота, равняйся! Смирно!» То-то потом в курилке стоял хохот, то-то потешались над петушиным дискантом новобранцы! А вот командир второго отделения сержант Яковец, плотный, упругий, пригибавший шею, точно молодой бычок, и отдававший команды негромкой, четкой скороговоркой, курсантам почему-то нравился. А потому, уверял себя я, что он такой же по складу ума, как Громяк со Смалем...

Так началась наша совместная служба. В свое время, совсем недавно, я тоже был нерадивым курсантом, но теперь спрашивал с подчиненных со всей строгостью, на которую был способен. Парадокс? Как сказать. Меня долго сжимали, как стальную пружину, — и вот пошел мгновенный откат...

— Смаль! — насмешничал ядовитым тенорком я. — Просто не курсант, а джентльмен! Киса возле Провала*. Не знаете Кису? Перешить подворотничок, подтянуть ремень, почистить сапоги — а после я вас познакомлю.

Или потешался над Громяком:

* Намек на сцену из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», где Киса Воробьянинов просит милостыню у входа в карстовую пещеру Провал в Пятигорске.



— Вы, любезный, случайно, не переодетая женщина, нет? Не Шу- рочка Азарова*? Так почему пританцовываете, как баба с авоськой? Ну- ка, еще раз — строевым марш!

Я умышленно говорил курсантам «вы» — так выходило, на мой взгляд, уничижительней и обидней.

Месяца через полтора почти все отделение меня ненавидело. Со всей очевидностью я осознал это, когда в один из поздних осенних дней ре- шили поиграть в футбол. Как они остервенело били меня по ногам, как налетали и пытались угодить носком сапога в косточку, как тайное, едва сдерживаемое зло, что в них копилось по отношению ко мне, вдруг про- рвалось, поперло наружу! Но где им! Я был гибкий и скользкий, как угорь, и выбрался из игры невредимым и еще более обозленным. И уже на следующее утро они у меня бежали кросс — три круга по аллеям парка культуры и отдыха.

— Не отставать! — орал я, то забегая вперед, то приостанавливаясь и подгоняя плетущихся далеко позади бегущей цепочки. — Животы по- добрали! Кто там идет шагом? Так, еще один круг — из-за Громяка и Ясько!

И еще один круг бежали, приостанавливаясь и передыхая там, где, как они думали, я не вижу, что вольтят. Но была осень, парк стоял об- летевший, сквозной — как тут не увидишь, не разоблачишь!

Пробежали и этот, дополнительный, круг. Запыхавшись, передыха- ли, взглядывали недобро, исподлобья, но эти взгляды только разгоняли во мне желчь. «Ага! — злорадно думал я. — То-то еще будет!.. А это что такое?»

В прозрачном утреннем мареве шла по аллее хрупкая, тощая фигура с обнаженным торсом, приостанавливалась, держась за живот, и снова шла. А, курсант Ясько! Прикидывается больным? Знаем эти болезни, на мякине не проведешь! Ну, не взыщи, милейший Ясько!

Едва сдерживая гнев, я двинулся навстречу злополучному курсанту, сблизился, навис, процедил сквозь зубы, с угрозой:

— Почему шагом?.. Что за наглость — шагом?! Бегом марш!

Ясько скривился, посмотрел во все глаза, как смотрит испуганный, но упрямый ребенок, и пролепетал с погибельной обреченностью:

— Не могу... Живот... Не могу...

— Что — не могу? Что — живот? Я сказал — бегом!

Не сводя с меня глаз, Ясько трудно сглотнул и замотал головой.

— Ах так?!

Вне себя от бешенства я придвинулся вплотную, ухватил гаденыша за ремень, потрянул что есть силы; не умея ударить, смазал ладонью по щеке, не больно ткнул кулаком в плечо — и все с таким видом, точно здесь и сейчас, не сходя с места, прибью, растерзаю, придушу собственными руками...

* Шуручка Азарова — героиня популярного к/ф «Гусарская баллада», девушка, переодетая в мужчину.



И тут Ясько заплакал. Не попытался закрыться, удрать или дать сдачи — стоял, повесив руки, и вдруг заплакал. Сначала всхлипнул, потом покатались слезы, горькие, как у незащитного, обиженного подростка. Ах ты боже мой! Тут только я разглядел, что он и вправду подросток, что глаза у него чистые, голубые, прозрачные — детские глаза, не вызревшие к отпору, что ему здесь, в армии, в казарме, рядом со мной, так тяжело и невыносимо, так одиноко, что хоть вешайся или беги отсюда, что...

«Я стал Кониным! — ошарашенно сказал себе я, испытывая не меньшее потрясение, чем этот обиженный мною мальчик. — Я стал Кониным! Как это могло случиться, что я стал Кониным? Как?!»

Руки у меня задрожали, на глаза навернулись слезы, между лопатками стало знобко и тревожно, но я не рискнул оглянуться и посмотреть — и без того знал, какими глазами смотрят мне в спину примолкшие курсанты.

— Ну-ну! — промямлил я, не зная, что должен сказать, и приобнял Ясько за плечи. — Вижу, живот... Поди-ка ты сегодня в санчасть. А еще лучше — отлежись... Ну, все, все!.. Скажи отделению — зарядка окончена, всем — в казарму. Ты только не беги, ты — потихоньку, шагом...

8.

После происшествия в парке весь мой командирский запал погас, как и не было его никогда. Снова я стал отрешен, задумчив, замкнут, совсем потерял интерес ко всему, что меня окружало. Как марширует рота, кто вольнит, а кто делает успехи, оставляло абсолютно равнодушным: и пусть, и ладно, все равно не переделаешь — ни человека, ни мир вокруг него. И снова тоска стала заедать...

Но вместе с тем появился у меня интересный собеседник — курсант Голубович, белорус, за какие-то дела, мне неизвестные, вылетевший с первого курса истфака Минского государственного университета. Это был высокий, худощавый, белобрысый парень, державшийся независимо и, судя по всему, пользовавшийся авторитетом в отделении. Мы как-то разговорились, будучи в наряде, потом толковали о том о сем до утра и так увлеклись, что я едва не проворонил уснувшего на часах у оружейной комнаты Громяка.

— Спит, скотина! — сказал я белорусу, вернувшись после обхода постов в дежурную часть.

— Громяк?

— Он самый! В обнимку с автоматом! Я автомат потянул — держит, из рук не выпускает. Говорит, не спал, только присел у двери. Ноги, говорит, замлели. Врет на голубом глазу.

— Ну, автомат — пустяк, главное — не давать ему гранату!

Мы оба знали, о чем речь, и вполголоса хихикнули, чтобы ненароком не разбудить дежурного по роте, старшего лейтенанта Виленчука, с головой укрывшегося шинелью на колченогом топчане и то и дело посвистывающего во сне гриппозным носом.



Громяк на прошлой неделе едва не подорвал себя вместе с Виленчуком учебной гранатой.

Дело было так. На полигоне курсанты учились метать гранату. Взвод расположился в сторонке, курсанты переминались с ноги на ногу, не очень весело посмеивались, пожимались, втихомолку вздыхали: а вдруг возьмешь в руки, а она рванет?.. По команде выходили по одному, получали гранату, по виду ничем не отличавшуюся от банки сгущенного молока, и направлялись к барьеру — невысокой, не больше полутора метров, стенке из кирпича. У стенки курсанта встречал старший лейтенант Виленчук, и уже по одному его виду — бледному лицу, синим губам и съехавшей на одно ухо каске — каждому было ясно, что игрушки кончились.

— Держи в правой руке, — сипел Виленчук, и глаза его молили: только не урони, падла! — Держишь?левой разжимай вон те усики... Разжал? Выдергивай чеку и быстро бросай!..

И тотчас хватал курсанта за шиворот, понуждал присесть, следом сам укрывался за барьером. По ту сторону стенки раздавался тусклый хлопок, сизое облачко вздымалось и уплывало по ветру — и курсант на негнущихся ногах возвращался к изначальному рубежу.

Притопал к барьеру и Громяк. Стиснул «сгущенку» в пальцах, разжал усики, выдернул чеку, размахнулся — но на замахе граната выскользнула у него и, кувыркаясь в воздухе, полетела обоим за спину.

— Ах! — метнулся над головами единый возглас.

За возгласом упустили мгновение, когда Виленчук схватил курсанта в охапку и перевалился с ним через стену — только две пары ног мелькнули. В ту же секунду граната пыхнула, точно сухой гриб-сморчок, взлетело облачко пыли, мешаясь с горьким дымом, а когда дым осел, на минут-другую над полигоном повисла оглушительная тишина. Стало слышно, как посвистывает в ложбинках ветер, потрескивая шуршат прихваченные первыми ночными заморозками стебли полыни, как где-то близко, у горла стучит, не умолкает гулкое сердце...

Живы, нет?..

Оказалось — живы. Из-за стенки показались сначала две головы, одна — в каске, съехавшей на ухо, другая — в шапке-ушанке, вздыбленной, готовой вот-вот свалиться с круглой макушки. Потом оба медленно выбрались из-за укрытия и, как пришитые, повлеклись один позади другого, ступая мелко, слаженно, нога в ногу, и тот, что был позади, придерживал впереди идущего за воротник шинели. И лишь сопроводив к нам, разжал пальцы и подтолкнул курсанта в спину. Лица у обоих были мертвецки бледные, отрешенные и как бы потусторонние...

— Так вот, Громяк, Смаль — они из глухих карпатских сел, — продолжал Голубович шепотом, едва мы перестали хихикать. — Там телевидение вряд ли есть и электричество не везде проведено. С детства — труд, горы, смереки*, по вечерам — керосинка, за окном — тьма тьмущая. А ты — «дураки»!.. Может, то, что мы с тобой загремели в армию за-

* Смерека — вид ели, растущий в Карпатах.



одно с ними, справедливо. Может, это и есть эволюционный момент: они поднатореют, мы — избавимся от снобизма. Дураки... Оставить вас двоих, тебя и Смаля, на неделю в лесу — как думаешь, кто выживет? То-то! Мы умны одним, они — другим. И неизвестно еще, чей ум надежнее...

— Какая эволюция, окстись! — упорствовал я. — Многому ты научился от Громяка со Смалем? Да и не видно вовсе, даже в перспективе не брезжит, набрались ли они чего-нибудь разумного от тебя.

— Дай время — увидишь. Как бы там ни было, даром ничто не проходит, ничто и никогда.

9.

Будни тянулись, будто на телеге, запряженной волами. Но вместе с тем приближалось замечательное предновогоднее время, время надежд на что-то новое, лучшее, необыкновенное.

В преддверии праздника командование вознамерилось развлечь самых достойных, я почему-то оказался среди них — и вот человек пятнадцать из нашего взвода отправились на новогодний вечер в клуб какой-то фабрики, не то перчаточной, не то чулочной. С умыслом или по какой-то иной причине, но в клубе оказались в основном девчата и молодухи, на-румяненные, ожидающе-тревожные, сладко пахнущие карамелью и недорогими духами. После самодельного концерта, где девчата должны были петь, а курсанты плясать, предполагались танцы.

Смутно помню крохотный зал фабричного клуба, проигрыватель, две-три танцующие пары. Какая-то неловкая девочка, опустив голову и пунцово краснея, пригласила меня, положила руки на плечи, старательно двинулась в такт мелодии, но раз за разом оступалась, сбивалась с ритма. Я молча вел, как важный, надутый гусь, которому нет никакого дела до кур, снующих под ногами. Девочка решительно не нравилась мне или была иная причина, о которой не догадываюсь по сей день, но я вел себя с ней по-жлобски: не проронил ни слова, глядел за ее плечо на другие пары и, едва дождавшись окончания мелодии, оставил партнершу у стены и потопал из клуба на морозный декабрьский воздух.

Здесь курили такие же закомплексованные мальчишки, как я. Кто-то раздобыл бутылку вина и пустил по кругу. Я тоже сделал глоток-другой, затем зашел за угол, отыскал подмороженную скамейку, сел и стал считать снежинки, пролетающие перед глазами: одна, другая, третья...

Было грустно и одиноко. Вспомнились родной дом, зазноба, которой я за месяцы службы не написал ни строчки и вряд ли когда-нибудь уже напишу, книги, тропинка в сад, кусты сирени и жасмина, прогнувшиеся под тяжестью снежных шапок, две шустрые рыжие белки, прижившиеся в дупле соседской ели, и как подкармливал их орехами — вспомнилось все, что было прежнего у меня и что есть теперь. От воспоминаний тоска сдавила еще пуще. Года не прошло, как я в армии, а ощущение напрасности не отпускает, день ото дня становится тягостней, невыносимей. Что-то



будет дальше: привыкну ли, удержусь ли на этом круге или когда-нибудь соскользну, сорвусь и — бог весть...

Кто-то, выходя из клуба, придержал дверь, и до меня донеслась давняя, знакомая мелодия из прежней жизни. Черт бы ее подрал, мелодию! Лучше бы ее вообще не было, мелодии, и никаких праздников, и девчонки, которая так робко и несмело прижималась ко мне грудью!..

А затем произошел и вовсе курьезный случай.

— Через неделю в гарнизонном детском саду новогодний утренник, — озадачил, вызвав меня к себе, майор Калина. — Будешь на утреннике Дедом Морозом. Что значит «не умею»? Ты художник? Значит, в душе артист. Все, разговор окончен! Отправляйся, возьми у заведующей садиком слова, учи. От занятий в отделении освобождаю.

И я отправился. Заведующая, как уже случалось со мной некогда, при других обстоятельствах, обласкала и накормила обедом, потом вручила несколько листочков, исписанных крупным каллиграфическим почерком.

— У вас получится! — убежденно подбодрила она меня на прощание. — Вот и костюм вам впору. А с бородой — вылитый Дед Мороз!

«А может быть, в самом деле?.. — думал я, вздымая перед зеркалом, как в прошлом мой учитель географии, старик Первухин, выгоревшие за лето брови. — Почему нет? Не боги горшки лепят...»

Брови бровями, но когда дело доходило до зубрежки, такая одолевала меня апатия, что я откладывал бумажки со словами на потом. Что там учить — за день-два выучу! Да так и не выучил, решил, авось пронесет.

Но не пронесло.

— Здравствуйте, дети! — промычал я дребезжащим баском, протопав в нарядный зал и оглядев притихшую детвору младшей и средней группы. — А вот и я, Дедушка Мороз!

В руках у меня, как и положено дедугану, был внушительный посох, за спиной болтался мешок с подарками, наклеенные брови из ваты вздымались так, что старик Первухин, увидев этакое великолепие, лопнул бы от зависти, но вот что говорить и делать дальше, напрочь вылетело из головы. От испуга и бессилия испарина выступила на лбу, голос пресекся, руки затряслись — и я под нашептывание какой-то тетеньки, сидевшей у пианино, принялся нести околесицу:

— А вот и подарки!.. Снегурочка мне поможет... А где Снегурочка? Ах, это Снегурочка?.. Новый год настает и приносит людям счастье... Сейчас я залезу в мешок... Сейчас... Черт, кто его завязал на узел?!

Тут я заметил, что необычная тишина стоит в зале. И хотя тетенька у пианино наконец отвлеклась от инструмента и помогала мне изо всех сил, дети все больше напрягались, глаза их испуганно влажнели. И вот сначала насупился, заморгал и всхлипнул один, потом другой, а там и остальные, как по команде, дружно ударились в рев.

О, этот детский плач!.. Это новогоднее счастье!..

Не помню, кто и как успокоил детей. Некоторые даже приняли подарки и отважились сесть к доброму Дедушке Морозу на руки. На па-

мять об этом грандиозном провале мне досталась фотография, на которой я — в шубе и шапке, с бородой из ваты, рядом со мной дети, один все еще ревет, тетенька в шапке успокаивает ребенка. А глаза у меня такие, что надо бы успокаивать в первую очередь Деда Мороза, то есть меня, меня...

10.

Под Новый год, без пятнадцати двенадцать, подполковник Штеренберг прибыл в роту, чтобы поздравить личный состав с праздником. Он животом вперед прошествовал перед строем курсантов, четким командным голосом огласил приветствие, пожелал нового счастья — и был таков. А нас уложили спать.

Но нового счастья не случилось. А неделю спустя произошла трагедия, о которой, сколько буду жив, забыть не смогу.

Одним из объектов, где курсанты нашей роты, наряду с другими, несли круглосуточное дежурство, были дивизионные воинские склады. Насколько помню, на складах содержались боеприпасы, противогазы, укомплектованные медицинские сумки, носилки, запчасти к автомобилям и мотоциклам и еще много чего, необходимого на первое время в случае внезапной войны. Были там и склады войск радиационной и химической защиты, и черт его знает, что именно на этих складах хранилось.

Как бы там ни было, но по периметру ходили часовые с автоматами и с полным боекомплектом, в дежурке пылал в печке уголь-орешек, отдыхали на топчанах сменявшиеся каждые три часа караульные. Одним словом, обычная воинская рутина, сон в долгую зимнюю ночь...

И вот после новогодних праздников все здесь пришло в движение: склады перемещались за город, а освободившиеся помещения разбирались. По этой причине режим строго охраняемого объекта был ослаблен — курсанты спали, топили в караулке печку, резались в подкидного дурака. Да и ворота на территорию часто оставались открытыми: заезжали самосвалы, вывозили строительный мусор — раскрошенный кирпич, подгнившие балки, шифер, горы осыпавшейся штукатурки...

И вдруг в один из дней, когда курсанты моего отделения заступили в наряд, взводный вызвал меня в дежурную часть и отрывисто приказал:

— Поднять тех, кто свободен от наряда. Получить санитарные сумки, противогазы и выдвинуться к складам. Только тихо! Разговоры отставить! И... — Лицо его стало землисто-серым, губы задрожали. — Ничего делать не надо, все уже сделано без вас. Вы там — на всякий пожарный...

— Что-то произошло? — не по-уставному спросил я.

— Дети... Один шкет малолетний и другой... Нашли на развалинах, где были химсклады, капсулу, как-то вскрыли... *Зарин!*.. Ты понимаешь?.. Капитан Лебедев случайно увидел, подхватил на руки и в госпиталь... Там недалеко, но на полдороге тоже упал... Нет ребятишек. И капитана нет. Только никому ни слова! Паники еще не хватало... Территорию оцепили, ищут — вдруг еще капсулы остались. Пропади оно все пропадом!.. Иди, что стоишь? Поберегись только...



Зарин? Что такое этот зарин? Я был тогда плохо подкован, и если бы не слова взводного, что дети и капитан Лебедев погибли, пропустил бы это жуткое слово мимо ушей. Но — капитан Лебедев, жизнерадостный крепыш с неизменной улыбкой на лице, но — «один шкет малолетний и другой»... Не от пули, не во время войны, а вот так — в новогодние каникулы, посреди мирного города — там, где еще вчера курсанты резались в дурака...

Все-таки человек — самое неудачное из творений Господа!..

Мы шли по улицам города — мимо парка, где резвилась детвора, мимо военного госпиталя, где, спасая детей и капитана Лебедева, отравились врач-терапевт и молоденькая медсестра, и судьбы наши точно так же неведомы были нам. А вдруг джинн вырвался из бутылки и, невидимый и неосязаемый, поджидает за воротами, ведущими для кого — на бывшие склады, для кого — напрямик в ад? И санитарные сумки и противогазы, болтающиеся на боку, не помогут, не спасут, и Судный день настанет — для нас, для города и для всех, в нем живущих?

Мимо курсанта с автоматом мы прошли в ворота, протопали по двору, заглянули в дежурку — там было натоплено, чадно, на топчане спал курсант, с головой укрывшись шинелью, другой сидел у печи и ковырял в жарком зеве закопченной кочергой. Он поднялся нам навстречу, вопрошающе посмотрел, снова сел к печке и стал смотреть на огонь.

— Как обстановка, Рат? — спросил я курсанта.

— Все хорошо, — вяло улыбнувшись, отозвался тот. — Нашли еще одну капсулу в битой штукатурке. Металлическая. Кажется, шестиграннык.

— И что в этом хорошего?

— Так ведь целая! Насыпали в ящик из-под галет песка, положили туда капсулу, подполковник Штеренберг ее увез, а оцепление сняли. Хорошо! А вы зачем пришли?

— Разговорчики, Рат! Скажи лучше, что такое зарин?

— Это тот, что в капсуле? Газ какой-то.

«Святое неведение! — невольно подумал я о Рате, тихом, флегматичном парне с лающей немецкой фамилией. — Или защитная реакция? Кто его разберет...»

Станный шум за окном прервал мои размышления. Приоткрыв дверь, я увидел, что на территорию влетел незнакомый командирский уазик, резко тормознул, дверца распахнулась и из машины выбрался высокий сердитый полковник в папахе, с красивым красным лицом и щеточкой усов, капризно подрагивающей на верхней губе.

Неизвестно откуда вынырнувший майор с красной повязкой на рукаве, по всей видимости дежурный по объекту, загребая носками снежную пыль, отбил строевым шагом, вздернул наэлектризованную ладонь и, отдав честь, стал четко докладывать:

— Здравия желаю, товарищ полковник! Дежурный по...

— Где капсула, майор? — нетерпеливо перебил тот. — Капсула где?

У майора под тугим воротником кителя вздулась жилистая шея.

— Так... подполковник Штеренберг увез...

— Как увез? Куда?

— Разрешите доложить? Увез в штаб дивизии.

— Что-о? Да он сошел с ума! Немедленно отозвать! Сию же минуту!

Но отзывать подполковника Штеренберга не пришлось: в ворота как-то боком, припадая на рессорах, вкатился узик командира медицинской роты, и тот, придерживая на животе злополучный ящик с капсулой, уже неся на полусогнутых к начальнику штаба дивизии.

— Товарищ полковник...

— Молчать! — заорал штабной, багровея и потрясая в воздухе кулаком. — Как вы посмели — вынести *это* в город, да еще в штаб потащили?! Совсем рехнулись? Вы преступник, подполковник Штеренберг! Я вас предаю военному трибуналу!

«И в самом деле, — подумал я, от греха подальше укрываясь в дежурке, — а если бы капсула разгерметизировалась в штабе, в парке или где-нибудь у детского сада — что тогда?..»

Неотвязное саднящее чувство в душе, сидящий у печки с кочергой заторможенный и безучастный Рат, полковничий рев, не стихавший за спиной, за грубой, обитой металлическими полосами дверью дежурки, — неужели это все, что предназначено мне судьбой? А может, и меня где-то ждет капсула со смертельным газом без цвета и запаха, а я, собираясь жить долго и счастливо, даже не догадываюсь об этом?..

11.

Весной несколько сержантов, в том числе и я, были направлены на курсы политпросвещения в Доме офицеров. Мы выходили из Коробки во второй половине дня, сворачивали с Главной на улицу Кобылянской и шли, мешаясь с праздною публикой, на Театральную площадь.

Я всегда любил весну, первое тепло, промытое каплей солнце, ручки, подсохшую брусчатку мостовой, любил возвращение к жизни всего живого. А если еще — глоток свободы, пусть недолгий, но животворящий!..

И мы ухитрялись наслаждаться этим глотком, как могли: не только внимали унылым лекторам, но и сидели где-нибудь в тихом сквере, сбегали в кино, проникали на концерты, изредка случавшиеся в Доме офицеров.

Мешал нам только один человек — сержант Остерис, спортивного вида литовец, мускулистый, широкоплечий, державшийся особняком и бывший на хорошем счету у командования роты за принципиальность, пунктуальность и образцовое несение службы.

— Ну что, в кино? — спрашивал кто-нибудь по окончании семинара.

Все с готовностью кивали головами: когда еще подвернется удобный случай? И только Остерис поджимал губы, обводил взглядом стальных глаз каждого и сухо отрезал, чтобы всем было понятно:

— Я не пойду. Вечером у меня спортзал. А вы, если решили, идите.



Как же, пойдешь тут, если Остерис явился в роту, а мы неизвестно где!

Так было несколько раз кряду, и в один из дней я решил разузнать, чем этот проклятый литовец занимается по вечерам в спортзале.

Признаться, у меня никогда не было особой тяги к силовым видам спорта. В школе на уроках физкультуры я опасался слететь с брусьев или кувыркнуться через коня, хилые мышцы плечевого пояса не позволяли более трех раз подтянуться на перекладине, а кольца попросту вгоняли в ступор. Поэтому не без изрядной доли страха и настороженности переступил я порог спортзала, и первое, что услышал, был лязг дисков, надаваемых на штангу. Звук казался гулким, как в колодце или под куполом заброшенного храма. Я взгляделся — в тусклом свете лампочки возвышалась на низком деревянном помосте одинокая фигура с обнаженным, божественно вылепленным торсом.

«Вот так литовец! — подумал я, на мгновение онемев. — Вот, значит, для чего...»

Вскинув на плечи штангу, Остерис увидел меня, но не подал вида, что удивлен, — стал равномерно выполнять приседания. От усилий мышцы у него напряглись, вздулись буграми, на шее обозначились крученые, как провода, жилы.

Вдох — выдох, вдох — выдох... Интересно, насколько его хватит?

Я досчитал до десяти — тогда только литовец прогнулся и сбросил на помост громыхнувшую и откатившуюся на дисках штангу.

— Брось полотенце, — попросил, встряхивая и расслабляя предплечья и кисти рук.

Отершись, пробежал по залу, затем перешел на шаг, остановился возле меня и, все еще неровно дыша, посмотрел — оценивающе, исподлобья.

— Чего стоишь? Снимай гимнастерку — и к снарядам!

— А что получится? — неуверенно спросил я.

— Получится, что не стыдно будет раздеваться на глазах у девушек на пляже.

— С чего такая уверенность?

— А вот с чего. — Он вытащил из кармана сложенную вдвое брошюру и подал мне. — Руководство по культуризму. На польском языке, но перевод не нужен, по картинкам поймешь. А не поймешь — я переведу. Только ты вот что, никому ни слова: книга у меня, как бы тебе сказать, не совсем законно, контрабандой. — Он еще раз посмотрел мне в глаза, как бы взвешивая, верно ли поступил, доверившись в таком деле, потом скупой улыбнулся: — Все у тебя получится, главное — система и упорство. Станешь ходить через день — только время потратишь попусту. Ну, готов к самосовершенствованию или пойдешь в кино?

Я ответил, что готов.

— Тогда возьми вон тот блин — он полегче, тебе достаточно пока такого, — и на помост.

И я стал качать мышцы с упорством, ранее мне не свойственным. По вечерам мы встречались в спортзале и, почти не разговаривая, перекидываясь парой-другой фраз, ворочали железо. Потом передыхали, обливались водой, и при этом я нет-нет да и поглядывал в зеркало: как там мышцы? Скоро ли станут такими, как у Остериса?

Но, как ни странно, при этом ни дружбы, ни хотя бы открытости между нами не случилось: я ничего не знал об Остерисе, он не расспрашивал меня и, как порой казалось, совершенно мной не интересовался. Впрочем, подобная отстраненность была вполне созвучна нашим характерам...

А потом с Остерисом случилась неприятность: командование роты за что-то на него взъелось. Из передовиков он вылетел в отстающие, его начали уличать перед строем в каждой невинной оплошности, а там и во все вклепили выговор.

Литовец еще сильнее сжал губы, посерел, как бы съежился, но смотрел по сторонам все тем же упорным, независимым взглядом.

А тут еще мне наскучил культуризм и я стал отлынивать от тренировок...

Как-то мы столкнулись лицом к лицу в пустом коридоре. Он посмотрел сквозь меня холодным, невидящим взглядом, потом вдруг ухватил за рукав и сказал, проговаривая слова с деревянным прибалтийским акцентом:

— А ведь и ты такой же... Как все в этой стране...

— При чем здесь страна? — опешил я. — Тебе страна выговор объявила?

Он что-то пробормотал на литовском, потом склонился и обронил мне на ухо:

— Вы зачем к нам пришли? Вас никто не ждал — вас, вашу страну, вашу армию... Можешь пойти и на меня доложить...

Остерис ушел, а я еще долго думал: почему доложить, кому доложить, о чем? О том, что многие из них, оказывается, ждали немцев?

Но — доложить?.. Нашел стукача! За поганое это слово надо было дать ему в морду...

12.

В начале апреля, когда весна в Черновцах в разгаре, младший сержант Перепелкин дал мне почитать книгу о любви «Игра в жмурки». Я прочитал и взволновался — больно уж весна была хороша!..

А в конце апреля нас с Перепелкиным командировали от медицинской роты в Узбекистан за молодым пополнением. Человек пятнадцать сержантов из различных подразделений учебной дивизии разместились в общем вагоне поезда Черновцы — Москва, офицеры ехали в плацкартном.

Накануне отъезда я известил мать, что поезд проследует через узловую станцию Казатин. Замечательная станция Казатин! Две платформы,



Киевская и Шепетовская, Николаевский вокзал с высокими потолками, два-три буфета, киоски «Союзпечати». Но главное — в получасе езды от дома и поезда здесь стоят некоторое, пусть недолгое время, перестраиваясь с ветки на ветку.

На Шепетовской платформе я обнял мать и бабушку, запасаюсь харчами на дорогу и сделал снимок на память: я, они и младший сержант Перепелкин.

В Москве пересели на поезд Москва — Ташкент и покатали, покатали...

Путешествие по железной дороге — дело скучное, тягостное, но для солдата счастливое: вагон покачивается, колеса мягко постукивают, за окном проплывает бесконечный повторяющийся пейзаж — затянутые дождем поля, темно-синяя кромка леса, платформы, крыши, переезды и снова поля и лес... Все это однообразие убаюкивает, клонит в сон, и солдат спит, спит, а служба идет. Приехал, вышел на перрон — и через час-другой все забылось, как и не было ничего: ни смутных сновидений, ни пропахшего углем и сапогами вагона. Но почему-то именно эта поездка осталась в памяти, засела накрепко, словно нечто особенное в ней было. Может быть, из-за того, что впервые в жизни увидел Волгу, может быть — потому что оказался неправдоподобно далеко от дома...

Память меня подводит или все так и было на самом деле, но помнится: через Волгу поезд перекачивался по каким-то насыпям-островам — от острова к острову. Было туманно, сыро, и вокруг, сколько ни гляди, разлиты были, как у Бунина, «воды многие». И эти воды, и небо, и туман — все наполнилось одним цветом, бледно-серым, — и только изредка, под случайным солнечным лучом, водная гладь вдруг тускло посверкивала, будто чешуя у пойманного сазана.

Я лежал на верхней полке, смотрел в окно и ни о чем не мог думать. Что это было: неизъяснимая грусть? Или, как теперь обозначил бы, скорбное бесчувствие? Есть такой медицинский термин. Вот только бесчувствие в том возрасте, о котором пишу?.. Но мне так не хотелось углубляться в чужие края, дышать сырыми туманами великой реки, ступать на желтый суглинок неведомых полустанков! А хотелось любви, которой у меня не было и о которой с придыханием пел кто-то из курсантов, подыгрывая себе на гитаре:

— Отшумело, отзвенело бабье лето
Паутиной. Перепутал листья ветер.
А сегодня журавли собрались в стаи,
И кричат они, над нами пролетая.

И я лежал, покачиваясь в полудреме, слушал незамысловатую песенку, напоминающую прибалтийский шансон, и воображал, как обнимаю и целую девушку, неузнанную, но такую родную и нежную — единственную. Девушка улыбалась и что-то нашептывала, застенчиво ко мне прижимаясь, и груди ее были маленькие, упругие, юные...

А певун все наигрывал, струны звенели нежно, чувственно, позабыто:

— А сегодня ветер гонит злые тучи,
Ты ушла к другому — он, наверно, лучше.
Отчего ж, его лаская у рябины,
Ты грустишь при виде стаи журавлиной?

Прошел день, потянулся второй. Время утратило упругость, перестало течь, остановилось. Серые приволжские хляби незаметно сменились серыми степными солончаками. Пахнуло ветром, настоящим на пыли и горечи степных трав, за окном промелькивали одинокие строения, похожие на кибитки. Что это были за строения, зачем стояли в степи?

Однажды, когда состав впервые за несколько часов пути остановился на каком-то невзрачном запыленном полустанке, мы увидели ишака. Серый, равнодушный, покорный, тот лежал подле какой-то дощатой клетушки и подергивал ушами, отгоняя слепней. То-то было радости, то-то — восторга! Трое из нас, мальчишек в погонах, высыпали из вагона, подбежали, стали хлопать ишака по спине, теревить за уши, тянуть за хвост. Со шкуры, будто с затоптанного ковра, тучей поднялась пыль. Ишак и головы не поднял, потом откинулся на бок и лениво дрыгнул ногой в сторону надоедливых приставал.

— А-а! — кричали мальчишки, приплясывая и гогоча. — Лягается!.. А-а!

Но вот поезд тронулся, потянулась унылая, продуваемая ветрами степь — и на душе снова стало сумеречно и тоскливо. Гитара уже не брнчала, песни не пелись, анекдоты не веселили, карты были заброшены — только покачивание, сонный взгляд, зевок, затухающее звучание недолгого разговора...

А наутро, едва разлепив глаза, мы приникли к окнам в изумлении и восторге. Степь волшебна, неузнаваемо переменялась: это уже была не степь, а необозримое маковое поле. Сияло утреннее солнце, синели вдалеке покатые холмы, а вокруг, на сколько хватало глаз, горели алым огнем маки, маки, маки!..

— Подъезжаем! Ташкент! — пробегая с веником по вагону, прокричала озабоченная проводница.

Медленно приплыло и остановилось напротив окон здание вокзала. Мы вышли из вагона и огляделись. Перрон показался на удивление безлюдным и тихим, было солнечно, но все еще прохладно, от колесных пар густо тянуло смазкой и нагретым железом.

«Ничего странного, — подумал я. — Сегодня Первое мая, все на параде. Что им делать на железнодорожном вокзале?»

Неторопливо, вразвалку подошли офицеры, приехавшие в плацкартном вагоне, — помятые, утомленные, с опухшими лицами. Приземистый майор в фуражке набекрень, плохо выбритый, землисто-бледный, с красными веками, оглядел нас исподлобья, проверил по списку, все ли на месте, потом сказал, с трудом сдерживая зевоту:



— Поезд на Термез вечером. А пока свободны. Можете поехать в город, посмотреть что-нибудь. Этот, как его... Тадж-Махал. Что — в Индии?.. Какая Индия?! Черт с вами, смотрите что хотите. Но в девятнадцать ноль-ноль всем быть на перроне! И... с выпивкой осторожнее: здесь вам не дома.

И офицеры повлеклись в сторону привокзального ресторана.

13.

— Кого нет? Где еще двое?! — орал майор и тыкал кривым пальцем в циферблат наручных часов. — Девятнадцать часов двадцать четыре минуты сорок пять секунд... сорок шесть... Поезд сейчас отвалит... Кого нет, уроды? Предупреждал ведь: не пить, не шляться!..

Мы топтались у вагона, строились в две шеренги, и нас пересчитывали в который раз, но все равно двоих не хватало. Кого? Майор запускал руку в планшет, рылся в бумагах, но не мог отыскать списка — и снова принимался загибать пальцы: первый, второй, третий... Глаза у него были несчастные, губы мокрые, и несло от него за три версты...

Давно уже прицепили локомотив, состав раз-другой с лязгом дернулся, проводник — шустрый, жилистый, желтолицый узбек — то и дело вытягивал шею и всматривался в направлении головы поезда, затем оборачивался к майору:

— Поехали, начальник?

— Какой, к черту, поехали?! Где у тебя стоп-кран?

— Нет стоп-кран... Нельзя стоп-кран... Ехать надо...

— А-а, засранцы! А-а! — стонал майор, запустив руку под рубашку и расчесывая себе грудь.

— Да вот же они! — воскликнул кто-то, указывая в сторону вокзала.

Два сержанта-химика неспешно шествовали по перрону и, подойдя, с хмельной удалью остановились перед майором. Брючные карманы у одного подозрительно оттопыривались, воротник рубашки у второго был расстегнут, а конец галстука, затолканного между пуговицами на животе, высовывался и темнел липкими пятнами. Но главное, у них за спиной маячили две женские фигуры, и, присмотревшись в быстро густеющих сумерках, я разглядел, что это узбечки, молодые, смуглолицые, с влажными темными глазами.

— Это кто? Это как? — взвился было майор, но тут по вокзалу объявили, что поезд Ташкент — Термез отправляется через две минуты, и майор, погрозив химикам пальцем: мол, разберемся потом! — понесся с офицерами в голову поезда, в свой плацкартный вагон.

— Кто-кто... Конь в пальто! — сказал вслед убежавшим один из химиков, тот, что изначально казался мне развязнее и наглее других. — Ну, что стоим? — обернулся он к нам. — Грузимся, грузимся! И вы, девочки, — ну-ка!..

Он посадил узбечек, одну за другой, на ступеньки вагона, забрался и сам, а проводнику обронил сквозь зубы, оттиснув вглубь тамбура и придавив грудью:

— Не кипиши, у них есть билеты! Я сказал — есть!..

Вагон был, как и следовало ожидать, общим, выдавшим виды, с грязно-серыми скатками матрасов на верхних полках, пыльными окнами и затхлым, стойким запахом заброшенного жилья. Кроме проводника и нас, здесь не было ни одного пассажира.

Сразу потянуло в сон. Но проводник, прослышав, что постельное белье брать не будем, наотрез отказался выдавать одеяла. Тогда я расстелил на верхней боковой полке матрас — отвратительным грязно-бурым пятном книзу — и, стряхнув соринки и слежавшиеся комочки пыли, улегся, подпер рукой голову и стал смотреть, как химики затевают пир горой.

Тот, что был развязнее и наглее, снял китель, сдернул измятый галстук и, рассадив девицу у стола в купе напротив, скомандовал напарнику:

— Чего стоишь? Давай!

Напарник пьяненько хихикнул, ударил в ладоши, вытащил из карманов две бутылки вина и с пристуком водрузил на столешницу.

— Опля! — возбудился развязный и наглый. — Девки, пьем!

Девицы тупо и заторможенно переглянулись, и мне показалось, что они тоже пьяны, — по всей видимости, химики не зря провели время в Ташкенте.

Захмелевшие женщины никогда не вызывали во мне добрых чувств. Отвернувшись к окну, я приладил под щеку рюкзак и принялся считать огни предместий, то и дело промелькивающие в желто-сиреновом полумраке.

Через полчаса меня разбудили пьяные голоса.

— Костя, уймись! — бормотал тот, который принес в карманах вино.

— Молчи! У химиков свои нормативы, — упирался развязный и наглый и мутно косился на девицу, зажатую им в углу скамьи. — Сниму противогаз за шесть секунд, презерватив за пять секунд, бюстгальтер за четыре секунды, часового — с трех попыток. Хочешь, покажу? Иди сюда, ближе! Дашь? — Он отхлебывал из бутылки, затем зажимал горлышко большим пальцем и ударял доньшком по колену девицы. — Последний раз спрашиваю: дашь или нет?

Та кривила в ухмылке губы, клонила к столику голову и отталкивала, отводила ладонью бутылку, раз за разом ударявшую по колену с негромким, тупым хлопком. Ее подруга, сидевшая напротив, сонно прикрывала глаза, как захворавшая сплюшка, тут же встряхивалась, моргала, борясь с хмелем, сном и сторожась зарвавшегося сержанта.

Черт бы вас всех подрал!..

Соскочив с полки, я перебрался с матрасом подальше от неугомонной компании и снова попытался уснуть. На этот раз сон пришел быстро — и так, под перестук колес, постанывание на крутых поворотах обветшалого дерева и металла, приглушенный перегородками пьяный бубнеж, я проспал час или два.

И все-таки выспаться той ночью мне не удалось — кто-то ухватил меня за плечо, встряхнул, забормотал горячечной скороговоркой:

— Вставай! Ну вставай же!.. *Будешь?* Если что, становись за мной...

Я с удивлением разлепил веки — то был Перепелкин, взъерошенный, с бегающими глазами, все порывающийся куда-то и увлекающий за собой.

— Не буду! Не хочу я вашего вина, — зевнул я, отталкивая теребящую руку.

— Ты о чем? Какое вино?! Там... там...

И он, тараща глаза, заплетающимся языком шепнул мне на ухо, что — *там*.

Меня как на батуте подбросило, и, треснувшись головой о перегородку, я живо вывернул шею и посмотрел в тускло освещенный проход вагона. Там и на самом деле происходило нечто странное, будоражащее. Купе, которое занимали химики с подружками, было занавешено одеялом, и у этой плотной занавеси темнели смутные фигуры, в нетерпении толклись, переминались с ноги на ногу, подглядывали, шептались. Прискакал и очумелый проводник, сунулся за одеяло, возбудился, затеребил рубашку, пританцовывая на кривых ногах, но тотчас угомонился, потух, почесывая затылок, поплелся в свое купе и защелкнул за собой дверь.

— Ну? — срывающимся шепотом возопил Перепелкин. — Чего ты? Они — сами... всем дают...

Воображение мое распалось, но вместо вожделения вдруг замутило — почти так же, как бывает у подростков, отравившихся сладостями. Я живо представил, каково это — оказаться третьим или четвертым, да еще без воды и полотенец, в грязном, пропахшем вином и потом вагоне. Но главное, я знал, что ничего у меня, чистоплюя, не получится — ведь должно быть хотя бы какое-то чувство, нужно сначала услышать женский голос, увидеть глаза, уловить дыхание, что-то для себя понять, а уж потом... потом...

— Не пойду, — сказал я Перепелкину, и когда тот посмотрел на меня как на идиота, кивнул в сторону топчущихся у занавеси-одеяла: — Которым по счету — после этих?.. Не могу...

А про себя добавил: «И вторым наверняка не смогу...»

Наутро одна из девиц ненадолго исчезла, другая стояла в проходе, у туалета, взглядывала исподлобья и вся была жеваная, помятая, утомленная. Некоторые из ночных кутил, проходя мимо нее к умывальнику или покурить в тамбур, похихатывали, иные затаились в недрах вагона, опасаясь попасться на глаза. Укрылся где-то и Перепелкин.

Потом девицы сошли на какой-то станции, но все не уходили — молча стояли у вагона и провожали глазами уползавший поезд, как будто могли видеть притаившихся за окнами мальчишек в погонах, некоторые из которых накануне стали мужчинами.

Я же пребывал в смятении, точно заглянул за некую заветную дверцу, о которой давно мечтал, но заглянул с черного, ведущего на помойку хода...

(Окончание следует.)

Владимир КРЮКОВ

НЕВОЗВРАТИМАЯ ПОРА

* * *

Вы, фламандцы, творцы золотой полумглы,
даровали мне милость:
ведь мирские обиды не так тяжелы,
если сердце любовью омылось.

Как звучало красиво и строго: «реглан»,
и, с дождями согласно,
возникало певучее имя Легран
и шербурские зонтики, ясно.

И ветрами весенними мне принесло
новый образ свободы,
потому и ахейской триремы весло
опускал я в сибирские воды.

Сколько бы ни пытались меня укатать
мастера телерадиоблуда,
мне мерцает надежда в зрачках у кота —
несгибаемого Робин Гуда.

* * *

Невозвратимая пора
портфелей, парт, чернил,
но школьный фотоаппарат
и это сохранил.

Стоишь, душа твоя легка,
и сердце горячо.
Жизнь не изведена пока,
но рядом бьет ключом.

Когда-то прилетит не раз
ключом по голове,
но это после, а сейчас
мир тонет в синеве.

Но это после, а пока
веселый льется свет.
Стою. Душа моя легка,
и мне тринадцать лет.

Зной 2017 года

Знать не знаю, когда конец зною.
Но мое незнание не поможет его изгнанию.
Похоже, от зноя кончится все земное.

Лежу пластом, оставил свои дела я.
Нет звуков. Не слышу даже собачьего лая.
Отменяются плачи, отменяются речи.
Вот и ночь опускается мне на плечи.

Сколько звезда глядит с небосвода —
столько продлится свобода.
Дремлет трава, на обрывах песок остывает.
Однако уже светлеет. Светает. Светает!

В чащу уйти с дремучим мхом или мохом,
истинно будет подстилка зеленая пухом,
лекарем для изможденного духа,
если уткнешься с освободительным вздохом

в травы лесные, в гнилую листву и коренья.
Здесь, наконец, и придет безрассудное время.
Время беспамьятства, все отменяя, настанет,
освободит, ни за что отвечать не заставит.

Все мы когда-нибудь станем без роду и племени прахом.

* * *

Вот на тарелке лежат абрикосы и сливы,
настежь в зеленое утро открыто окно.
Помню минуты, в которые был я счастливым,
наперечет их, а много и быть не должно.

Так пролетает бесследно красивая птица,
тает в безмолвии голос родной за плечом.
Не сокрушайся, что все это не возвратится.
Будет о чем пожалеть. Будет вспомнить о чем.

Дарья СЕЛЮКОВА

ХОЛОДНЫЕ ДНИ

Р а с с к а з ы

«Прости нас, дядя!»

От дяди осталось немного: коллекция нэцке, мешок стихов на каких-то обрывках и портсигар с рыбаком, тянущим рыбу из чеканной воды. Остальное куда-то вывезли, выкинули, когда делали ремонт.

Соня никогда у него на новом месте не была. Знала, что есть черный камень, а на камне лазерная гравировка — какой-то привет из девяностых, так ей всегда казалось. Но когда ставили памятник, у нее не спрашивали.

С дядиной семьей расстались плохо: на поминках все поджимали губы и парами, тройками уходили на кухню выяснять то, что за столом неприлично было. Соня не участвовала. Она сидела на скрипучем диване под ковром, макала в мед холодные толстые блины, и на кухню ее не приглашали.

Она могла бы напомнить, как жила у них столько лет, пока мучила фортепиано в музучилище, как он часто говорил в шутку, что отдаст Соне бабушкины украшения: у Катьки ведь на золото аллергия. Как он рассказывал ей свои истории: долгие, про волков, бегущих за северным поездом, про тощего, нескладного инопланетного певца в транссибовском вагоне, про горящую степь — верная примета, что новая война началась.

Но не было ни сил, ни желания спорить. И квартира эта была ей давно чужая, и люди в ней — чужие.

«Ты уже потом придумала, что тебе нравилось там жить, — как-то сказала мама. — А тогда жаловалась, что у них вечно беспорядок и все не как у людей». Может, и правда, не как у людей. Две беспородные лохматые собаки, вечно цокающие за тобой по всему дому; разобранный аккумулятор; какие-то детали — куча разных кронштейнов, уголков; старые радиоприемники; китайские, кислотных цветов календари с вишневыми деревьями и буддами; ЖЗЛ стопками, никогда не читанная. Сорочье гнездо, а не дом.

Зато окна выходили в зеленый яр. Летом в яру жарили шашлыки и палили костры, зимой катались на санках и картонках. По утрам Соня собиралась «в школу» под петушиные вскрики и бляенье коз: за яром город обрывался в частный сектор, в деревню.

На край яра с городской стороны кто-то притащил бетонные парковые скамейки. Дядя обычно садился на свободную и курил, пока Дик с Грэм бегали вокруг. Иногда Соня выходила с ним и садилась рядом. После того как дядю впервые сшиб сердечный приступ — чаще. Боялась за него.

Один раз она получила трояк и дома сидеть не могла, воображая, как ее исключают, как мама говорит: «Ну а чего ты хотела?» Эти сцены раз за разом проигрывались в голове, будто заикленное старое кино, и Соня не выдержала — спустилась к дяде, молча села рядом с ним на лавочку.

Он ничего не спрашивал. Ему все равно было, какие у нее оценки.

— На горке раньше станция стояла, — сказал дядя, поводя сигаретой над яром.

— Какая станция?

— Ну станция, с антенной. Тут меридиан и параллель удобно пересеклись, можно слушать сигналы из космоса. С «Мира», со спутников разных.

Соня знала, что это неправда, что на том краю всегда была деревня, но уже начинала сомневаться. Дядя даже не убеждал — просто рассказывал.

— А почему ее закрыли?

— А сигнал мешал телевизшке. Там бетонный фундамент от антенны остался, остальное на Байконур увезли, наверное. Наша бабушка, когда тут жила, все время жаловалась, что «снежит»*. Говорила: «Снежит, и Тамарку показывают».

Тамаркой звали бабушкину сестру. Она умерла еще молодой, но мы ее называли — Бабтома, будто она где-то там жила и старилась вместе с бабушкой.

— Да ну, это она шутила.

— Почему шутила? Бывает такое. В советское время Бога отменили, и поэтому все, кто тогда умер, все на орбите. Когда сигнал из космоса идет, они в помехи иногда попадают... Люди стали нервничать, и антенну убрали. А в Казахстане, в Бурятии до сих пор жалуются.

Соня даже не знала, страшно ей или смешно. С детства она боялась выключенного телевизора, в котором мир отражался мутным и чужим. Боялась увидеть там что-то. Или кого-то. Может, Бабтому.

— А почему бабушка жаловалась? Разве плохо кого-нибудь увидеть вот так?

— Это, Сонечка, уже не то. — Дядя затянулся и выдохнул синеватый дым. — Во сне еще — может быть, а по телевизору... нет, не то. Поэтому бабушки телевизоры салфетками и завешивают. Ты не бойся: я однажды во сне у отца, дедушки твоего, спрашивал, как там.

— И... и как там?

— Ничего, говорит. Друзей завел. На другие планеты с ними летает.

Соне почему-то стало легче. Дело шло к лету, от деревни несло пахнущей травой, из оврага поднимался сырой травяной холодок. Она знала, что дядя сочиняет, в своей выдуманной стране живет, но если б Соня при-

* «Снег» — вид телевизионной помехи.

шла в кассу, где можно купить билет куда угодно, — она бы поехала туда, в дядину страну.

Экзамены скоро, никого до экзаменов не выгонят. Да и не все ли равно, если тут Бабтома пытается достучаться с орбиты, а бабушка приветы передает?..

Дядя на связь не выходил.

Да Соня и забыла о той истории. Когда он умер, она была уже крепко замужем, с Аленкой на руках, со своими филармоническими делами в голове. Телевизора она больше не боялась, но в тот день, когда ясно стало, что Игорь уйдет, вдруг посмотрела в коричневое зеркальное рыло старого телика на кухне и разрыдалась. Потому что вся жизнь вот такая, как там, коричнево-серая, бесцветная, и больше в ней ничего нету, нету, нет и не было.

Потом привыкла, конечно, втянулась. С восьми до шести ненавидела свою жизнь, как все раскачивалась в метро, стояла в пробках, долбила по клавишам — все ради Аленки, только ради Аленки...

А однажды, первого мая, позвонил Вадюша. В восемь утра, в воскресенье.

Позвонил и закричал в трубку:

— Сонька! Христос воскрес! Мир-труд-май! Никуда не уходи, я тебе сейчас кулич привезу! Не уходи никуда!

Она спросонья подумала, что Вадюша собрался её кулич тащить из Штатов, но потом умылась и поняла, что двоюродный брат звонил из аэропорта, что он уже в городе.

И не предупредил никого.

Соня не готова была сейчас его видеть. Аленка осталась у отца, Соне мечталось выходные провести по-человечески: проснуться когда захочется, медленно выпить кофе... Все делать медленно и неспешно, запихнув подальше тревогу о том, что жизнь проходит зря, что срочно нужно вспомнить что-то полезное и сделать это как следует, пока есть время.

Вадюша о таком даже не задумывался. Носился по всему свету, занимался скупкой какого-то старого хлама, и на что он жил, было совершенно непонятно. Как птица перелетная. Соня представила Вадюшу — одышливого, полного, в очках с толстыми линзами. Ну и какая птица из него получилась бы? Киви, что ли?

Она надеялась, что он зарулит куда-нибудь и забудет про нее, как всегда забывал. Память у Вадюши была чудо какая избирательная: помнил он только то, что было ему интересно, и Соня с Аленкой в этот круг обычно не входили.

Вадюша был дядиным сыном от первого брака и у отца появлялся редко, но каждый раз — как ураган, с сумками непонятной мордовской колбасы, с блоками сигарет, какими-то фигурными бутылками и конфетами, названий которых Соня ни до ни после не встречала. Однажды, например, притащил полный коньяка стеклянный меч.

Дяде все нравилось. Меч, наверное, до сих пор пылился на шкафу рядом с моделями кораблей и аккордеоном.

Даже на поминки Вадюша приехал шумно, как цыганский табор, с трехлитровой банкой белого меда и долго рассказывал Соне на кухне про то, как его друг из Владивостока перегонял «японку» и возле трассы на него напал медведь.

Об отце не сказал ни слова. Будто не понял.

И вот теперь появился на пороге с чемоданом на колесиках, с огромным куличом под мышкой.

— Смотри, свежий! При мне привезли! А Игорь где? Мне тут авокадо передали, вы таких авокадо не пробовали! Игорю ремень нужен? Кожаный ремень, настоящий, купил у одного хохла, он у нас там кантри занимается... У вас машина на ходу? Родительский день, надо на кладбище ехать. Ты дорогу помнишь?

Вот все и прояснилось. Ей даже полегчало. Если б Вадюша хотел от нее чего-то как от сестры, добрых слов, участия, она бы не смогла — расплакалась бы или прогнала его холодно. Кроме Аленки, у нее ни на кого не хватало сил.

А бесплатный водитель — это другое. Это ничего.

Она поставила чай, нарезала суховатый, крошащийся кулич. Глазурь скрипела на зубах, как штукатурка.

Соне не хотелось выходить из теплого пыльного кокона квартиры, но Вадюши было слишком много, надо было эвакуировать его в большой мир.

— ...И я летел с таким мужиком, вот еще шире меня, прямо из кресла вываливается! И он мне говорит...

Она переделась из домашнего, взяла ключи. Попыталась вспомнить дорогу на кладбище. Ведь ездила один раз с мамой, хотя к могиле не пошла, ждала в машине. Хорошо, кладбище понятно какое. Только вот где дядино место?

Она надеялась, что разберутся там, и заранее уже боялась, что только потеряет целый день, ничего они не найдут. Значит, такая судьба.

По навигатору дорога выходила длиннее, чем ей помнилось. Люди спешили вырваться из города, из тесного бетонного кольца, и увязали в пробке, медленно тащились по шоссе среди сосняка и одиноких остановок. Небо затянуло серыми тучами; начал накрапывать теплый мелкий дождик — такой мелкий, что даже пыль прибить не мог.

Вадюша весь извертелся — то и дело заставлял Соню съезжать на обочину и убегал в кусты («пью ерунду эту, Сонька, от давления, мочегонную»), и дорога становилась еще дольше, еще утомительней. Соня чувствовала, что не выдержит, сейчас повернет назад, потому что это издевательство какое-то... Но выдерживала.

За развязкой они вырвались было на свободу, набрали скорость, стало легче дышать, однако у придорожной шашлычной Вадюша опять потребовал остановить. На бордюре тоскливо ссутулившийся дед в кепке продавал барахло: лохматого резинового пупса; ядовито-оранжевые домашние тапки, связанные между собой, как таранка; какие-то значки; книжку «Настройка орбитальных спутниковых сигналов для домашнего

телевизора» и бюст Ленина. Здоровенный бронзовый бюст с блестящей лысиной, будто наглаженной любовно целыми поколениями.

Вадюша начал с погоды и значков, поспрашивал о монетах, а потом сцепился с дедом за вождя. Меньше, чем за тысячу, тот отдавать не хотел, а Вадюша, размахивая руками, пытался ему растолковать, что это грабеж.

— Да я всю жизнь голодаю, я ребенок войны! — выкинул старик главный козырь, когда понял, что дело движется к пяти сотням.

— Недоношенный? — цинично процитировал Вадюша молодежную песню, деду, конечно, неизвестную. — Да ты меня тоже пойми. Мне тут некогда с тобой, мы на кладбище опаздываем!

— На кладбище — всегда успеете, — не остался в долгу «ребенок войны», но в конце концов уступил Ильича за пятьсот.

Соня все это время стояла на крыльце шашлычной и пила приторный кофе из автомата. И думала, что же постоянно делает не так, почему замечают ее, как только что-то нужно. Ладно бы только Вадюша, ведь и остальные туда же. Сделай то, съезди туда. И отказать нельзя, и тошнит. Сначала кажется, что ничего, а потом поднимается откуда-то из самой глубины тошнота и одиночество.

Зачем вообще ездить на кладбище? Что толку от этих могил? Ни увидеться, ни поговорить. Ну приедут они туда, выдернут пару сорняков, оставят бомжам крашенные яйца и конфеты. И что? Кому от этого будет лучше? Дяде, что ли? Или Соне? Или Вадюше?

Вадюше-то это зачем?

Подумала и тут же отругала себя. Вадюша — сын. Конечно, он любит отца, вот и приехал. Пока отец в больнице мучился — не приезжал, когда надо было инвалидность выбивать — не приезжал, но, конечно, любит ведь... И памятник на его деньги поставили, хороший.

Кому только нужна такая любовь?

Она не знала, как дядя относился к Вадюше. Они об этом никогда не говорили, и вообще дядина жизнь была для нее потемки. Он просто был, со своими папиросами и рассказами про телевизшку. А потом его не стало, но, даже будь он жив, Соня давно выросла и не могла представить, о чем бы она с ним говорила. Слишком выросла для его волшебной страны.

Не на Игоря же жаловаться? Про Игоря она с родней не говорила: пронизывал жгучий стыд непонятно за что. За то, что не смогла, за то, что знала: за спиной ее жалеют. А может, не жалеют, может, говорят, что сама виновата. Они-то Игоря любили. Вадюша вон до сих пор о нем спрашивает, хотя мог бы уже обратить внимание, что Соня в соцсети «ВКонтакте» сменила фамилию обратно на девичью.

Чтоб Вадюша — и заметил? Много захотела.

Он отбил наконец своего Ленина. Так они и ехали дальше втроем, Ильич — на заднем сиденье. Почему-то это Соню еще больше раздражало. Как идиоты с этим бюстом. А если кто-нибудь увидит?

У кладбища было не приткнуться: везде машины. Пришлось парковаться далеко от входа, а потом ковылять по песку, глотавшему каблучки, как трясина.

От красок рябило в глазах. Каждый апрель возле метро расцветали клумбы ядовито-ярких искусственных цветов; Соня никогда не видела, чтоб их кто-то покупал, но на Пасху они прорастали у могил словно сами собой. Ленты, венки... Мусор. А что делать? Совсем без цветов тоже не хорошо.

Вот что жизнью управляет на самом деле. Не добро, не «как правильно», а щемящее под ложечкой чувство: нехорошо. Разводиться — не хорошо, отказывать — нехорошо, неправильно.

Соня ковьяляла среди этого пластмассового праздника, за ней на буксире пыхтел Вадюша, пытаюсь зачем-то прогрузить спутниковую карту. Все время казалось, что уже сейчас, уже вот-вот... и каждый раз — другая фамилия, чужое лицо на мраморе.

— Портвешок надо было взять. Может, съездим за портвешком? — озабоченно спросил Вадюша.

Соня промолчала. Сам иди за своим портвешком. Ногами. Хотела сказать, но не сказала. Нехорошо.

И неожиданно вспомнила, что дядя у самой балки, под деревьями: мама говорила. Новое кладбище слилось со старым и стекло вниз по склону. Так вышло, что дядя теперь всегда смотрел на зеленые холмы и деревню в яблонево́й дымке. Ну и не страшно. Почти как дома.

Вадюша отошел к очередному черному обелиску, наклонился, подслеповато щурясь, чтобы прочитатъ имя, и вдруг тоненько, по-девчачьи вскрикнул:

— Соня! Соня! Идем сюда! Нет, не иди! Нет, иди!

Соня сделала два шага и остановилась. Между ней и Вадюшей замерла грязная рыжая псина с вислыми ушами. Она стояла, опустив голову, и глухо рычала.

— Да ухожу я! Ухожу! — обиженно, чуть ли не со слезами крикнул Вадюша. — Их тут отстреливает кто-нибудь или нет?!

Кусты рядом с собакой зашевелились, показалась маленькая желтая мордочка, пискнула и тут же скрылась. Дворняга зло, по-человечески как-то взглянула на Соню карими глазами и нырнула в заросли.

— У нее там щенки. — Соня отступила назад, на тропинку. — Пошли быстрее, а то она сейчас обратно вылезет.

— Щенки! Нормальные собаки на людей не кидаются! — Вадюша порысил следом, прихрамывая. — Она меня укусила!

— Сильно?

— Не знаю, — буркнул Вадюша и умолк, уткнувшись в телефон. — Сейчас погуглю, что делать надо.

Пока он, ругаясь на связь, тискал экран толстыми пальцами, Соня нашла дядину могилу, присела на корточки и зачем-то принялась вырывать молодую траву, стараясь не касаться комковатой земли. Ну, приехали. И что? Дядя смотрел с выгравированной на памятнике фотографии, смотрел грустно, будто жалел их. Фотографию выбрали вроде бы самую лучшую, но и на лучшей он был печальный, изможденный.

Соня попыталась вспомнить его улыбку и не смогла. Может, он никогда и не улыбался, даже рассказывая про телевышку, и про планету, куда

можно летать во сне, отделяясь от тела, и про те случаи на железной дороге... «Я так долго проводником проездил, что, когда ставлю стакан чая на стол, ложечка сама качается и звенит». Почему это запомнилось, а важное — нет? Может, рассказы — неправда? Но что тогда правда? Ведь он существовал не только на словах, он был, был! Помнит же его сын...

— Соня, — озабоченно позвал Вадюша. — Сестра, мне нужна твоя помощь! Мне нужно знать, бешеная собака была или нет, это вопрос жизни и смерти! Нам надо ее поймать и отвезти в больницу!

— С ума сошел?! — Соня рванула из земли клочок травы так, словно волосы кому-то выдидала. — Не буду я ее ловить!

— Тогда посмотри: там все нормально? Крови нет?

Она повернула голову и увидела, что Вадюша, стоя к ней задом и нагнувшись, возится с ремнем, держащим его необъятные джинсы.

— Ты посмотри! Это очень важно!

— Не буду я смотреть!

— Я тебя как человека прошу! Я умирать не хочу, понимаешь?

Соня представила их со стороны: истеричка с безумными глазами и толстый мужик без штанов. Представила — и что-то щелкнуло в голове, надломилось с сухим треском.

Она засмеялась и не могла остановиться. Ее просто тошнило смехом. Ну конечно! А как еще могло быть? Все прямо как в дядиных историях. Как в дядиной стране!

— Прости нас... — Соня, подвывая, уже складывалась пополам. — Прости нас, дядя! Дураками родились, дураками и помрем!

Вадюша посмотрел на нее обиженно и застегнул ремень, а Соня все не могла остановиться.

В конце концов силы кончились. Она села просто на землю, прислонилась к холодному памятнику, будто к твердому плечу, и долго смотрела перед собой.

Дело шло к лету, от деревни несло паленой травой, из оврага поднимался сырой травяной холодок.

— Там на горке раньше станция стояла, — сказала она, не поворачиваясь.

Вадюша помолчал и вдруг вздохнул, тяжело и шумно, как лошадь.

— Ну да. Меридиан и параллель удобно пересекались.

— Наверное, зря ее убрали.

Они снова замолчали. Вокруг было тихо, как в выключенном телевизоре. Так тихо, что, если прислушаться, можно поймать сигнал с орбиты.

Сука бессердечная

В вагоне зажгли свет, мутный и желтый, пахнувший мочой, а Маша все смотрела в иссиня-серые сумерки за окном и думала: как он это сделал? И никто его не спросил зачем... Почему люди такие равнодушные?

Маше хотелось домой. Снять мокрые, созревшие сапоги, воняющие химией, стащить колготки, прошлепать в халате и тапочках на теплую общую кухню с запотевшими стеклами, поставить чайник...

Она закрыла глаза и представила, как проезжает станцию. Машина бурчит что-то знакомое, а она делает вид, что не поняла, проспала, не услышала. И на следующее утро просто врет, что не попала. Сломались все электрички, не ходят автобусы, пошлите кого-нибудь другого.

Но зачем-то она вышла на платформу, ежась, теряя остатки тепла из складок пальто. Перебралась через пути по разбухшим доскам, прохлюпала по черной слякоти рынка. Тетки в передниках поверх дутых пуховиков сбрасывали свиные ноги обратно в короба; у ларька мужики в кожанках пили чай, жадно растягивая зубами масляные беляши.

Глядя на них, Маша захотела есть. Захотелось теплого, золотистого, домашнего. Купить домой пирожков, забраться под колючий плед и читать Дюма. Соседка, съезжая, оставила целое собрание сочинений, чуть не выкинула. С книгами и комната стала поживее — в самом деле дом.

Читать и ни о чем не думать. Мало она думает на работе? Мало ей на работе всего этого? А теперь еще и после. А она устала. Устала! И никого не волнует, каково ей. Дедовщина какая-то: ты самая молодая, ты и езжай. Дома все равно никто не ждет.

А они, толстые, переваливаясь, тащат сумки домой, к усатым пропитым мужьям, к детям в трусах и майках. И не думают, как он смог так далеко заехать и никто его ни разу не спросил. А может, он просто врал в ответ что-нибудь? Конечно, врал. А может, и правда, всем все равно? Мама говорит, что сейчас такое время. Все развалилось, всем все равно, лишь бы денег нахапать побольше.

Маша пересчитала в кармане смятые купюры и взяла все-таки сосиску, запаянную в золотое жареное тесто. Дома бы поела, зачем деньги тратить? Но иногда можно же себе позволить!

За рынком начинался тротуар в колотых бетонных плитах. На асфальте прела листва, не было вокруг ничего сухого и доброго, только мокреть, только холод, быстрые облака в сером небе, северный ветер, усталый и злой.

И ладно бы пятница, но завтра снова туда. Как же тошнит! Говорят, за полгода привыкаешь.

Тошнит, тошнит, хочется тишины. А некоторые по двадцать лет работают.

В городке нет людей, даже Ленина нет, вместо него пустой постамент и слепые следы на месте букв.

Панельные пятиэтажки гремят дверями.

Что сделать, чтобы не идти? И ведь это не в последний раз. Домой бы, выспаться как следует, заняться наконец собой, затеять уборку...

Маша осторожно присела на самый краешек мокрой лавочки и достала сосиску. Она старалась есть медленно-медленно, маленькими кусочками, пережевывая тщательно. Ветер пронизывал насквозь, все дуло и дуло, не затыкаясь, и Маша не знала, сколько еще выдержит, но решила сидеть до последнего.

Щенок прибежал с рынка.

Прибежал взрослой деловой рысью, обнюхал кусты — живой, пых-тящий. Пестренький. Учюял сосиску, заметил хвостом, посмотрел умными глазами: дай!

Лапы мягкие, чистые, новый ошейник. Потерялся или выгнали. За что выгнали? Он же ребенок. Так же и детей рожают — поиграть с лялькой и выбросить. А ляльки в блеклых ситцевых платицах, в растянутых колготках стоят потом и смотрят снизу вверх, умоляя: «Маша, ты домой? Маша, а ты меня заберешь? Ну на день! Ну на денечек!»

Щенка она бы забрала. Только щенок будет выть днем, соседи начнут жаловаться.

Маша отдала ему половинку сосиски и встала, отряхнула пальто. Она думала, что уйдет незаметно, однако щенок, не доев, догнал ее и долго бежал рядом, пока не отстал у моста.

Ветер дул над водой не переставая, захлестывал, словно вторая река. По серой, застиранной вате быстро бежали клочья темных облаков.

Мост прогибался и гудел под Машиными шагами, отзывался; такая тоненькая Маша в осеннем пальто в елочку, в катышках, а мост все равно чувствует, что она здесь.

«А когда он один тут идет, тоже так бывает? Он же совсем не весит ничего», — подумала Маша и разолилась вдруг. Не вдруг. Это давно копилось, бессильная эта злость на них на всех. Хотелось топать, хотелось кричать: «Почему я?! Почему я?!»

«Я же устаю».

«Я же хочу домой».

«Я не могу с ними больше. Восемь часов — больше не могу!»

Она бы даже остановилась и заплакала немного, но как покажешься Севриной с зареванным лицом? Севрина все-таки тоже человек, перед ней стыдно. Севриной этого не надо. Да, может, она и не заметила бы. Может, уже залила шары. Глядеть противно — какое-то животное, а не человек. И за что он ее так любит? Смотрит на эти куски сала обвисшие, грязные, будто никого лучше нету.

Что это за проклятие такое на людях? Они нас могут ни во что не ставить, бросать, об угол бить, душить с пьяных глаз, а мы, маленькие, их обречены любить с самого первого вздоха.

Маша только в Доме поняла, как ей повезло. Всю жизнь любили, старались, а могли в бак выкинуть. Вранье все это, про то, что любовь вместе с ребенком появляется, вранье, чтобы рожали больше.

А может, Севрина его правда любила? Только так еще хуже — кому нужна такая любовь?

За рекой панельные хрущевки сгрудились среди частных домов, уткнулись окнами в квадрат двора, обшарпанные, но стойкие. Маша с прошлого раза запомнила, куда свернуть, в какую гулкую арку войти, в какой подъезд. Квартира на первом этаже, прямо. В ромбике на коричневой двери выцарапана двойка, звонок дребезжит.

Она хотела, чтобы никто не открыл. Чтобы можно было развернуться и уйти. Не знаю, не видела, не открывают. Наверное, ушли куда-нибудь. Пошлите кого-нибудь другого.

Но в квартире заширкали по полу тапки, и Севрина открыла.

— Здравствуйте.

Перманент мелкими колечками, зеленый вытертый халат на змейке, голые ноги в синих венах. И взгляд тупой, усталый, точно она вагоны разгружает, честное слово, а не пьет с утра.

Маша ненавидела эту квартиру, ненавидела запах ее и вид. Почему нельзя жить по-человечески? Чтоб не пахло прелыми тряпками и дохлятиной, не несло перегаром.

— Да вы не разувайтесь...

Линолеум скрипел от песка, в старый палас жирными мазками въелся табачный пепел. Где-то смеялся телевизор: «В греческом зале, в греческом зале!»

— А где Витя?

Севрина растерялась, соображая.

— Да тут где-то бегал. Витя! Вить!

Маша знала где. Где бы она сама была. Шкафы нараспашку — значит, под кроватью. Она прошла через зал в маленькую, как комод, комнату за облезлой белой дверью. Там, кроме разобранной тахты и ковра на стене, ничего больше и не помещалось. Обои в зеленых и красных фломастерных черточках. На полу порванный «Том Сойер», половины страниц нет, детальки какого-то китайского пластмассового лего.

Севрина тяжело согнулась над тахтой:

— Вить, Витюш! Учительница твоя пришла. Сына...

Маше казалось, что она слышит дыхание — тяжелое, загнанное. Смешно: две тетki взрослые уговаривают малыша вылезти из-под кровати. Маршак какой-то. Или «Денискины рассказы».

Она опустила на колени, заглянула под тахту. Вот он, лежит лицом вниз, уткнувшись в сложенные ладошки. Не вижу, не слышу, ничего никому не скажу. Будто спит или умер.

— Витя, это я. Пойдем, Витюша. А мама в воскресенье придет.

Она говорила сладким-сладким голосом, и ей самой противно было. Но как с ним еще говорить? Кричать нельзя, ругаться нельзя. А что тогда делать? Силой тащить?

— Пойдем, Витя. Тебе нельзя тут жить.

Ну и дура... Лучше ничего придумать не могла.

Севрина начала всхлипывать вдруг громко, пьяно:

— Да что это? Ну забрали — так хоть следите за ним! Он же домой бежит! Мне его что, не пускать, что ли?! А ну...

Она рухнула всем весом на пол, схватилась за тощую ручку, за край полосатой футболки и потащила.

— Мам... — Голос у Витьки был тихий, слабый. — Мам, не надо... Давай придумаем... чего-нибудь придумаем, я хорошо себя вести буду...

Севрина крепко обняла его, маленького, костлявого.

— Да что ж такое? Ты зачем меня мучаешь, а? Ты зачем, а?!

Маша молчала. Она не знала, что делать. Какой ей быть. Она устала. Если б можно было, оставила бы этого Витьку с матерью и пошла домой. У них в Доме ребенка таких Витек, без родителей, без родных... А этот выживет.

— Мам...

— Ты заткнешься? Ты заткнешься?! Я тебя убью сейчас, если не заткнешься! Пошел, оделся!

Северина оттолкнула Витьку. Тот, хлюпая носом, вытащил из шкафа колготки и принялся их надевать, растягивая во все стороны. Голова белая, бритая. Говорят, вшей у него было...

Маша могла бы сделать Севериной замечание, могла бы помочь Витьке, но злость и усталость удерживали ее на месте.

«Мое дело — забрать и привезти! Что вам еще надо? Чтобы я их жалела всех? А меня кто пожалует?!»

Северина молча застегнула на Витьке куртку, натянула шапку низко, на уши.

— Иди, сыночка. А я в воскресенье приду. В воскресенье, Марья Иванна?

— Да. До свидания.

Маше и говорить не хотелось: голос пропал. Забрала — и все. Теперь в Дом, потом на электричке в город, потом автобусом, если еще будет ходить. А если не ходит, что ж, придется пешком. А утром опять...

Устала. Как же устала!

— До свидания. — Северина шагнула за порог проводить их и, прежде чем Маша вышла из подъезда, крикнула вдруг истошно, зло: — Сука ты! Сука бессердечная! Витьку моего, суки, забрали!

Маша вздрогнула, но не обернулась. Витька — тоже. Они оба молчали.

На обратном пути мост все так же гремел и прогибался под ногами.

«Сука... В доме прибрать не может, а я — сука!» Маша прикусила губу. Знала, что надо что-то сказать, да что скажешь, когда от обиды плакать хочется?

— Витя, ты зачем убегаешь? Ты видишь, как мама плачет? Ты хочешь, чтоб она плакала? Ты зачем ее расстраиваешь, а?

Витька только вздохнул. Тихо, едва слышно. Она взяла его за руку, схватила крепко, хотя он не давался, сжала почти до боли и почувствовала себя чуточку легче.

— Не будешь больше убежать? Не будешь?

Витька скривил тощее личико и кивнул. Но не заплакал. И руку не выдернул. Она висела в Машиной руке, вялая, как варежка.

— Не убегай, а то маму в тюрьму посадят.

От этой лжи тоже полегчало. Пусть верит и боится — так всем лучше будет.

Маша подумала, что хорошо бы тот щенок так и бегал у рынка. Дети же любят животных.

Но щенка больше не было.

Анжела БЕЦКО

ДОМ НА ПРОПАЖУ

Дурочка

Дурочка живет.
Виктор Кривулин

А дурочка по-прежнему живет:
плетет венки. Цветами засорила
углы и стены крохотной каморки.
И августовским палевым жнивьем
плетется в ад — к живым и в небо — к мертвым,
летит в прогал — кончаются перила:
в корзине — яблоки и в банке — мед.

А дурочка по-прежнему. Плавник
Господней рыбы пилит терпеливо
и ждет-пождет внезапного прилива,
серебряного, точно по часам.
Как будто Бог возьмет ее в ладони
(Сам — невесом, а спустит небеса)
и будет с нею. В дурочкином доме.

И станет ей понятен тот язык,
которым говорят цветы и вещи.
И спустятся святые. Будет вещим
тот дивный сон, что никому нигде...
как дурочка с Иисусом — по воде.

снег наоборот

шел снег и вечером, и днем.
шел ты и женщина чужая.
шел снег, едва соображая,
что хорошо идти вдвоем.

и это знает каждый школьник:
«три» образует треугольник.

а снег не знал. он просто шел
на красный, желтый и зеленый,
по зебре, клумбам и газонам,
рождая рой пушистых пчел:
когда зима еще в начале,
нет места мартовской печали.

снег плыл — и вы за ним — шаг в шаг, —
доверчивые, тихо плыли —
и все пространство украшал,
из мягкой серебристой пыли
лепил пейзаж. но так непрочно,
как лепят из папье-маше:
не надо снегу о душе,
зато муляж выходит точный.

и вдруг споткнулся, вверх шагнул —
внутри забилось что-то птичье —
свалился, встал и отряхнулся,
потом чему-то усмехнулся
и в небо темное рванул,
забыв про возраст и приличья,
смешно и глупо, невпопад!
с земли потоком в небо хлынул!
такой зимы не знали зимы,
такому снегу каждый рад:
проспект, бульвар и сонный дворик,
а больше всех — бессонный дворник...

в окошко девочка глядела,
как снег летел, летел, летел
и выпасть в небе так хотел,
что темнота вокруг редела
и отступала к фонарям —
к танцующим и мутным пятнам.
и очевидным и понятным
все было в мире.
и не зря...

и снег летел, как человек
влюбленный, выпорхнув из тела,
и ты летел, как этот снег,
и рядом женщина летела.

что дом
никак... всё всё что кроме
с трудом
трюмо
три венских стула
сидел
весь Ярославль и Тула
седел
почтенный книжный шкаф
старик
отдался за бесценок
без книг
и оголил простенок
ушел
буфет с посудой домик
для пчел
и только дом никак

пустые
черные поля
худые
палки-тополя
кому — родство
кому — уродство

а дом совсем не продается
как Родина
и как земля



Наталья КОРОТКОВА

ПИСЬМО В ГОЛОВНОЙ ОФИС

Р а с с к а з

Егору не спалось. Лежа на диване, он щелкал пультом от телевизора, перескакивая с канала на канал. Задержался на новостях.

— Украинская армия открыла огонь по территории донецкого аэропорта... Горловку обстреливают из реактивных систем залпового огня... Работают минометы и самоходные артиллерийские установки... Среди мирного населения по меньшей мере пять погибших...

На экране мелькали кадры военных действий. В какой-то момент камера выхватила крупным планом нечто бесформенное, искромсанное, жуткое — то, что еще совсем недавно было живым человеком.

— ...международные санкции. Европейский союз призывает Россию... — продолжал вещать диктор.

— С-суки!

Егор выключил телевизор, отбросил пульт в сторону и, резко встав, вышел во двор. Он присел на крыльцо. Закурил. Дачный поселок безмятежно спал. Лишь со стороны железнодорожной станции изредка, нарушая полночную тишину, доносились гудки тепловозов, вагонный лязг и дробный перестук колес. Егор немного успокоился.

Весь этот ужас, творившийся в последнее время на Украине, он переживал страшно. У него, человека, родившегося и выросшего в Советском Союзе, в голове не укладывалось, что такое возможно.

«Да как так-то?! — просматривая очередной выпуск новостей, восклицал он, обращаясь к жене. — Ведь в одной стране росли! Ну ладно малолетки: им мозги двадцать лет промывали, пока мы дипломатию разводили. А эти-то?! — тыкал он в холеные рожки военных и чиновников на экране. — Они же ровесники наши. В одной армии со мной служили! Пионерами были когда-то, тимуровцами, блин! Ездили в Артек. “Взвейтесь кострами” пели. Как так-то?!»

Со многими своими знакомыми из Незалежной Егор разругался. Да и здесь, среди земляков, не все понимали, чего он так сердце рвет. Кто-то сочувствовал людям, в такой замес попавшим, а кто-то и отмахивался:



своих, мол, проблем хватает. О других еще переживать! Потихоньку от жены Егор перечислял деньги через Интернет на разные счета поддержки ополченцев. Вместе с дружкой армейским Николаем (тот в Обществе ветеранов боевых действий состоял) гуманитарку собирали, лекарства, бинты — все, что там пригодиться могло. Николай с ребятами потом через границу, окольными путями переправляли груз на Донбасс. Он после армии остался на сверхсрочную, в горячих точках побывал, так что связи сохранились, друзья. Пригодилось теперь.

Егор чем мог помогал Николаю: лекарствами, расходкой медицинской. Отгружал ему со склада фирмы с минимальной наценкой. Все дешевле, чем в аптеке. В прошлый раз долго искали армейские кровоостанавливающие жгуты-закрутки. Вещь в боевых условиях крайне необходимая! Если, не дай бог, кому руку оторвет — одной-то с обычным жгутом не управиться.

Егор — крепкий, пятидесяти без малого лет мужик. Умный, цепкий, хозяйственный. Последние несколько лет работал в солидной иностранной фармацевтической компании — директором филиала. Большая удача по нынешним временам. В городишке их заштатном с работой не ахти. А о такой зарплате, как у него, только мечтать. Да соцпакет еще. Плюс пару раз в году поездки за границу — на слеты, семинары — за счет фирмы.

За это время он собрал толковую команду. Дело организовал так, что все работало как часы. Долю свою на рынке держали крепко. Конкурентов сильных давно вытеснили. Осталась так... мелочовка разная. Надо же и другим жить давать. Словом, филиал был на хорошем счету. Начальство опять же над душой не висит: головной офис в Москве.

А у Егора свой собственный «офис» — на даче. Нет, было, конечно, и в городе помещение. Там у него бухгалтер да офис-менеджер на хозяйстве сидели. Заезжал он туда только планерку провести. Соберет торгпредов утром, взбодрит как следует — и «в поля», то бишь по аптекам да по больницам отправит, план продаж выполнять. Сам тем временем на дачу. Вечером опять людей соберет, выслушает отчеты, кому надо — выволочку устроит, кого надо — похвалит.

Так бы оно все и шло, да недавно руководство в московском офисе поменялось. Новая метла — она известно чего... Новоиспеченный начальник ему сразу не приглянулся: резкий, несдержанный, в выражениях не стесняется. Виду Егор, разумеется, не подавал, когда тот со своими помощниками навещался с инспекциями. Да и повода для недовольства у начальства вроде не было: в делах филиала полный порядок. Гостей московских принимал в дачном «офисе». Как положено. Чин чинарем. Потчевал настойками да наливками собственного изготовления, баньку топил. С директором даже на «ты» перешли. Тот, оценивающе оглядывая угоды Егора, подвал с винными бочками, добротный дом, снисходительно посмеивался и называл его в шутку куркулем.

В общем, столичное начальство всякий раз оставалось довольным. Казалось бы, живи да радуйся... Но Егора с души воротило от всех этих

дел холуйских. А тут еще слух прошел: вроде как аттестацию будут проводить для топов, тестирование какое-то. «Пацан я им, что ли?» — скрипел зубами Егор. И ведь не уйдешь. Где еще такую работу найти? Ни дать ни взять — золотая клетка. Одно радовало — что далеко отцы-командиры.

Однако год от года все больше скребло у Егора на сердце. Все чаще спрашивал себя: а зачем? Зачем ему это все? На что жизнь уходит? На «купи-продай»? Дела хотелось. Настоящего! Эх, хорошо бы свое что-нибудь замутить — ни от кого не зависеть. А что? Жилка предпринимательская у него есть. Он за свою жизнь и торговым агентом поработал, и ипэшником довелось побывать, и региональный филиал опять же открывал с нуля.

Увидел он как-то сюжет по ящику про мужика одного: тот открыл осетровую ферму. В гараже! Через год окупилась. Егор загорелся тогда. А что мешает? Поначалу, конечно, вложиться надо: оборудование, малька запустить... Загореться-то загорелся, да боязно соскакивать с наезженной колеи. Ведь увольняться придется. Совместать не получится. С мальками этими, как с детьми малыми, ни днем ни ночью покоя не будет. А не дай бог, свет отключат зимой? Сибирь все-таки. Без обогрева рыба враз передохнет. Да и денег сейчас свободных нет: полгода назад купил дочери квартиру. А тут людей на работу брать: хоть одного сторожа, а надо. Короче, с какого боку ни зайди, накладно выходит. Нет, не ко времени. Может, потом когда...

Так что душу Егор по-прежнему отводил на рыбалке да на даче.

Дача ему досталась от отца. Мать у Егора умерла давно, а отца в прошлом году схоронил. И остался он один. Ну как один? По паспорту — человек семейный: и жена, и дочь имеются. Да уж так получалось, что лишь по паспорту.

С женой у них давно не ладилось. По молодости, как поженились, так первый год с колен ее не спускал, точно маленькую нянькал. Егор — мужик только с виду суровый. А Галина — та и в молодости была не больно ласковая, а с годами все больше отдаляться стала.

И вроде на первый взгляд все хорошо. И в доме достаток. И за Егором она как за каменной стеной: за всю жизнь ни дня не работала. Да только никак не могла смириться, что живут они в своем захолустье и никуда отсюда муж уезжать не собирается. Хотя сколько раз его звали в Москву на повышение. Так нет! Уперся — и все. Родина у него здесь, понимаешь ли. Рыбалка, дача... «Да будь она проклята, эта дача! — плевалась Галина. — Всю жизнь в навозе копать?» Не о такой она жизни мечтала, когда выходила замуж за молодого да перспективного. Поначалу думала — пережмет. Перекроит на свой лад. Воспитает. Куда там! Егор каждую свободную минуту то в огород, то на речку с удочками. Какая Москва? «Лапоть деревенский!» — чуть не плакала Галина.

А в последнее время совсем беда: скандал за скандалом на ровном месте, по поводу и без. А уж если Егор к ней с лаской какой... тут жену аж передергивало!



И потому все чаще и чаще стал Егор оставаться ночевать на даче. А нынешним летом и вовсе туда перебрался. Насовсем. Жена не возражала. Егору даже показалось — обрадовалась. Приезжала по выходным — с грядок домой собрать редиски, зелени, того-сего. При этом была оживленной, разговорчивой, не то что раньше. Однако же ночевать не оставалась, уезжала на городскую квартиру. Мышей, мол, летучих боюсь, спать не могу. Те и впрямь шебуршали на чердаке так, что будь здоров. Егор молчал. Догадывался, что у жены появился кто-то. Поначалу от одной этой мысли стервенел. А затем вдруг заметил, что, когда Галина уезжает, на душе становится будто легче.

И если с отношением жены он почти смирился, то вот дочка... Изболелся сердцем, извелся. Хоть и не родной она ему была — Егор с Галиной поженились, когда Иришке едва годик исполнился, — а принял ее как родную.

Так случилось, что общих детей у них с Галиной не было. Жена не хотела. Все страдала, что денег мало. Дай бог одного ребенка поднять — куда уж больше, в наше-то время? Нищету плодить? Вот на ноги встанем, купим квартиру, машину — тогда... Время шло. Егор ждал. А потом у жены начались проблемы со здоровьем. И вспомнилось ему, как мать рассказывала, что еще в молодости нагадала ей цыганка: «Не видать тебе внуков».

Дочь подрастала. И начал Егор замечать, что сторонится она его. Стесняется, что ли? А уж когда в возраст вошла, и вовсе стала нос воротить. Разве что «деревней» не называла, как мать. Егор роду крестьянского, его всегда тянуло к земле. И городок свой невзрачный любил, от перевода в Москву отказался. Не лежала душа в сутолоке жить. Здесь-то на вольном воздухе, на природе... А речка? Рыбалка? Куда он без нее? Так и остался в родном городе.

Этого, видать, ни дочь, ни жена ему простить не смогли. Ирина после поступления в столичный институт нос в родительский дом не казала. Егор только успевал делать переводы, чтоб доча ни в чем не нуждалась. На деньги, что копил не один год, купил ей квартиру. Студия крохотная, да все лучше, чем в общежитии. Машину подержанную взял. Ну и так... по мелочи. Какая уж тут ферма осетровая?

Егор часто думал: правильно ли он поступил, что не ушел от жены? Своих детей не понянчил. А ведь он мечтал о сыне... «Ишь, спохватился! На пятом десятке!» — обрывал сам себя. Да и любил он жену. Хоть и стерва она, конечно, порядочная. Любил... Однако же, когда лучший друг, Николай, тоже бездетный, признался, что новая секретарша от него забеременела и не знает он теперь, как быть — то ли с женой оставаться, то ли к любовнице уйти, — Егор в сердцах рубанул: «Уходи! И думать нечего».

В общем, по всему получалось, что не сложилось у него с семьей, как мечталось когда-то. Не сложилось.

Егор поехал. Зябко. В последний раз затянулся, запрокинул голову: в ночном небе беспокойно металась летучие мыши.



«Порасплодилось нежити! Пора выкуривать...» Тут пальцы его обожгло. Он затушил окурок о крыльцо. Встал. Глубоко и с наслаждением вдохнул влажный, пропитанный за день горечью полыни воздух.

Вернулся в дом. Однако спать не пошел, а напрямик направился в кладовку. Там, пригнувшись, спустился в подвал — пробу снять, ну и нервишки успокоить. На даче у него был оборудован самый что ни на есть настоящий цех по производству самогона, а также наливок, виски и бурбона. Самогонщиком Егор был продвинутым и к обустройству «производства» отнесся с присущей ему основательностью. Все у него было по уму: парогенератор, котел сусловарочный, шлем вискарный и прочие приبلуды и навороты, необходимые в таком тонком деле. Но это все на кухне. А в подвале закрома: вдоль стены несколько фляг восемнадцатилитровых; бак из нержавейки — воду отстаивать; на стеллажах стеклотара разномастная — от чекушек до внушительных четвертей; в углу две небольшие обожженные дубовые бочки — это для бурбона и виски.

Бочки Егор специально заказывал и обжигал у мастеров, которых долго искал и нашел аж в соседнем городе. Перевелись мастера-то. Можно, конечно, и щепой, как другие, обожженной обойтись: накидал в бутылки — и готово дело. Щепа — она и привкус даст нужный, и цвет. Но Егор привык действовать обстоятельно. Легких путей не искал.

Для изготовления столь изысканного в наших широтах продукта, как бурбон, он засаживал кукурузой заброшенный соседский участок. На своем-то огороде каждый метр обихожен — ступить некуда. А виски готовил из ячменного солода. Три месяца — и можно пробу снимать. Ну а если потерпеть месяцев восемь — так вообще улет. А какие наливки и настойки делал — на ягоде, орешках да на травках! Ассортиментный ряд был широко представлен на подвальных полках. Здесь же, в подвале, имелся дубовый стол и кресло, тоже на заказ изготовленные, — всё для комфортной дегустации. Сидишь вот так, любишься всем этим великолепием, смакуешь изделия свои... А уж как он любил собрать застолье, попотчевать гостей! И не пьянки ради, а, как говорится, радости для. Пить ведь тоже надо с умом!

Три недели назад Егор перегнал бражку, разбавил до нужной крепости, всыпал ягоду, а сегодня как раз подошло время для дегустации наливки. Это только бестолочи сразу пробуют. Она ж, голубушка, настояться должна. Тогда она, родимая, и заиграет всеми красками, тогда и запоет...

Вернувшись на кухню, он услышал, как хлопнула калитка. Выглянул в окно.

«О! Костя, сосед...» — обрадовался Егор. Костян характер имел шептливый, заполошный. Вечно с ним приключались разные истории. Да ему все нипочем — знай похохатывает! С таким не заскучаешь.

— Здорово, сосед! А я думаю: спишь, не спишь? — улыбаясь во весь рот, грузно ввалился в дом Костян.

На кухне сразу стало тесно.

— Пробу снимаешь?

— Ты как чуял! Проходи.

Сосед держал в руках что-то длинное, объемистое, завернутое в газету.

— Так я тоже не с пустыми руками. Вот... — Костя развернул сверток. — Сам поймал, сам закоптил. Хорош?

На столе красовался огромный судак.

— Хоро-о-ош... — уважительно протянул Егор. Заядлый рыбак, он ревниво оглядел рыбину. — На что брал?

— Так, помнишь, ты блесны делал? На них и брал.

— Однако... — Егор склонился к рыбине, потянул носом: — М-м-м... Ну, проходи. Вовремя ты с закуской-то. Счас по-быстрому на стол соберу.

Начали с клюковки.

— Так, говоришь, хорошие блесны?

— Что ты!

— А я уж подумал, ты каким другим способом изловчился. Кабана такого умучал!

— Это каким таким другим?

— Ну... мало ли способов? Браконьерских, к примеру, — улыбнулся исподлобья Егор.

Сам он такие методы не жаловал, рыбачил из спортивного интереса. А про соседа знал, что тот позволяет себе.

— О! — оживился Костян. — А ты не слышал про Мишаню-то?

— Про какого, про Рыжего? Не... А чего?

— Да решили они с Андрюхой Удальцовым добыть рыбки. Злодейским, правда, способом. Провода припасли, аккумулятор — все как положено... Перед этим делом, естественно, употребили. Как следует употребили. Так что ни тятя ни мама. Ну и вот... — Костя подлил себе клюковки. — Андрюха концы в воду закинул, разряд дал — рыбешка тут же и повсплывала. А следом и он, голубчик. Осетр. Здоровущий! Всплыть-то всплыл, а живой! Видать, его только контузило слегка. Мишаня на радостях за ним в воду. Обхватил руками, а тот бьется! Не удержать. Миха на него тогда верхом сел, между ног зажал. А он же колючий, зараза! Впился ему шипами своими в голые ляжки. Мишаня и закричи Андрюхе: поддай, поддай, дескать, чтобы добить, значит...

— Ну-ну!

— Ну, тот и поддал. Оба и всплыли.

— Твою ж дивизию... — замер со стаканом в руке Егор. — На-смерть?!

— Да нет, слава богу. Аккумулятор у них слабенький был. А Мишаня-то — лось здоровый. Ему, чтоб загнуться, знаешь сколько надо? В больничке счас: сердце все ж таки прихватило слегка. Да Андрюха и сам чуть кони со страху не двинул! Думал, каюк Мишане.

— Вот клоуны, — хмыкнул Егор. — А все почему? Потому что пить надо меньше.

Он подлил клюковки.

— Эт точно! — поднял стакан Костя. — За здоровый образ жизни! Мужики с удовольствием выпили.

— Плохая у тебя клюковка, сосед!

— Ты охренел, что ли? — изумился Егор. — Выжрал бутылку — и плохая она ему!

— Да я к тому, что заканчивается быстро, — захохотал Костян.

— Намек понял, — тут же отошел Егор. — Я счас... У меня как раз... — И, пошатываясь, отправился в закрома.

— А ты, сосед, смотрю, вроде как не в духе сегодня? — подрезая огурцы, поинтересовался Костя, когда Егор вернулся с поллитровкой в руке.

— Да... Новости смотрел. Опять Донбасс показывали. Вот скажи мне, Костя: как такое может быть? Чтоб в наше время, в центре Европы — не в Африке какой! — белым днем по своему народу... по мирным... по бабам с детишками — из «градов»? Это как? А общественность наша мировая? Молчит, зараза! Не вякает даже никто. И ведь свои же по своим! «Тихий Дон» какой-то!

— И не говори! — подхватил Костян. — Ты, Егорша, знаешь, я ведь с Черниговщины. Бабка у меня там, тетки с дядьями — полдеревни родни. Так я к ним прошлым летом ездил — проведать. Это было как раз после Крыма. Ну вот... Иду я по деревне родимой, а навстречу мне Гришка Сопля. Одноклассник. Проходит мимо — морда тяткой, не здороваётся. Я ему: привет, Гришаня, не признал, что ли? А тот, прикинь, свысока так: я, говорит, с оккупантами не здороваюсь. Нет, ты слышал? Я — оккупант! Вот же гнида золотушная! Да какой же, говорю, Гришаня, я, к свиньям собачьим, оккупант?! Я здесь, в деревне этой, родился и вырос. Мы с тобой, гаденыш, за одной партой сидели. Забыл?.. Не, Егор, я тебе отвечаю, еле сдержался. Чуток головушку ему не открытил, самостийнику хренову. Слушай, их там, может, опыляют чем? А? Он ведь не один такой. Ну не может же быть, чтобы у них у всех враз ни с того ни с сего крыша потекла? Одномоментно.

— Да в том-то и беда, что не одномоментно. Давно там колобродило. Прохлопали мы это дело — вот и получили. Пока сопли жевали, у них по улицам дивизия «Галичина» маршировала. Песком трясли, недобитки! А теперь видал сколько их? И какие?! Молодые, мордатые, страшные. Такие и шкуру с тебя спустят, и в землю закопают, и живьем сожгут — не дрогнут.

— Да...

Помолчали.

— Знаешь, Егор, — помрачнел Костя, — я ведь после Одессы, ну... когда они людей сожгли в Доме профсоюзов, хотел было махнуть туда.

— Куда — туда?

— На Донбасс.

Егор с удивлением взглянул на соседа. Не ожидал от него. Весельчак, балагур, выпить не дурак — несерьезный, короче, человек. Ничего героического. И вдруг... на Донбасс.

Сам он, признаться, когда началась заваруха, тоже не раз себя спрашивал: а смог бы ты бросить все — и туда? С женой у него разладилось, дочь уехала, работа достала. И честно себе отвечал: нет. Духу не хватит. Да и не готов — чего уж душой кривить! — отказаться от болотца своего теплого. «Засосало...» — невесело усмехался Егор. А Костян-то, смотри...

— Я как по телику увидал, что там творилось... — продолжал Костя. — Как они битами добивали тех, кто из окон выпрыгивал... А потом еще в Интернете на видео наткнулся: лежат по углам — обугленные, страшные. А уроды эти, фашисты, на камеру снимают и глумятся: колорады, мол. Бабу, телефонными проводами задушенную, беременную, как увидел... Веришь, нет, сердце зашлось... — У Кости сорвался голос. — Сунулся к Колян, корешу твоему: помоги! Я же знаю, ты гоняешь туда.

— Ну и?..

— Отказал. Ты, говорит, когда стометровку последний раз бегал? В спортивном зале давно был? Куда тебе с пузом-то твоим? Вояка! Там, говорит, молодых да здоровых хватает. Ты ж балласт! Сиди уж...

— Надо же! — удивился Егор. — А он ничего мне не говорил.

— Да об этом разве трепятся попусту?.. Вот так, Егорша! Балласт...

— Костян с горькой усмешкой мотанул головой.

Егор не знал, что сказать товарищу. Огорошил тот его своим признанием.

— А давай, брат, споем? — предложил он.

— Давай... Давай споем, братуха. Мою любимую. Запевай...

Егор закрыл глаза и тихонько, с чувством запел:

Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется...

Костя подхватил:

Там сердце девичье забьется
С восторгом чувств — не для меня...

Мужики пели проникновенно, обнявшись, покачиваясь из стороны в сторону.

А для меня кусок свинца,
Он в тело белое вопьется,
И слезы горькие прольются —
Такая жизнь, брат, ждет меня.

Допев песню, они минуту-другую сидели молча. Наконец Костян встряхнулся:

— Что-то ты того... Совсем, смотрю, загрустил. — Он пододвинул Егору стакан.

— И не говори...

После очередной порции зашел — это уж как водится — разговор про женщин.

— Вот ты скажи мне: чего этим бабам надо? Ведь все ж есть: дом — полная чаша, машина, мужик не из последних вроде... — искренне недоумевал Егор.

— Забей, — махнул рукой Костя. — Нам их сроду не понять. Моя вон тоже квартиру взялась делить.

Егор знал, что Костя полгода как развелся. И Анжелку его знал: в одной школе когда-то учились. Стервоза та еще! Но краси-и-ивая... Через это, видать, Костян ее и терпел столько лет. Развестись-то они развелись, а жить продолжали в одной квартире. Как соседи в коммуналке. И ругань как в коммуналке. То посуду делают, то очередь в ванную устанавливают.

— Продаете, что ли? Так у вас же двушка в хрущевке. Чего вы с нее себе выгадаете?

— Зачем продавать? — Костя подцепил вилкой квашеной капусты. — Так поделили.

— Это как это — так?

— Да вот так! Посидели мы тут с мужиками после работы. Душевно посидели. Я домой уж под утро притащился чуть живой. Ну и отрубился сразу. До вечера продрых. А крысильда моя тем временем позвала с соседней стройки гастарбайтеров — те мне дверной проем кирпичами-то и заложили. Я теперь как этот... как его... Узник совести. Во!

— Это как это — заложили? — опешил Егор. — А из дома как выбираешься?

— Да через окно! — хохотнул Костян. — Этаж-то первый!

Егор представил себе, как тот корячится, выползая на свет божий из окна. Е-мое! Этаж хоть и первый, но до земли метра два будет.

— А мне чего? Она измором думает меня взять. Думает, я сдамся, уйду из дома на радость ей... Чтоб она нового мужика привела? Ага, щас! А шишок под носок не желаете, нет? — Костян скрутил внушительный кукиш. — Ничего-ничего... Питаюсь я в столовке заводской, так что кухня мне без надобности. А чтоб выбираться удобней было, лесенку замастырил.

— А в туалет? Умыться, постирать?

— По нужде — на стройку к мужикам. А так — к Михальчу, соседу. А че ему, старому хрену? Все равно целыми днями дома сидит. Я и лестницу у него храню. А ему, на нас с Анжелкой гляючи, какое-никакое развлечение на старости лет.

— Капец... — Егор покачал головой.

Он, конечно, Анжелку знал как облупленную. Но это даже для нее чересчур. В очередной раз подивившись бабьему сволочизму, Егор налил «узнику совести». Его, надо сказать, искренне восхищало, что Костя при всей крайности своего положения бодрости духа не терял и относился ко всем передрягам на удивление легко. Еще и посмеивался над собой.

— А дачу тоже делить будете?



— Дача — это святое! — вскинулся Костян. — За дачу я знаешь... За дачу я ей такую козью рожу устрою! — Он угрожающе потряс пучком зеленого лука над головой. — Она же мне от родителей досталась. Я же в нее всю душу...

— Так и перебирался бы совсем.

— Не могу. — Костя с досадой покачал головой. — Не могу я ей, брат, такого удовольствия доставить. Ты не думай — я так просто не капитулирую. Не на того напала! Да и...

Он замолчал, пожевал стрелку лука и вдруг тоскливо — так тоскливо! — посмотрел на Егора исподлобья. Как пес побитый.

— Люблю я ее... заразу.

Егор опустил глаза.

— Давай, Костян, я тебя «свойской» угощу. Эксклюзив!

Он похлопал гостя по плечу и неверной походкой снова направился в кладовку.

...Разошлись далеко за полночь. Как добрался до постели, уже не помнил. Всю ночь Егору снилась Анжелка, которая заколачивала ставни дома, тяжело ухая молотком. Да так громко, словно она орудовала не снаружи, а по самому его темечку шаршила.

Проснулся Егор от пиликания почты. За окном было еще темно. Он встал с кровати, пошатываясь, подошел к столу, долго целился мышкой по входящему письму... Щелкнул.

«Уважаемые сотрудники компании Beauty and health!

Руководство компании во главе с президентом сэром Даниелем Уилсоном обращается к вам с призывом помочь голодающим детям Сомали. Как вы все знаете, в результате сильнейшей засухи и непрекращающегося военного конфликта, приведшего к гибели тысяч сомалийцев... Призываем оказать посильную помощь сомалийским беженцам... В трудные минуты...»

— Вот твари! Детей Сомали они, значит, пожалели!

Егор сел за клавиатуру и, с трудом попадая по кнопкам, напечатал:

«Президенту компании... От всей души сочувствуя голодающим детям Сомали, хочу спросить. А не желаете ли вы, ни разу не уважаемый мною сэр, помочь детям Донбасса? Тем, что по подвалам сидят, а ваши обкуренные друзья долбят по ним из “градов”. Что же вы, мать вашу, гуманитарную помощь не собираете? Воззвания не пишете? Или донецким детишкам голодать не возбраняется?»

Он нажал «отправить», дошел до кровати и рухнул на постель.

Утром Егор услышал сквозь сон настойчивое дребезжание. На этот раз его разбудил телефонный звонок.

— Ты чего же это творишь? А? — раздалось в трубке.

Звонил московский шеф.

— А что такое? — удивился Егор.

— Ты там совсем допился?! — заорал шеф.

Егор отставил трубку от уха, поморщился:

— Да что случилось-то? Толком объясни!

— Я тебе объясню, хрен моржовый, я тебе объясню... Ты письмо Даниэлычу отправлял?

— Какое письмо?

Егор в недоумении потер виски. Последнее, что он помнил из вчерашнего, это то, как закрывал за Костяном калитку.

— В поддержку детей Донбасса! Миротворец хренов! Ты хоть представляешь, придурок, что я тут по твоей милости выслушал? Думаешь, я за тебя впрягаться буду?

Егор слушал, и недоумение его сменялось на легкую панику. Клюковка, конечно, вещь забористая, но не до такой же степени! Не может же он совсем ничего не помнить?

— Это же общая рассылка была! Твой меморандум все филиалы читают. Идиот!

— Да ты что, Иваныч? Ты, может, не понял чего? Может, это ошибка? Спам какой?

— Какой, на хрен, спам? Ты до сих пор не очухался, что ли? Да я тебя, гада, уволю без выходного пособия! Ты у меня в своем захоlustье работу вовек не найдешь! Лапоть ты деревенский!

А вот это уже был перебор.

— Да пошел ты... — И Егор загнул такой крендель с вывертом, что сам обалдел.

Шеф на какое-то время замолчал. А затем зло прошипел:

— Пиши заявление!

В трубке раздались короткие гудки.

— Да и хрен с тобой!

Егор отключил телефон.

Он зашел на кухню. Налил чаю. Размешивая сахар в стакане, Егор смотрел в раскрытое окно и сосредоточенно думал: что дальше? На душе его было муторно.

Взошло солнце. Земля источала сладкие, пряные ароматы. За забором у соседа радостно надрывался петух. Жизнь шла своим чередом.

И Егора отпустило. Так покойно ему стало, так хорошо! Он с удивлением прислушался к себе. Что-то давно забытое просыпалось в нем и волновало. Волновало до щеколки. Как когда-то в молодости. И такую он вдруг почувствовал в себе уверенность! Уверенность в том, что все еще будет. Все сложится...

Где-то там, далеко-далеко, оставалась опостылевшая работа, не любящая его жена. Все оставалось позади. Начинался новый день. Новый день — и новая жизнь.

Егор сел за компьютер и набрал в поисковике: «Осетровая ферма. Инструкция по разведению и выращиванию».

«В НАШЕМ МАРТЕ ВООРУЖЕННОМ»

Стихи поэтов Донецка

Дмитрий ТРИБУШНЫЙ

Трибушный Дмитрий родился в 1975 году в Донецке. Окончил филологический факультет Донецкого национального университета и Одесскую духовную семинарию. Священник. Публиковался в журналах «Крещатик», «Дружба народов». Автор нескольких книг стихотворений.

* * *

Нет откровений — есть слова.
А нам всего-то и осталось:
Небес печальных синева
И беспробудная усталость.
Поэт найдет — пророк пропьет.
Wake up и ты еще увидишь,
Как опускается под лед
Индустриальный центр Китеж.
Товарищ, верь — у дна нет дна,
И предпоследние герои
Напишут наши имена
На бледных стенах новостроек.

* * *

Зима ушла куда не знаю
Куда не знаю и зачем
А мы так долго умираем
Как будто в смерть свою играем
И остаемся насовсем

Ты только свет Ты больше света
Да будет свет сказал Господь
И ты росла Ему ответом
И кровь пресуществлялась светом
И светом становилась плоть

И нужно быть простым и смелым
Когда остался только час

И белый день и розы в белом
 И двое снова станут целым
 И жизнь продолжится без нас

* * *

Возвращаясь навзрыд,
 Возвращаясь дотла
 В этот город худой,
 Витаминами бедный,
 Понимаешь, что жизнь
 Безвозвратно ушла.
 Слово за слово, жизнь
 Отошла незаметно.

По растрепанным улицам
 Век пробежал,
 Никого не забыл,
 Ничего не пригладил.
 И пора признаваться —
 Былого не жаль.
 И другого былого,
 Признаться, не надо.

Сергей ШАТАЛОВ

Шаталов Сергей родился в 1958 году в Донецке. Редактор литературно-художественного альманаха, режиссер. Публиковался в журналах и альманахах Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Автор трех поэтических сборников, трех книг прозы.

Из цикла «Акрополь незримый»

* * *

когда небо проступает
 в твоих глазах
 идет дождь

когда утренние облака
 выходят из берегов
 твоих зрачков
 минуя заросли света
 солнечный зайчик
 зеркального шмеля
 высвечивает твою ресницу
 на моей ладони

* * *

он зачерпывает воду
для умывания
из двух рек

одна из них
соразмерна взгляду
прощальному

* * *

вместо предела
густота крыш
солнце обозначилось
твоим дыханием
и рука задержалась
на стене

дольше обычного
значит тебе некуда идти
значит стена
принимает тебя
как некое говорение
с собой наедине
а ты слушаешь
и наконец ничего
не понимаешь...

не хочется

Иван ВОЛОСЮК

Волосюк Иван родился в 1983 году в г. Дзержинске Донецкой области. Окончил филологический факультет Донецкого национального университета. Работает журналистом. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Волга», «Новая Юность» и др.

* * *

Андрею Фамицкому

Это сон, глубокий мирный сон,
укачало в поезде — бывает,
не было пространства — был вагон.
Я внутри, меня слегка качает.

Носят чай, но подстаканник пуст,
вечность знает жажду, но другую,
и белья почти неслышный хруст
заглушает музыку любую.

Вещь такую пишешь пять минут,
а потом три дня ее вместишь.
Мы уходим к свету, там нас ждут,
но кормить в пути не обещают.

Анна РЕВЯКИНА

Ревякина Анна родилась в 1983 году в Донецке. Кандидат экономических наук, доцент кафедры Донецкого национального университета. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Нижний Новгород», «Родная Кубань». Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей России и Союза писателей ДНР.

* * *

Наши степи гуманитарные,
наши улицы вне закона.
Выходи, поиграем в Нарнию,
выходи, поиграем в зону.
Потанцуем, пройдемся под руку,
сумасшедшие — божевильные.
Нам и врозь не бывает холодно,
в рукавах у нас связь мобильная.
Март — разлапистый, разухабистый,
раздраженный и разреженный.
Мне с тобой бы бродить до старости
в нашем марте вооруженном.
Мне с тобою играть бы в крестики,
нет, не в крестики, лучше — в нолики.
Мне бы малость твоей чудесности,
мне бы крайность твоей риторики.
Наши степи никем не признаны,
наши улицы артобстреляны.
Нас дурачат из телевизора,
то мы разные, то мы целые,
то мы черные, то мы белые...

* * *

Человек — это хрупкая глина,
особенно
если этого человека зовут Полина
Григорьевна.
Моя домработница
вспоминает, как раньше
ее, красивую и волоокою,
мать возила по санаториям,
по различным водам,
а теперь она, одинокая,
моет чашечку, содой
чистит ложечку мельхиоровую.
И некому позвонить в скорую.
Сын ее Юра женился рано,
жена его, дура,
работает в бухгалтерии ресторана.
Внуки моей Полины — студент и школьница.
И никто о моей Полине не беспокоится.
Полина ко мне приходит по понедельникам и четвергам,
я иногда пишу о ней в Instagram,
иногда добавляю сверху сотенку-две,
уходя в союз, кладу их на обеденный стол.
Полина вздыхает, крестится: «Будет на корвалол».
У Полины большое сердце и еще много чего болит.
Она как никто жарит картошку с луком, печет бисквит.
Полина почти не женщина и тем более не старуха,
в ней есть что-то такое особое:
не то сила воли, не то жажда жизни, не то закаленность духа.
Полина — ребенок войны, робот один-девять-три-семь,
состоит из натруженных рук и блок-схем,
из любви к ближним и их посуде из чешского магазина.
Она ее моет руками голыми, пренебрегая резиной.
Моет, как мыли мама и бабушка, по старинке, до скрипа.
Иногда какое-нибудь особенно чистое блюдце начинает звучать,
как скрипка,
в ее прекрасных, разбухших от мыльной воды ладошках.
И некому, всегда некому позвонить в неотложку.
И моя Полина, зная про это страшное «некому»,
носит слезы под сиреневатыми веками.
И слезы эти катятся по щекам и падают в результате
на тарелки, и еда в них становится солонватей.
Я ем из этих тарелок, вымытых моей Полиной,
и думаю только про то, что и тарелки глина,
и мы тоже глина,
хрупкая божья глина.

Алексей ИВИН

АНИКА-ТРУЖЕНИК

Р а с с к а з

Елене Кравчук

— Корову и теленка напои и выпусти. Да не ленись — прогони к стаду, а то опять у Стелихина огорода бросишь. Навоз вычисти, вилы за кормушкой. Объеди* из яслей растряси по полу, а свежего сена напускай сверху в дыру...

— Ладно.

— Поросятка накорми. Да смотри, чтобы не вышиб у тебя ведро-то из рук.

— Ладно.

— Овец выпусти вместе с коровой. Куриц накорми, вон в решете им налажено крупы. Да окошко им открой, а то забудешь опять — просидят весь день взаперти.

— Ладно...

— Не засыпай снова, а то прокатишь до обеда. Дров накопи, а днем маленькую печку затопи — пожарь себе хоть картошки. Сало найдешь. Из печи чугунок выстави и с паренцей, и с молоком. Большую печку закрой часа через два: май, а выстыло все, точно в феврале. Маленьку печку станешь топить — трубу-то открой и вьюшку вынь, а то напустишь полную горницу чаду.

— Ладно.

— За водой сходи не меньше шести раз. И скотине наноси полную кадку, и в бачок себе хоть пару ведер. В избе подмети. Надолго не убегай из дому, хватит тебе галавесить**. Мы к шести вернемся — чтоб к этому времени дома был. Поросятка тоже выпусти, пусть побегают...

— Да-а, а потом его не застать.

— Застанешь. Ворота пошире открой — сам забежит.

— Ладно.

* Объеди — объедки, остатки корма.

** Галавесить — увливать от дела и других к тому склонять.



— Ну, мы ушли. Вставай давай, не спи снова. Гли-ко*, солнце уже поднимается, а он все спит. Станешь дрова колоть — колун-от не в дровянике, а под лестницей.

— Ладно.

Аника Петров садится на кровати и трет глаза кулачком. Голова как чугунная от недосыпа. Может, они правы, родители: не надо до ночи носиться по деревне с друзьями табуном, тогда больше времени останется на сон. Но иногда так увлечешься, что забываешь обо всем на свете. Вчера, например, катались в поле на пустых бочках из-под бензина — кто дальше укатит. Он проехал целых сто пятьдесят метров и ни разу не свалился. В поле место гладкое — только перебирай ногами да балансируй, как акробат в цирке, — бочка сама катится и утробно гудит на трясках. Там было шесть бочек, но одна очень большая и громоздкая, наверное на двести литров, а другая еще с бензином или соляркой — на такой недалеко укатишься, ее и с места-то не сдвинешь. Так что в гонках участвовало только четыре бочки.

А может, голова трещит еще и потому, что родители сами напустили дыму, когда печь растапливали? Однако спать хочется намертво. Значит, печь дотапливать, головешки колотить, трубу закрывать придется ему. Он всегда боится закрывать печь слишком рано, чтобы самому не угореть, а если закрыть поздно, в избе выстынет и ему опять достанется.

Аника сидит на кровати и прикидывается, что надевает рубашку: на самом же деле его клонит в сон. Вот дверь за родителями закрылась, пропуская утренний холод с улицы, их сапоги загрели по лестнице, а потом головы прошли под окошками. Он сейчас испытывает облегчение, что они больше не стоят у него над душой, но сон уже вроде как стряхнуло и появилась озабоченность: вон сколько работы назадавали! И Аника вяло бредет к рукомойнику, бренчит им. Воды, конечно, нет, приходится два ковшика залить.

Родители потому так рано встают, ни свет ни заря, и будят его, что до делянки им еще ехать двадцать пять километров, а вечером столько же назад. Лесу ближе нет, весь вырубил. Не столько работают, сколько добираются. А шоферы — они разные: Юшманов перед каждым неровно уложенным бревном на лежневке** притормаживает, ямы и провалы объезжает, а Колоколец — тот гонит, как по шоссе. Рабочие в фургоне на лавках подпрыгивают до потолка, набивают шишки, матюгаются и стучат ему в кабину, чтобы не гнал. А Колоколец смеется и говорит, что лежневку клали спяну мужики из бригады Пашки Бызина, сработали «как по нивелиру», лесовозы редкий день в кювет не валятся — к нему-то, шоферу, какие претензии? «Везет будто картошку, негодяй. После такой езды синяки по всему телу», — сетует мать.

Ее сын Аника на заре жизни и уже прямо с утра чувствует себя усталым старичком и ничего не сообщает. Знает только, что надо выпол-

* Гли-ко — гляди-ка.

** Лежневка — дорога из насланных бревен.

нить задание, иначе прилетит вечером от родителей, если вернутся не в духе. Он совсем не чувствует прелести жизни, не радуется яркому солнцу, бьющему в правое окошко горницы, которое обращено на заук*, не любит игру пламени в широкой печи, уставленной горшками с супом, с картошкой, с паренцей, простоквашей, молоком. Он привычно выдвигает кринку с горячим топленным молоком, одним движением обдирает сверху и отправляет в рот жирную коричневую пенку, потом хватает длинную кочергу и, чуть раздвинув остальные горшки, усердно избивает самые толстые головни. Те пускают струи огня и сыпят искрами, зато теперь горят охотнее.

Аника садится за стол и уплетает творог со сметаной, а в чай щедро, до половины, льет горячее топленое молоко. Самовар еще не остыл после утреннего чаепития родителей, он слабо пыхтит паром из конфорки; заварочный чайник торчит у него наверху, как корона. Спать уже не так сильно хочется, но как подумаешь, что надо надевать сапоги, куртку, спускаться в хлев... Ох ты боже мой, вот еще испытание!

Он быстро обувается (сапоги без стелек, и холодок резины проникает через носки) и подхватывает ведро с пойлом, в котором бултыхаются крупные куски хлеба и мятая вареная картошка. (Пекарня в колхозе сломалась — хлеб выходил такой непропеченный, что из мякиша хоть скульптуры лепи, и его покупали только на корм скоту. Для себя каждая хозяйка исхитрялась как могла, выпекая пироги из покупной муки. Мать не далее как позавчера заняла весь обеденный стол, просеивая на нем муку через решето и замешивая большую квашню теста.) На зауке Аника первым делом растворяет ворота скотного двора и зовет корову, но та так долго не выходит, что приходится, огибая навозную кучу, пробираться на двор и чуть не силой отдирать корову от кормушки.

— Сволочь! — ругается малолетний хозяин по-мужицки. — Тебя же на пасву** выпускают, а ты вчерашнее сено жрешь. Я же еще не спускал свежего-то. Ксы*** на пасву! Ксы давай, а то теленок все твое пойло выпьет.

Большая красно-пестрая корова по кличке Красотка, как корабль, выплывает из ворот на лужайку. Не запахивая ворота, Аника гонит корову и теленка по-за огородами. Коровы еще не сбились в стадо, а каждая пасется сразу за своим огородцем. Аника, как только завидел Горынчихину черную, хорошенько настегивает свою, пустив едва ли не в галоп, и, посчитав, что втроем они теперь образуют стадо, вертается обратно, лупя хворостиной по голенищу сапога, как заправский пастух. Поле какое-то странное: трава на нем все лето короткая, как щетина, не длиннее, чем на площадке для гольфа. Ну и как на такой наедаться, как на высокие надои рассчитывать? Но деревенское стадо почему-то почти всегда паслось на этой скудости, а в лес или на речку уходило редко.

* Заук, завук — пространство между двумя соседними домами.

** Пасва — пастбище.

*** Ксы — окрик, которым погоняют скотину.



Распахнув ворота еще шире, чтобы осветить внутренность, и перевев их, Аника снова лезет во двор, за вилами. Навозные вилы такие грубые, тяжелые, ребристые на ощупь, все в засохшем дерьме, что противно в руки брать, однако он понимает, что наказания надо исполнять. Редкие коровьи ляпухи он скоренько спихивает в навозную кучу, вытаскивает все объеда из кормушки и тщательно растряхивает, но бревенчатый настил все равно остается мокрым и скользким. Окошко из огорода в апартаменты Красотки крохотное, грязное и заслонено лопухом, так что свет внутрь еле проникает. Самое неприятное в этой работе даже не навоз убирать, а потом в заляпанных сапогах в избу вернуться: хорошей лужи поблизости нет, а об травку сапоги очищаются плохо.

Аника не закрывает ворота, понимая, что еще кормить поросенка и кур, еще заниматься овцами и хорошее освещение потребуется. Он поднимается по боковой лесенке на сеновал. Сколько себя помнит, эту дыру, в которую спускают сено корове, он никогда не мог сразу отыскать — так она была скрыта и завалена грудями сухой травы. Коров уже давно пасли, а сена оставалось еще о-го-го сколько — половина сарая. И куда его беречь, если скоро опять сенокос? Проплутав пару минут в лабиринте сеновала и плохо ориентируясь на местности, Аника сам едва не проваливается в эту дыру, пока натеребил и свалил вниз несколько охапок.

— Хоть всю ночь сопи, — изрек он и через верхний мост (избы на Севере часто как бы полуторазэтажные, чтобы хоть жилые помещения не соприкасались с промерзлой землей) вернулся в избу.

«Сопи» означало — ешь, трескай, улетай с жадностью, а вовсе не дыши с присвистом. Аника и в школьной тетради подчас лепил диалектные слова, которые учительница непременно подчеркивала, как образчик невежества. Мать целиком изъяснялась на диалекте; отец, окончив целых семь классов, употреблял их реже.

У поросенка Борьки и овец за загородкой был отдельный хлев с плотной и крепкой дверью, идти туда следовало как раз через коровьи апартаменты. Зимой Аника всякий раз боялся, что Красотка того и гляди подденет его на рога. Поросенок, когда Аника еще только выгонял корову, уже визжал и бесновался у себя в хлеву, а с ним и овцы — видать, сильно проголодались. Аника садится на табуретку на кухне и придвигает ведро. Для этого обжоры приходилось еще и готовить поило, если родители с утра не успевали: резать турнепс, крошить хлеб, картошку и вливать бутылку простокваши. Нет, сметану с нее, конечно, снимали и простоквашу, которая сейчас загорала в печи, перерабатывали в творог — но два-три литра молочных продуктов этому нетерпеливому, беспокойному обороту всегда уходило. Аника режет сизо-зеленый турнепс непомерными ломтями, мнет картошку, вливает в ведро простоквашу и воду и, запуская голую детскую руку по локоть, перемешивает поило. Борьке и гулять-то, бедному, не дают, чтобы жир набирал, однако сегодня эту сволочь вместе с овцами придется выпускать на волю. Хрюкало вечно голодное!

Аника надевает холщовую рукавицу на правую руку, чтобы ведерная дужка не слишком резала ладонь, и, скривившись, как хромая скотница



Лизка, с полным ведром снова спускается на скотный двор. Поросенок за дверью беспокойно хрюкает. Главное, не дать ему, гаду, выскочить из хлева и сбить тебя с ног. Окошко в хлеву побольше, чем у коровы, но свету тоже хватает на то лишь, чтобы корыто различить и мимо него не вылить. Борька визжит, как бензопила, и со всего маху ударяет Анику рылом в бедро.

— Борька! Борька, стервец, я же пролью! Куда ты, сволочь, корыто запихал?

Корыто оказалось под самой овечьей загородкой и кверху дном. Все это время поросенок норовил выбить ведро из рук, пока Аника, разозлясь, не засветил ему пенделя в бок. Благодаря этому маневру удалось правильно поставить корыто и вылить в него поило.

— Сопи, гад! Через пять минут приду — выпущу тебя и подружек твоих.

Аника плотно закрывает хлев и по лесенке возвращается домой. Поросенок так чавкает и дергается, что аж на верхнем мосту слышать. Из-за него овцы тоже беспокойны.

В печи уже почти прогорело; картошка сварилась, паренца упрела, простокваша свернулась, суп готов. С ухватом Аника управляется ловко, выставляя ближе к устью печи все чугушки, кроме паренцы. Паренца — это пареные морковь и репа; в их готовности он не уверен, а непроваренные овощи потом не истолчешь. Сладкую репу с подсолнечным маслом, зеленым луком и солью Аника обожает, но морковь довольно противная на вкус, особенно если долго прела и набухла водой. В деревенской лавке ровно ничего нет, даже селедки и масла, а то стали бы они так скудно питаться, когда двое в семье работают. Хорошо, что Красотка — удайная корова и сало еще есть с прошлого года, а то бы труба.

В доме еще один «изживленец» кроме Аники — спокойный и молчаливый кот Васька. Сейчас этот нахлебник лежит, свернувшись клубком на родительской кровати, на темно-синем в узорах покрывале, и спит. Хлопот с ним меньше, чем с другими животными. Налешь черепеню* молока и добавишь из супа косточку с остатками мяса, он спокойно поест и тотчас сядет на порог у двери — просится гулять. И на весь день. Сказывали, что его видели даже на другом конце деревни, а она не маленькая — шестьдесят дворов. Васька — редкостный молчун и на ласку тоже неотзывчив.

Наведя порядок в печи, Аника снова отправляется на двор и на этот раз дверь в хлев распахивает настежь. Борька уже все съел, хотя много и вырыл за борт. Вид у него озорной и отважный, живет он с энтузиазмом, но сейчас не понимает, зачем ему отворили дверь. Глаза у него чуть ли не голубые, ресницы редкие и белесые, а рыло блестит. Аникин дружок Валерка называет свиней «чудь белоглазая, финно-угорское племя» — начитался учебника по истории. Борька и правда немного смахивает на финна — такой же белобрысый.

* Черепеня — глиняная миска.



— Насопся? А теперь вали отсюда, гад! На деревню убежишь — все равно найду и назад приведу.

Поросенок, не дожидаясь тумака, прыгает через высокий порожек и мимо навозной кучи стремглав вылетает в проем ворот на лужайку. Доволен донельзя и, кажется, пряником чешет в лес, который от избы в тридцати шагах.

— И вы тоже валите, пока не наподдавал, — говорит Аника, открывая жердяную загородку к овцам.

Овец пять штук, они существа пугливые и упрашивать себя не заставили — гурьбой ломанулись мимо хозяина, но побежали не за поросенком, а сразу налево на заук и оттуда на деревенскую улицу. Станут опять грызть недостроенный сруб возле Елькиной избы.

У Аники «чувство глубокого удовлетворения», как часто говорят по радио: все родительские задания он выполнил, домашние уроки сделал. Можно и отдохнуть, да тут вспоминает про кур. С ними-то вроде проще всего, а ведь они сидят взаперти до сих пор. Вдоль скотного двора птичнику отведено узкое пространство меж внешней стеной и хлевом, где сидит Борька. Там им оборудован насест, кормушки и жердочки, однако места мало, а зимой такие бывают холода, что можно поморозить гребень. Если сильно холодно, закуток курам отводят прямо в избе, в прихожей под лавками. Насыпешь им туда пшенки — только стукоток стоит, так клюют.

— Опять про вас забыл.

Аника отодвигает ставню в куриной избушке, и первым из окошка показывается большой медно-красный петух. Едва пролезает — такой толстый. Он немедленно спрыгивает наземь и начинает охорашиваться. Обычно он еще и кукарекает после этой процедуры, но сегодня отчего-то молчит. Следом за ним в строгой очередности через окошко выходят куры, и Аника их считает.

— Одиннадцать! Все правильно. Сейчас решето принесу с крупой, не расходитесь.

Он возвращается в дом уже по домашней лестнице, которая ведет на верхний мост. Он спешит, он суетится, потому что осточертело, потому что он еще маленький, чтобы его так заваливать работой, потому что еще дрова колоть и за водой идти. Но куры свою порцию еды получают: Аника высыпает всю пшенку из решета ровной желтой струйкой в старый желоб, приспособленный под кормушку курам. Те выстраиваются, как солдаты в казарменной столовой, и начинается дробный перестук.

Аника снова в избе, идет в горницу и, встав на стул, включает радио на полную мощь. «Беднейшие слои населения Соединенных Штатов Америки единым фронтом вышли на протесты против грабительской внутренней политики капитализма. Нескончаемый поток демонстрантов льется по Манхэттену и Брайтон-Бич. Намечены демонстрации и в английской столице в Гайд-парке...»

Кот Васька на кровати открывает сперва один глаз, затем второй. Его грубо потревожили неуместным шумом из «радева», но он уже выспался и, пожалуй, готов перекусить. Похоже, младший хозяин совсем ошалел, потому что время еще детское и можно бы еще поспать. Вон гиря на ходиках еще до полу не дошла, а она доходит в одиннадцать — тогда ее надо снова поднимать.

— Что, поди, и тебе жрать охота? — осведомляется Аника у кота, слегка поглаживая его по теплой рыжей шерстке. — Сейчас мы с тобой устроим брэкфест. Знаешь, как по-английски — завтрак? Брэкфест. Они там жрут круглые сутки, включая обед и полдник.

Васька задорно потянулся и зевнул, а потом без предварительных приготовлений прыгнул на пол, избегая рук хозяина, и направился к черепене. Он всегда вел себя так, точно в избе никого больше не было. Аника последовал за ним готовить «брэкфест»: себе поварешку-другую капустного супа, а коту — косточку оттуда и вечерешнего молока с усто-ем*. Кот уже справился, что черепеня пуста, и теперь сидел на лавке, обвившись хвостом, — ждал.

— Мы беднейшие слои населения, понял? Мы сейчас тоже пойдем протестовать. Дров можно и вечером наколоть, а за водой после обеда схожу... Поросенка пойдешь со мной искать?



* Устой — сливки.

Надежда ПЕРМИНОВА

ТОНЬКИНА КУКЛА

Р а с с к а з ы

Молчальница

Радуница — христианский день поминовения усопших. На кладбище от конечной остановки городских автобусов течет людской поток. Оживленный, с цветами. За оградой, на территории вечного покоя, он рассеивается, и каждая семья, каждый человек остается со своими мыслями, со своим немым разговором с дорогими сердцу, что уже не откликнется словом...

От соседней могилы идет ко мне моя кладбищенская «соседка» — пожилая неразговорчивая женщина. В один год похоронили мы своих мужей, при встрече здороваемся, говорим ни о чем. Но сегодня она подходит ко мне и смотрит сквозь застилающие глаза слезы так, словно я ее единственный близкий человек:

— Ой, как я перед ним виновата! Как грешна!

Я пытаюсь ее успокоить. Но какая-то тяжесть давит ее, и она, опускаясь рядом со мной на скамейку, стягивает с головы платок, закрывает им лицо и рыдает. Потом, чуть успокоившись, начинает свой, быть может, самый длинный в жизни монолог:

— Реабилитацию получила. Вчера в газете напечатали. Всегда знала, что ни в чем мы не виноватые, а таилась всю жизнь. А из-за чего? Тятя с мамой больно работающие были. Жили в селе. Пятеро ребятишек. Когда старшие парни подросли, отец поднапрягся да с ними дом рядом с избой поставил. Вот это и погубило: две коровы, две лошади да дом новый. Как раскулачивание началось, к нам неработи с начальством заявились. А тятя сгоряча к ним с топором вышел, поругался, не пустил в дом... Назавтра с наганом пришли, забрали тятю и присудили ему расстрел. А нас — в теплушки да на лесоповал, в Кайские болота...

Матушка через полгода слегла и не встала больше. Похоронили. Я, самая младшая, все была возле... Хорошо, что попервоначально гоняли всех вместе, иначе бы не выжить, а так — то братья, то сестры помогут. Но потом и нас всех раскидали.

Лет пять прошло, у меня что-то в легких нарушилось. Вот сейчас-то я думаю: просто пожалели меня. Фельдшерница и секретарь сельсовета

на выселках, где я оказалась, хорошо ко мне относились. Я приветливая была. Они говорят мне: «Поезжай в город к врачам, на консультацию». А секретарь бумажку мне выписывает вместо удостоверения личности и шепчет: «Постарайся работу найти да и оставайся там. А то пропадешь здесь. Только никому ни слова!»

Полежала я в больнице и вспомнила, что мамина тетка в городе жила и мы у нее бывали. Нашла ее. Приткнулась. Но на работу меня не берут. Приду — место есть, а как покажу справку, спрашивают: «Вы что, сидели?» Повернусь да уйду. Реву, назад не хочу. А кушать-то что-то надо. У тетки у самой не густо. И на случайных поденках много не заработаешь.

Потом одна добрая душа научила: скажи, паспорт потеряла, и всё! И как-то Бог помог, вырвела я — дали мне паспорт. Сразу на скорняжную фабрику устроилась ученицей. По-настоящему-то я грамоте не учена, все больше самоуком до всего доходила.

Через несколько лет Степу встретила. В общежитии вместе жили, познакомились. Он поначалу деревенский, тихонький был, потом в комсомол вступил, в партию — и на повышение пошел, до секретаря парткома в цехе. А я уже ребятишек нарожала, за них спряталась, затаилась. Никому ни гу-гу. С братьевьями да сестрами раз в два-три года крадучись повидаюсь, и все. Они, как срок кончился, разъехались в разные стороны, тоже затаились. Так молчаливками и прожили. Не дай бог, где кого из односельчан встречу — бегу опрометью: боюсь, как бы не крикнули, что кулачка.

И вот, представляешь... Муж уже болел, в госпитале лежал. Я прихожу к нему, а на соседней койке лежит мужик, пристально так на меня смотрит. Пришла домой, стала вспоминать... Точно — Ванька Козулин из нашей деревни! Мы с ним одного года.

Назавтра надо снова к Степе идти, а я боюсь. Прихожу — соседа нет: на процедурах. Муж спрашивает: «Знаешь этого мужика?» «Да нет», — говорю. «А он тебя знает! Говорит, отец у тебя кулаком был!» — «Да спутал он чего-то! Там, у нас на родине, несколько деревень под одним названием было. Проехал пять верст — и опять Починки. Ошибся он, не слушай ты его!»

Сама дождалась Ваньку в коридоре и говорю: «Ну что ты умирающего расстраиваешь?! Христом Богом молю, не говори ты ему ничего!» Послушался он меня, пожалел.

А тут, полгода назад, когда пенсию пересчитывали, в собесе одну женщину встретила. Она тоже на выселках в лесу, как и мы, жила. Мы друг друга знали, но вида никогда не показывали. И вдруг она подходит ко мне и громко говорит: «Меня реабилитировали! Не бойся теперь! Подай и ты на реабилитацию. Мы даже льготами пользоваться будем, как потерпевшие от советской власти».

Но я еще целый месяц переживала. Все передумала. Ни тятю, ни маму, ни братьев с сестрами не вернешь. Рано все померли, одна я дожила. Газету читаю — правда ведь, печатают реабилитированных. Думаю, зачем теперь это, когда уже мало кто жив?

Позвала старшего сына. Обсказала ему все, вот как тебе. А он мне сразу: «Да ты что, мама! Хоть перед смертью бояться перестанешь!» И подал от меня заявление. Вчера и напечатали — поименно всю нашу семью. Он мне принес, показывает, а я не верю...

Женщина горько улыбнулась, вытерла глаза и тихо, обессиленно продолжила:

— Вот сегодня к Степе приехала. Был бы живой — может, простил бы, что таилась я от него всю жизнь. Боялась, что бумажкам да властям он больше поверит, чем мне. А я-то знала, что мы не виноватые! Да и от тяти с мамой никогда бы не отказалась...

Не передал...

Эта встреча случилась много лет назад. В первое время мне казалось, что это обычная журналистская неудача, о которой забываешь через неделю-другую. Но дни шли и шли, а я все продолжала думать о старике. И чем дальше, тем больше. Он никак не выходил из головы, и в самые неподходящие моменты (на редакционной летучке или дома, в кресле перед телевизором) вдруг возникал передо мной совершенно отчетливо — во всем белом: нижней рубаше и подштанниках, на которых расплзлись желтые пятна от лекарств.

Старик привычным движением брал фабричную, с резиновым набалдашником, палку, лежавшую на коленях, и я видела увеличенную, как фрагмент картины, его пергаментную, в морщинах, со вздутыми жилами и длинными, как у пианиста, пальцами руку. Он судорожно сжимал палку, и теперь меня каждый раз пугали его неухоженные, отросшие и какие-то слоистые синие ногти. Не поворачивая ни туловища, ни головы, он нацеливался палкой поверх плеча в стену, к которой сидел спиной, и нетерпеливо стучал в нее. И тут же сквозь мокротный кашель зло хрипел: «Стар-рух-ха!»

Странное дело: лицо его я отчетливо представить не могу. Хотя точно помню, что в первое мгновение оно поразило меня — благообразное, почти иконописное. «Почти» — потому что глаза были не по лицу: ни кротости в них, ни смирения, ни мудрости возраста, ни доброты. Маленькие, они прятались под нависшими бровями.

Так чего же тебе надо от меня, старик?

Избалованный в расцвете славы журналистами, обиженный их равнодушием в последние десять лет, он буквально вцепился в меня и битый час хрипел сквозь кашель о своей жизни.

В ту пору я увлеклась народными ремеслами. Написала несколько материалов о наших самобытных горшечниках и мастерицах свистулек, о плетении из бересты и резьбе по дереву. Весь этот доступный, часто бросовый материал, благодаря нашим северным фантазерам, был украшением бедных изб не одно столетие. Интерес рос, меня подмывало пере-

ключиться и на такие народные промыслы, как роспись по глине и дереву, чугунное литье, кружева... Да боже мой! Сколько этих чудес — не хитрых, но непостижимых порой, познавать которые — радость наисладчайшая!

Все чаще ноги несли меня в «Салон художника», все чаще я склонялась там над палехом или чеканкой. И вот однажды, совсем неожиданно, мне встретились там слонобая кость и перламутр. Брошь — фантастическое сплетение цветов, а рядом футляр для карманных часов с цепочкой-змейкой, выточенной из целого костяного куска. Антикварные вещи? Да нет же! Вот фамилия автора, и он живет в моем городе. Здесь, среди снегов и елей, — слонобая кость и перламутр?!

Это было открытие. Но, как оказалось, только для меня. О нем, о чудесном мастере, знали и писали (давно, правда) мои старшие коллеги. О самонадеянности молодости!

Нашла я его быстро. В утонувшей среди девятиэтажек слободе «Козий рог» его дом был самым добротным. Небольшой, двухэтажный; нижний этаж, наполовину вросший в землю, из кирпича. Я поднялась на террасу, стукнула в верхние, резные, с медными ручками, двери. Молчание. Спустилась к нижним дверям — крашенным половой краской, щербатым и тяжелым. На стук вышла высокая, грузная старуха с бесцветными глазами на желтом, уставшем лице. Недовольно выслушала мои сбивчивые извинения и расспросы, впустила в небольшую, загроможденную плитой и утварью кухню. Рассматривая меня с откровенным раздражением, указала рукой на такую же широкую, как входная, давно не мытую дверь, за которой слышались какие-то странные всхлипывающие звуки.

Старик сидел на кровати лицом к окну, и дыхание с хрипом вырывалось из его приоткрытого рта. И тот час, наполненный для меня жалостью к старому и больному, любопытством к некогда талантливому, недоумением — к теперь раздраженному и злому человеку, потом растянулся для меня в месяцы невольных раздумий.

Он хрипел: «Стар-рух-ха!» Стучал палкой в стену. Она зло, пинком, открывала дверь, недовольно смотрела на меня, неразборчиво ворча себе под нос лезла в сундук или комод, за рамку с фотографиями на стене или даже под матрац, на котором сидел старик. На стол, на табуретки, на кровать летели грамоты, дипломы, удостоверения, фотографии работ, фотографии старика...

В моих вспотевших ладонях покоилась миниатюрная головка кудрявой юной женщины, вырезанная с изысканным мастерством и удивительным изяществом.

— Это она — злыдня! — хрипел старик, тыча палкой в сторону старухи. — Времени не хватило повторить, а у этой торс испортил. Одна вот и осталась... Последние работы продаем — видела, небось... На черный день оставлял. Вот и пришел мой черный день, настиг на краю могилы! Со свету меня сживают злыдня с сыночком. Всю жизнь использовали,

аки дойную коровушку, сами и дня не рабатывали. Тот, чертово семя, как я занемог, так из комнат нас выжил. Пр-р-ропойца... Налижется, встанет тут в окне, кулачища тискает. А эта, злыдня, все откупается от него, уж и пенсии хватать не стало. И смерть, паскуда, меня не берет! Пусть бы она с ним одна оставалась, у меня уже сил никаких...

Он закашлялся, дико уставившись поверх моей головы в окно. Непонятный страх прошелся мурашками по моей спине и заставил резко оглянуться. Но силуэта пьяницы сына, уже воображенного мной, в окне не было. Чтобы скрыть свой неоправданный испуг и как-то утешить захлебывающегося в кашле старика, я с деланным усердием принялась рассматривать груды бумажных наград.

А старик, с трудом откашлявшись, продолжал:

— Хотел ему с малолетства дело свое передать — сам-то я самоуком до всего дошел — так всё нос воротили, в инженера готовились. А сейчас вот в грузчиках ходят... Федька, племяш, сколь вокруг меня отирался! Так, думаю, чего это я не своему тайны раскрывать буду? На сына надеялся. Он сейчас, Федька-то, мастером в артели работает. Забежал бы когда, дак обидел я его... И в ФЗУ звали ребят учить резьбе — отказался. Тогда ведь знаменитый был, о смерти не думал. Заказы аж из Москвы шли! А теперь вот через это и помереть по-людски не могу. Соберусь было, глаза закрою, да жалко руки-то с собой в могилу класть. Не передал вот, не передал дело — душа-то и мучается, с землей не расстается!

И он надолго замолчал, откинувшись на стену и закрыв глаза. Остро обозначились скулы и горбатый тонкий нос, и сиплость дыхания поуменилась. Было непонятно, то ли он впал в забытье, то ли просто, утомившись, отдыхает, то ли обморок у него... Но стоило мне встать со стула, как он открыл глаза и все так же, раздраженным голосом, заговорил снова:

— А ты смотри, смотри бумажки-то! Их уже давно никто не сматривал. Ране все корреспонденты по ним про меня сочиняли. Посмотрят вот так же, как ты, бумажки — и составят статью. А как старик помирает — кому интерес-то? Про это не напишешь. Не напишешь ведь? Я тебе сейчас вот еще знаки покажу, у меня всякие на пинжаке висят...

И он, судорожно схватив палку, снова заколотил ею в стену:

— Стар-рух-ха!

Тогда, собрав материал, я ни слова не написала о нем...

Тонькина кукла

— То-онь-кина кукла! То-онь-кина кукла! — кричала моя шестилетняя дочка, захлебываясь. — То-онь-кина кукла! Бабушка, ты посмотри, мы ее наконец обнаружили... Это мамина Тонькина кукла!

Она прижимала к груди серую от пыли, растрепанную тряпичную куклу, которую я нашла среди старых вещей на чердаке.

Бабушка стояла на пороге и улыбалась.

Тонька жила в детдоме. В школе мы с ней сидели за одной партой. После каждой санитарной проверки ее на всякий случай стригли как мальчишку, наголо: волосы у нее были такие густые и кудрявые, что их не брал ни один гребешок. Училась Тонька на твердые тройки, потому что, несмотря на строгий детдомовский режим, уроки готовила кое-как. А все свободное время шила кукол.

«Домашние» девчонки носили ей лоскутки. Из них она сначала мастерила продолговатое четырехугольное, набитое старой ватой тельце, пришивала к нему длинные «колбаски» — руки и ноги. Венчала это тряпичное сооружение голова. Для головы даже была выкройка. Тонька тщательно обводила ее химическим карандашом, придавив пальцем к материи. Набив голову ватой, пришивала на макушку кусок бараньей шерсти, пакли или, если кто расщедрится, отрезанный хвостик косички.

Свое новое произведение Тонька приносила мне. Выбрав удобный момент на уроке — где нам, кроме учителя, никто не мог помешать, — она подсовывала его мне под партой и, довольно улыбаясь, показывала большой палец. Кукла перекачывала в мою сумку вместе с Тонькиным химическим карандашом.

Прибежав из школы домой и быстро съев свою долю обеда, оставленного с утра мамой, я принималась за дело. Мешкать было нельзя: через час приходил из школы брат, а он не прочь был поиздеваться над моими художествами и подрисовать кукле усы.

Обычно я успевала. Помуслив карандаш, тщательно выводила на лице куклы большие глаза с лучиками-ресницами, дугообразные брови, точками обозначала нос. Заканчивал портрет маленький рот бантиком. Затем глаза раскрашивались синими чернилами, а губы — красными. Кукла была готова. Она смотрела на мир все понимающими чернильными глазами, она внимательно слушала нас, и казалось, вот-вот заговорит. И хотя лица всегда делались по одному образцу, куклы получались непохожие: то улыбчивые, то испуганные, то даже злые. И мы несколько не удивлялись этим превращениям: люди тоже рождаются разными.

На одной из перемен Тонька выставляла «новенькую» всем на обозрение. Если куклой восхищались, мастерица ходила гордая и в конце уроков обязательно кому-нибудь ее дарила. Если же кричали, что у куклы одна нога толще другой или нос нарисован криво, Тонька расстраивалась до слез, запихивала куклу в сумку, иногда даже дралась ею. А через несколько дней, нашив ей одежек, снова приносила в класс на «крестины». После уроков мы собирались за школой, пекли пироги из глины или снега, смотря какое время года стояло на дворе, и придумывали новорожденной имя.

Маши, Люси, Зины, Риты... Сколько их было у Тоньки? Хотя она и раздаривала их со щедростью богачки, пять-шесть штук всегда жили в

Тонькином уголке детдомовского зала. Случалось, их выселяли воспитатели, воровали ребята и даже кто-то выбрасывал за забор. Погоревав и подравшись с обидчиками, Тонька шила новых. Были в этой кукольной семье старшие и младшие, они болели корью и получали двойки, ели кашу и выходили замуж за принцев...

Что это было? Инстинктивное желание счастья? Или смутное воспоминание о семье?

Тонька — «многодетная мама», черноглазый стриженный бесенок...

— Мама, а когда у Тонькиной куклы именины?

Дочурка сидела на своем низеньком стульчике прямо под бельевой веревкой и заворожено смотрела на куклу. Тщательно выстиранная в нескольких водах, та болталась теперь вниз головой. Химический карандаш доказал свою долговечность: на кукольном лице, пусть смутно, проступали большие и какие-то страдальческие глаза. И вода капала из нее так монотонно — кап-кап-кап — в дочкину ладошку.

— Мама, а на Тоньки-куклины именины позовем гостей?

— Позовем. А тебе надо будет напечь пирогов из глины.

— И купить настоящий торт!

— Можно. Только тортов у нас раньше не было...

— А что было?

— Куклам на именины мы всегда платья шили.

— Ты ей еще волосы сшей. А то эти совсем износились.

Вода все капает и капает с чудом уцелевшей Тонькиной черной завитушки.

Весна в тот год запоздала. Метелям не было конца. И когда ветры и снега, словно опомнившись, застыдившись своего разгула, угомонились, никто не обрадовался вдруг наступившему теплу. Ждали наводнения. Каким-то чудом оно не обрушилось враз, как это было, по рассказам стариков, лет тридцать назад. Вода прибывала постепенно и за неделю затопила полгорода. Взбудораженные, мы бегали каждый день узнавать, насколько поднялся уровень и, вопреки тревоге взрослых, с нетерпением ждали, когда же вода дойдет до нашего двора.

Когда я, постоянно мокроногая в эти дни, слегла с ангиной, половодье взяло в плен и нашу улицу.

Брат на плоту заезжал после школы минут на пять, чтобы набить карманы едой, и возвращался только вечером с мамой «на борту». А я, отрезанная от всего мира, сидя на подоконнике, смотрела на скучную грязную воду, в которой плавал всяческий мусор, и теперь с нетерпением ждала, когда эта проклятущая, сделавшая меня больной и такой одинокой вода уйдет восвосяи.

Однажды, когда моему терпению, казалось, приходил конец, брякнула в сенцах задвижка, кто-то завозился, нащупывая дверную ручку, грохнулась висевшая на стенке самоварная труба. Пулей вылетела я в

темные сенцы — и тут даже не радость, а восторг захлестнул мое сердце. Ко мне пришла... Тонька!

Ее огромные глаза, казалось, светились. Тонька, которую и в праздничные дни, в хорошую погоду, никогда не отпускали к нам, пришла по такой-то воде... Тут радость мою как рукой сняло: Тонька была мокрая, как воробышек, который прошлым летом свалился с нашей крыши в бочку с водой. И даже волосы ее, чуть отросшие за зиму, торчали на макушке как взъерошенные воробьиные перышки. Она попыталась заговорить, но зубы у нее стучали так, что каждое слово будто раскусывалось на части. Получалось невыносимо смешно. И мы обе, стаскивая с нее мокрую одежду, хохотали до слез.

Тонька рассказала, как она сбежала из школы, как из опаски быть пойманной «в плен» отвергла предложения мальчишек-плотогонов, как шла по воде в ботинках и в конце концов оступилась в канаву неподалеку от нашего дома.

Смех и моя теплая постель быстро ее согрели. Потом, отжав и развесив сушиться одежонку, Тонька вытащила из рваного кармана своего пальтишка куклу. Новенькую и, как я определила с первого взгляда, очень красивую. Даже тело у нее было из белой материи — не чета тем, у которых туловище, а то и руки-ноги шились из сарпинки в цветочек. И хотя лица у куклы еще не было, она выглядела как лучшие модницы нашего города: в цветастой юбке, красной кофте, на ногах — «туфли» из настоящих полосатых носков, а на шее — бусы из разных пуговиц. Но самое главное — у куклы были настоящие волосы: черные, кудрявые — Тонькины!

— На вот... рисуй... Это тебе на долгую память. А нас завтра увезут в Читу, а может, еще куда дальше.

Нет, Тонька не грустила. О переезде детского дома поговаривали с осени, и она относилась к этому как к чему-то неизбежному. Скорее, грустила я, и не потому, что предстояло расставание — мы еще не могли его по-настоящему понять; это была грусть по никогда не виданному и, наверное, прекрасному городу, куда ехали Тонька и все детдомовцы.

У Тоньки этот переезд был связан с большой надеждой.

— Ты вот болееешь и не знаешь, что Витька Обжорка отца нашел, — рассказывала она. — Он все писал, писал в Москву и в Читу, и вот нашел! Тот приезжал к нему, тощий такой, но ничего, не злой. Обжорка говорит, что он летчик, а у него медалей нет. А Марьиванна сказала, что он, наверно, пленным был. Парни хотели Обжорку дразнить, так я им наподдавала. Это ведь ничего, что пленный, я бы тоже согласилась, чтоб у меня пленный был! А Марьиванна говорит, что мне нечего писать: я не эвакуированная, я местная... — И, пригорюнившись, она продолжала шепотом, словно ее тайну кто-то мог услышать и помешать ей: — У местных тоже бывают родители. Я, может, в Чите и найду их, там знаешь сколько народу... Буду все ходить по городу и смотреть, смотреть... Я их все равно узнаю!

Увозил Тоньку поздно вечером мой брат. Мама выгладила ее белье, и мы надели на Тоньку мое лучшее бордовое, перешитое из мамино довоенного, но настоящее шерстяное платье. От радости Тонька сделалась тихой и все боялась плыть в обновке обратно. Долго примеривалась, прежде чем прыгнуть на плот. Теперь она не хотела рисковать.

Оказавшись на плоту, она встала на колени, вцепившись руками в бревнышки. И хотя все мы — мама, я и Тонькина кукла — махали ей на прощание из окна, Тонька не подняла в ответ руки: боялась упасть и замочить платье...

Назавтра я нарисовала на белом, как лист бумаги, лице Тонькиной куклы глаза, которые все понимали. Обозначила точками нос, чтобы она дышала, а значит — жила, вывела бантиком губы, чтобы пела и говорила со мной. И она стала для меня лучшей подругой не только на время болезни, но и еще на многие годы девчоночьей жизни.

— Смотрите-ка, какой я подарок принесла на Тоньки-куклин день рождения! — и бабушка прислонила к вазочке с вареньем приклеенный на картон старый и не совсем качественный, как все спешные фотографии того времени, групповой школьный снимок.

Господи! Как же я забыла — здесь, действительно, должна быть Тонька!

— Тонька? Настоящая Тонька? — В голосе дочурки было столько удивления!

— Вот, малыш, смотри...

— Нет, я сама! Я сама! — Она впиалась глазами в снимок и, разглядывая застывшие в напряжении лица моих одноклассников, медленно водила пальчиком по рядам. И вдруг словно запнулась, пальчик ее замер, и она, счастливая своим открытием, закричала:

— Это Тонька! Это Тонька! Это Тонька! У нее же куклины глаза!



Сергей ВЛАДИМИРОВ

СТАРИК И СОБАКА

Р а с с к а з

I.

Петр Петрович проснулся рано — на улице только-только начинало светать — и сразу понял, что денек будет тот еще. Болело колено, поясницу покалывало, в груди ныло. Старик опустил ноги с кровати и угодил прямиком в холодную лужу на линолеуме.

— Барон! — вскричал Петр Петрович. — Кривоглазая дрянь! Чтоб тебя черти взяли! Чтоб у тебя потроха отсохли!

Зацокали когти, и в спальню, застенчиво прижав уши, просочился беспородный черный пес. Выглядел он старым и неухоженным. Тусклая свалывшаяся шерсть, пожелтевшие клыки, язык в открытой пасти обложен нездоровым белым налетом. Ко всему собака, действительно, была кривой. На месте левого глаза красовался безобразный рубец от давно зажившей раны. Пес шумно дышал, вилял облезлым хвостом, как бы желая хозяину доброго утра и не понимая причины его негодования.

— Проклятый пакостник! — продолжал бушевать Петр Петрович. — Не мог потерпеть, что ли? Да еще и место выбрал, гиена мохнозая, возле кровати. Коридора тебе мало?

Рука старика потянулась к тяжелой трости, стоящей у прикроватной тумбочки. Спасаясь от хозяйского гнева, пес умчался на кухню. Там он сел у пустой миски, словно намекая, что все лужи мира — полная ерунда, а сейчас неплохо бы и позавтракать.

Старик, не переставая браниться, проковылял в ванную. Зашумела вода. Забрнчали склянки. Застучала по полу трость. В комнате захрипел старенький телеприемник. Передавали утренние новости.

Наконец Петр Петрович появился в кухне. В собачью миску он вывалил из кастрюли кучу холодной каши, себе в стакан с водой накапал резко пахнущих капель из флакончика. Трясущейся рукой поднял стакан. Выпил.

Пес принялся за еду. Старик же продолжал ворчать в такт неугомонному телевизору:



— Ворюги проклятые! Разворовали страну, расхапали. Теперь рапортуют с честными глазами, как благосостояние народа поднимается. Упыри прокаженные! Чтоб вы передохли все!

Тем временем пес, закончив трапезу, отправился к входной двери, уселся на коврик у порога и три раза звонко гавкнул.

Старик злобно покосился в его сторону:

— Скотина прожорливая, навязался на мою голову.

Но все-таки поднялся и, дошаркав до вешалки, принялся натягивать потертое пальто. Пес нетерпеливо пританцовывал.

— Иди сюда, паразит. — Петр Петрович пристегнул к ошейнику собаки поводок. — Только не думай, что я с тобой час по морозу разгуливать буду. Сделаешь свои дела — и сразу назад.

Про мороз Петр Петрович лукавил: на улице было около нуля. Опавшие листья в замерзших лужах выглядели как корабли, застрявшие на зимовке в Арктике.

Человек и собака медленно обходили пустынный двор. На детской площадке тишина. Вокруг никого. Разве что на лавочке у подъезда расположились две старушки.

Пес деловито обнюхивал стылую землю с кое-где торчащими клочками пожухлой травы. Наконец подходящее место было найдено.

Старушки на скамейке мгновенно всполошились:

— Ты гляди, что творится! Псина прямо посреди двора гадит, а ему хоть бы что! Кто убирать все это будет?!

— А ну, заткнитесь, кошелки старые! — взревел Петр Петрович, да так, что пес, не прерываясь, испуганно оглянулся. — За своими ублюдками следите. А то что у одной, что у другой внучатки телеги свои железные на газонах паркуют. Дождутся, что я им фары пересчитаю!

— Хулиганство какое! — заголосили бабушки непутевых внуков. — Мы участковому напишем. Он тебе живо салазки загнет.

— Участковому?! — гаркнул Петр Петрович. — Да я вашего участкового и всю его родню...

Тут он вдруг побледнел, шумно втянул воздух и опустился на землю в бесчувствии. Перепуганный и обескураженный пес напрасно облизывал ему лицо. Хозяин ни за что не желал подниматься.

II.

Больничный ординатор Елена Степановна изучала результаты анализов нового пациента. Хмурилась. Не нравились ей анализы. Абсолютно не нравились. В таком возрасте — и такие показатели. Это значит, что родственникам надо заказывать оркестр. Господи, ну что за пакость лезет в голову? Впрочем, нет никаких родственников. А значит, и оркестра не будет.

Елена Степановна вложила бланки в пока что тоненькую историю болезни. Можно прямо сейчас сделать первые назначения. Однако перед этим хорошо бы взглянуть на пациента. Анализы анализами, но дежур-

ный врач Тюрин — раздолбай и первичное обследование провел куда как формально.

У поста медсестра Полина вяло переругивалась с больными.

— Я не знаю, почему отменили таблетки, — разъясняла она полной женщине в домашнем халате. — Будет обход — у врача спросите. Здравствуйте, Елена Степановна.

— Поля, а Горбунов у нас в какой палате?

— Горбунов? Он ни в какой. В коридоре пока. Знаете же: в палатах мест нет, ну совершенно.

— Где его кровать?

Елене Степановне почему-то категорически не нравилось слово «койка».

— А в конце коридора. Там, в закуточке, где фикус. Да пойдёмте, я отведу.

Доверив раздачу лекарств унылому практиканту, Полина целеустремленно вышагивала рядом с доктором и рассказывала:

— Знаете, так странно. Скорая старика этого привезла, а следом собака прибежала. Страшная такая, одноглазая. У дверей приемного покоя уселась и лает. А фельдшер скорой сказал, что пациент как раз с такой собачкой гулял, когда все случилось. Кстати, что с ним?

— Пока непонятно толком. Обследовать надо. Сама понимаешь, в таком возрасте любая болезнь как конец света. Ну а что собака-то?

— Да ничего, погавкала, погавкала. Так и сидела у дверей, пока ее Михальч не увел.

— Рабочий наш?

— Ну да. Забрал собаку в кочегарку. Жалко, говорит, замерзнет псина. Только все равно с ней что-то решать придется. А вот, собственно, и Горбунов.

Петр Петрович был недвижим и выглядел не очень. Лицо посерело, на руках, лежащих поверх казенного тощего одеяла, проступили мертвенно-синие вены. Старик тяжело дышал. Глаза его были закрыты.

— Дежурный врач назначений пока не делал, — виновато сказала Полина. — Только капельницу поставили и анализы взяли. Давление чуть ниже нормы. Ритм слабый, брадикардия. Но Тюрин сказал, что вроде не критично.

— Жаловался больной на что-нибудь?

— Какое там... Он в себя пришел и почти сразу же заснул.

— Родственников, значит, нет?

— Со слов соседей — нет. Жена почти двадцать лет как умерла. Ни детей, ни внуков. Совсем никого.

В этот момент Петр Петрович открыл глаза и устремил на Елену Степановну недобрый взгляд.

— Все в порядке, — поспешила та его успокоить. — Я ваш лечащий врач.

— Врач — просроченный калач, — прохрипел старик. — Что, докторица, залечить меня до смерти хочешь? Не пройдет этот номер. Я тут все разнесу.

— Замолчите сейчас же! — вскрикнула Полина. — Как вам не стыдно?

— Слушай, пигалица, портмоя моя где? Сперли уже, что ли? Ну-ка, быстро принеси!

Полина побагровела. Старик с видимым усилием приподнялся на локтях. Глаза его выкатились из орбит.

— Неси портмоя! — проревел он.

— Поля, да принеси уже бумажник, — торопливо распорядилась Елена Степановна.

Медсестра отправилась за «портмоней».

— Успокойтесь, — увещевала Елена Степановна. — Никто не тронет ваших денег. И собака ваша здесь. В кочегарке. Там тепло.

— Покласть на этого кабысдоха, черти его дери. И на деньги тоже. У меня фотография в портмоне. Потеряется — все тут разнесу. — И Петр Петрович тяжело опустился на постель.

Вскоре вернулась Полина.

— Вот ваш бумажник. — Она протянула потертое черное портмоне.

Рука Петра Петровича, с давно не стриженными ногтями, схватила драгоценный предмет, будто лапа коршуна. Старик поспешно развернул портмоне, заглянул внутрь. Улыбнулся. Затем сунул свою драгоценность под подушку и, видимо совсем обессиленный, закрыл глаза.

— Идем, Полина, — позвала Елена Степановна. — Пусть отдыхает. Нужно подготовить развернутый анализ крови, УЗИ сердца и брюшной полости. Еще ряд исследований. Я сейчас все запишу.

III.

Месяц спустя в ординаторской первой терапии на стареньком кожаном диване сидели двое. Елена Степановна что-то горячо втолковывала седому благообразному мужчине в белом халате. Мужчина смущенно тербил очки. То надевал их на кончик носа, разглядывая бумаги, то вертел в руках, громко щелкая дужками.

— Павел Дмитриевич, вы посмотрите: это невозможно даже представить! — в который раз воскликнула Елена Степановна. — Вот последние анализы. Тромбоцитопения, лейкоциты выше ста тысяч, сдвиг формулы крови влево. Сюда посмотрите. Бласты! И в каком количестве!

— Да-да, — также не в первый раз качал головой старший коллега. — Я все вижу. И мне представляется, что речь идет о какой-то нелепой ошибке или грандиозной мистификации. Может быть, у вас оборудование неисправно?

— Павел Дмитриевич, на десять раз все перепроверено. И такая картина уже месяц наблюдается.

— Быть не может!

— Не может? Вот результаты УЗИ. Выраженная прогрессирующая дистрофия внутренних органов. Они не работают, по сути.

— Но с такими показателями человек не может жить.



— Пойдемте! — Елена Степановна решительно поднялась. — Лично убедитесь.

Пройдя пустынным больничным коридором, они вскоре оказались в небольшой и даже, пожалуй, уютной палате. Кровать здесь была одна. На ней лежал Петр Петрович и выглядел гораздо хуже, чем «не очень». Густые тени под глазами походили на застарелые синяки. Тонкие губы разошлись и потрескались. В исхудавшую руку воткнута капельница.

Услышав, что отворилась дверь и в палату кто-то вошел, старик открыл глаза.

— Здравствуйте, Петр Петрович. Это профессор Сокольников, мой коллега и учитель, — проинформировала Елена Степановна. — Он приехал специально, чтобы вас осмотреть.

— Здравствуйте, голубчик, — поздоровался и профессор, не сводя глаз со старика. — Как вы себя сегодня чувствуете?

Петр Петрович, словно не слыша вопроса, посмотрел на Елену Степановну.

— Барон... — разомкнулись губы старика. — Приведи Барона, дочка...

— Бредит? — шепнул профессор.

— Петр Петрович, дорогой! Я сколько раз вам говорила, что собаке сюда нельзя.

Старик молча отвернулся и закрыл глаза.

— Поразительно! — восклицал медицинский авторитет, следуя вместе с Еленой Степановной обратно в ординаторскую. — Сколько, вы говорите, он в таком состоянии?

— Около месяца. С первого же дня после поступления началось ухудшение и продолжается до сих пор. При этом видимых причин нет. Инфаркт, инсульт, инфекцию, онкологию, цирроз мы практически на сто процентов исключили. Я бы сказала, что он просто умирает от старости, но...

— Но?

— ...но никак не может умереть.

— Исключительная тяга к жизни, — глубокомысленно изрек профессор.

— Не думаю, Павел Дмитриевич. Он настолько измучен, что жить явно не хочет. А хочет только, чтобы поскорее все закончилось.

— М-да... А что там с собакой?

— С собакой странно. В первые дни ему было на собаку совершенно наплевать. То есть ему было достаточно знать, что пса кормят и присматривают за ним. Однако потом все изменилось. Чем хуже ему становилось, тем настойчивее он требовал, чтобы к нему пустили этого Барона. Понятно, это невозможно.

Едва вернувшись в ординаторскую, профессор схватился за пальто и принялся одеваться.

— А знаете что? Я бы вам посоветовал собаку к нему все-таки пустить.



— Вы думаете?

— Да. — Павел Дмитриевич тщательно и бережно укутал тощую шею в пушистый шарф. — Я, знаете ли, всякого за свою жизнь навидался. И считаю, что, раз случай настолько необычный, надо пробовать все меры, в том числе и нетрадиционные. Приведите к нему собаку. Посмотрим, что получится.

IV.

Пес скулил и повизгивал. Он облизывал хозяину лицо и руки, тормозил его холодным носом, призывая подниматься и идти наконец домой, где без них наверняка все плохо. У наблюдавшей за этой сценой Елены Степановны защипало глаза.

Сначала старик, похоже, не осознавал, что пес тут, рядом. Но вдруг в его тусклых глазах мелькнула мысль. Исхудавшие руки шевельнулись. Елене Степановне показалось, что хозяин хочет обнять собаку. На деле же хищные стариковские пальцы через мгновение сомкнулись на мохнатом горле. Почувствовав боль и удушье, Барон испуганно взвизгнул и отчаянно дернулся, однако старик держал его крепко.

— Что вы делаете?!

Елена Степановна кинулась на помощь собаке. Ей с трудом удалось разжать стариковскую хватку. Собака метнулась в дальний угол палаты и съезжилась там. Пес не понимал, чем он провинился, и жалобно глядел на хозяина.

— Вы с ума сошли?!

Врача слегка потряхивало. Старик же, совершенно без сил, вытянулся на ложе.

— Я немедленно забираю собаку, — решительно заявила Елена Степановна. — Барон, иди сюда!

— Постой! погоди, — прохрипел пациент. — Умоляю, — скрюченные пальцы комкали одеяло, — ради всего святого, ради матери своей, прикончи эту псину. Отрави чем или скальпелем...

— Вы сумасшедший!

— Дочка, я тебе все расскажу. А ты уже сама решай. Сядь вот тут, рядом.

Голос старика так отчаянно дрожал, а сам он выглядел таким жалким, что Елена Степановна неохотно подчинилась. Пес потихоньку выбрался из угла. Хотя к изголовью хозяина не пошел, а пристроился у его ног, положив морду поверх одеяла.

— Дочка. Я жизнь прожил не самую добрую.

Старик говорил с трудом. Некоторые слова было сложно разобрать, и она невольно склонилась над своим пациентом.

— Честно скажу: хорошего от меня мало кто видел. Да и черт с ними. И выпивать крепко доводилось, и куролесить. Если и было что доброе в жизни — это супруга моя. Портмону достань... Там... под подушкой.

Елена Степановна протянула руку и вытащила бумажник.

— Открой, — просипел старик.

Внутри портмоне оказалась старая фотография, заботливо заламинированная и размещенная в отдельном кармашке. С фотокарточки смотрела молодая красивая женщина с удивительно мягким, открытым взглядом.

— Если Анна моя была ангелом, то тогда я — не пойми кто, — продолжал больной. — За что полюбила она меня, до сих пор не пойму. А что любила, в том можно не сомневаться. Иначе зачем бы терпела все мои выходки? Из-за выходок этих знаться со мной никто не хотел особо. Да я тому и рад был. Не люблю людей, чего уж там. Твари двуличные, да и подлые притом... Ну да ладно. Что об этом? Анна — другое дело. Молился я на нее, как на икону. Это уж как водится: бес одной рукой крестится, а другой Бога за бороду дергает... Молиться-то молился, а нет-нет чего и вычудю. Потом прощения, конечно, прошу. А она добрая была. Всегда прощала. Только один раз разгневалась не на шутку. Из-за шакала этого блохастого.

— Из-за собаки? — переспросила Елена Степановна.

— Из-за него, стервы. Тварюг этих жена любила. Всю жизнь тряслась над ними. Бездомных подкармливала. Но я ей твердо сказал, чтобы в доме никакой пакостины никогда не было... Вроде уяснила, а вот перед кончиной своей взяла да и ослушалась. Приволокла вот этого прощельгу. Где-то на улице нашла. Мелкий, пузо розовое, безволосое. Трясетя весь. Ну и упростила меня оставить. Поорал я да и отступился. Отступиться-то отступился, да против природы не попрешь.

Старик замолчал, с трудом переводя дыхание. Пес неслышно подобрался ближе и крайне осторожно лизнул хозяйскую руку.

— И что случилось?

— То и случилось. Ботинок он мой сгрыз. А я пьяный. Ну, схватил, что под руку подвернулось, и давай его воспитывать. Глаз вон выстегал, да и вообще живого места на нем не было. Анна прибежала, отняла. Я думал, сдохнет кобелишка. Ан нет, живучий оказался. Да такой живучий, что в этом году девятнадцать ему стукнуло. Особенный экземпляр, словом... А Анна как раз вскоре после моей выходки со щенком скончалась. Инсульт. Так меня и не простила! Всегда прощала, но не в этот раз. Уж как я умолял! Только в больнице уже, перед самым концом, смягчилась. Слово взяла, что за псом этим я буду ухаживать до самой его собачьей смерти. Тогда, мол, будет мне прощение... Вообще-то, для меня слово — тьфу. Кому бы другому дал — через пять минут забыл бы. А тут нет. И вот почти девятнадцать лет эта подлюга облезлая кровь из меня пила. Корми его да выгуливай. Еще и лезет с любовью своей, как будто не я его изувечил.

Он опять замолчал, собираясь с силами. Пес предпринял попытку подsunуть морду под лежащую на одеяле ладонь хозяина. Елена Степановна не знала, что сказать.

— Вот я и думаю, — вновь заговорил Петр Петрович. — Пока паршивец этот жив, и мне помереть не получится. Я это точно знаю, без вся-

кого Кашпировского. Так что, дочка, кончи его как-нибудь. Измучился я, сил никаких нет.

— Господи, да что вы за человек такой?! — воскликнула Елена Степановна. — Вы так хотите отплатить живому существу, которое единственное во всем мире испытывает к вам любовь и привязанность?!

— Я этой твари почти два десятка лет жизни отдал, — зашелся криком старик. — Я этого пса ненавижу, может. Он мне как кость в одном месте! Я мучаюсь сколько уже! И мне его жалеть?!

— Да вы себя пожалейте! — сорвалась на крик Елена Степановна. — Если есть какой-то высший суд, так он у вас уже сегодня может состояться! Хотя бы под конец выкиньте из души часть злобы и дряни. Оставьте чуть-чуть места для чего-то светлого. Хотя бы для преданности этой собаки!

— Вон как заговорила, лекаришка! Душонка полупоповская! Сидишь тут, такая чистенькая. Силы б были, я бы тебе показал!

И Петр Петрович разразился такой бранью, что Елена Степановна побледнела. Затем схватила портмоне, раскрыла и сунула его почти в лицо пациенту. Движение ее было таким резким, что пес угрожающе зарычал. Зато поток ругательств сразу прекратился.

Около минуты прошло в молчании. Старик все смотрел и смотрел на фотографию, и по лицу его катились мутные слезы. Наконец Петр Петрович закрыл глаза. Елена Степановна сделала шаг назад. Пес запрыгнул на кровать, прижался косматым, никогда не чесанным телом к хозяину, положил голову ему на грудь и стал искать его взгляд — так, как это умеют делать только собаки.

Губы старика приоткрылись.

— Барончик, мальчик. Отпусти меня. Пожалуйста, — лихорадочно зашептал Петр Петрович. — Ты же умник, ты все понимаешь. Прости меня, мальчик.

Он медленно, будто затаскивая тяжелый груз в гору, поднял руки и приобнял пса. Стал поглаживать. Почувствовав ласку человеческой руки, пес глубоко вздохнул, уткнулся носом старику в лицо, словно надеясь раствориться в новом, доселе не испытанном ощущении тихого собачьего счастья.

Елена Степановна боялась пошевелиться.

Поглаживания становились все реже. И наконец рука человека замерла на голове собаки. Пес благодарно лизнул застывшие навсегда губы, вздохнул в последний раз и отправился вслед за стариком по бесконечному двору, где в туманной дымке угадывались силуэты качелей на детских площадках, звучно похрустывал ледок и жухлые листья в лужах шуршали под мягким напором ветра, который вдруг донес до пса ласковый женский голос, звавший его по имени.

Нина МИХАЙЛОВА

КОРЕННАЯ ПОРОДА

Р а с с к а з ы

Ласточки

Дед Евсей сидел на завалинке и курил. Едкий табачный дым отгонял комаров. Над головой его стремительно проносились ласточки. Дед с довольной улыбкой смотрел на острокрылых птиц и думал: «Все живет, летает, радуется, значит, и в доме все хорошо будет».

Ласточки прилетели в середине мая и стали обустраивать жилище на потолочной балке старого сарая, в котором висели заготовки для шитья сбруи. Дед был знатный шорник — делал сбруи и седла для лошадей. Конный извоз все еще был необходимостью; несмотря на то что вдоль Московского тракта протянули железную дорогу, работа у Евсея Григорьевича Черепанова не убавлялась.

Еще вчера он собирался начать разбирать ветхий сарай, но, коль уж тут обжились благословенные ласточки, решил отложить это дело на будущий год. Да и тяжело одному-то: сын и сноха померли от чахотки, а оставленный на дедово попечение внук был еще мал. Работы и без того непочатый край! Хозяйство хоть и небольшое — коровенка да кобыла Баська с жеребенком, а все ж таки ухода требует, да еще огород, да вот заказ на богатую упряжь с бубенцами.

Подошел на прошлом базаре мужик в галифе с лампасами, смотрел сбрую, и поближе, и подальше, потянет, подергает, чуть ли не жует — чует ладную работу, а потом и спрашивает:

— А красивее сделать сможешь?

— С бубенцами, что ль? — уточнил деловито дед Евсей.

— И с лентами, старик, да такую, чтоб в радость и глазу и уху, а невесте и жениху — всласть.

— Могем, почему не смочь? Только красота — она денег стоит: и бубенцы разные бывают, и ленты.

— А это уже моя забота!

И заказал тот генерал не генерал, кто их знает, — но по форсу не меньше генерала! — заказал парадную сбрую для конной пары. Сына женить задумал, в сваты на Медовый Спас собрались — для того и сбруя,



чтобы невеста покладистой была. Отдал генерал задаток, назначил день и ушел. Вот деду с внуком задель!

Десятилетний внук Костька рос не по дням, а по часам. Дед никогда его не ругал, но за провинность отказывался с ним разговаривать, и было это страшным наказанием, поскольку никого в доме больше не было: ни тебе поговорить, ни спросить чего-нибудь. Мальчишка рос шустрым и самостоятельным, мог сам себе сготовить, да и люди его видят то с удочкой на заре, то с корзиной, полной грибов или ягод, то с силками на тетерева. Одним словом, чем мог помогал деду. Вот и в этом деле помощник понадобился.

Целый месяц они работали над заказом. Огрубевшие от шорной работы руки Евсея и то были исколоты шилом, не говоря уж о мальчишеских.

Настал назначенный срок. В канун базарного дня в Болотном дед с внуком снарядились в дорогу, запрягли кобылу, сложили ягоду, сушеный гриб боровик, соленые белые грузди в малой деревянной бочке — всего помаленьку. Так сgonoшились — и выдвинулись не спеша.

А ласточки носятся, стригут воздух.

— Глянь, Коська, потомство скоро прибудет. Радуются-то как, дурачье!

— Так есть уже, деда! Полное гнездо птенцов.

— Ты гляди не озоруй.

— Да я только поглядел. Я знаю, я их жалею. — И вдруг обеспокоился о жеребенке: — А Ворон где?

Меж тем жеребенок уже их догнал и, склонив голову, зашагал рядом с матерью.

— Подсосный еще, никуда от нее не денется, — ласково сказал дед. — Ему в мамке вострая необходимость.

Дорога была долгой, считай, сорок верст с хвостиком. Мальчик сидел на краю телеги, болтал ногами, в голове от безделья роились вопросы.

— Дед, а дед, чегой-то эта дорога Московской зовется, ведь Москвы у нас нету?

— Дык она в Москву и идет, — начавший было дремать, ответил Евсей.

— Так далеко?

— Далеко и еще дале. Раньше по ней ямщики ездили, людей возили, грузы разные: в Москву пушнину да масло, оттуда струмент да проча, чего у нас не делали. Опять же, почту возили, да каторжных гоняли, и разбойные люди тут бывали — ямщиков да почтовых грабили.

— Дед, а бабы на речке говорили, что батя твой каторжанин был.

— Бабы — это люди страшные! — оживился дед. — Да пусть трещат, на каждый роток не накинешь платок... А батяка мой одной конторской нюхалке зуботычину выписал. Хорошо так приложился!

— Так нешто за это на каторгу? Вон сосед наш кажный день жене тумачков отвешивает — и ничего, не сослали.



— Так то бабу, слегка. Это для порядку. А батька мой дюже здоров был, подковы разгибал, вот и приладил чуть лишку сгоряча. Чиновник тот вовсе дураком сделался. А неча стольпинские подъемные воровать, не тебе дадены.

— Дед, а почему — Болотное? На болоте, что ль, люди стали жить?

— Речка там Болотная, от нее и назвали.

— А у нас-то речка Ояш, а мы Бибеево зовемся.

— Ояш — по-татарски «яма» значит: речка глубокую яму промыла.

Деревня Ояш есть подалье нас, там, по Московскому тракту. А наше село от первого жителя так зовется, Бабей его звали.

Дед замолчал и снова стал клевать носом. Костька достал из сумки завернутый в тряпочку шматок сала, отрезал от него пластик и пожевал. Ему стало скучно, он пошевелил кобылу Баську ивовым прутком, и она прибавила ходу. Жеребенок тоже ускорился — стало веселей. Так за дремотой да разговором и доехали.

Встали на ночевку прямо на базарной площади. Место удобное наши, перекусили чем бог послал — вяленое мясо да сушеная рыба, лучок, квасок — и спать: внук на телеге, а дед под ней. Лошадь с телеги сено тягает, жует, фыркает. Вороненок рядышком с матерью, в пах ее тыкается. Хорошо, мирно...

На рассвете старика разбудил крик внучка:

— Деда, жеребчика попятити*! Что делать будем?! Говорил же, цыгане тута, доглядывать надо!

Евсей подскочил, ударился головой о телегу и с причитаниями заметался по площади. Люди, ночевавшие там же, сочувственно кивали, но никто ничего не видел. В эту минуту кобыла Баська, привязанная к столбу, затопала, дернулась, порвала уздечку и побежала вдоль Московской улицы. Дед с внуком — за ней. Она встала у чьих-то покосившихся ворот, наклонилась, втянула широкими ноздрями воздух, отошла на шаг и стала бить передними копытами по воротам. Била до тех пор, пока не сломала воротину в щепки.

И тут из пролома показалась черная голова жеребенка Ворона! Он радостно, по-детски заржал, перепрыгнул через обломки и сразу уцепился за материнское вымя.

Собралась толпа, и, ошалевшие, все смотрели на эту картину лошадиного счастья. Потом вспомнили, что есть еще дела, и двинулись каждый в свою сторону.

Костька спросил:

— Дед, и чего? Даже разбираться не будешь, ведь украли они жеребчика?

— Нет, не буду. Им совесть, видно, не жмет, вишь, даже не вышли. Пускай ворота теперь чинят.

— Струхнули они, да, деда? В штаны-то нашмякали! Да и некогда нам, да, деда? А то и ты в каторгу угодишь. А у нас ласточки дома, — почему-то вдруг вспомнил Костька.

* *Попятить* — украсть.



— Да, у нас ласточки птенцов скоро обучать будут, нам некогда, — поддержал дед внука. — А Баська-то какова? Умная. А попы говорили, будто у коней души нет. У них душа шире человеческой, не всякая баба так сможет.

День был хороший. Светило яркое солнце, запахи разносились неповторимые. Здесь тебе и янтарный тягучий мед, и колыванские калачи, и топленое масло. Тянуло ароматом жареного мяса. В ремесленном ряду пахло дегтем и дубленой скрипучей кожей. Ребятишки бегали смотреть на проходящие паровозы, потом, радостные и подкопченные угольной пылью, возвращались на площадь.

Для Евсея с внуком день был удачный. Довольный генерал забрал парадную сбрую, сполна расплатился да еще дал малость сверху: уж больно хороша получилась упряжь. Понял, что на красоту дед ни денег, ни души своей не пожалел.

Все привезенное продали, сторговали жеребенка. К зиме его заберут, значит, зима добрая будет, сытая. Инструмент прикупили, колесо на телегу, муки да кож для работы. В Болотном и мельница есть, и кожевенная мастерская — все свое, добротное.

...Дома ликующим щебетанием деда и внука встретили ласточки: пять ластушат вместе с родителями сидели на заткнутой под балку удочке. Острокрылые птицы радостно и шумно призывали достаток и удачу в добрый их дом.

Черника

Мама принесла пригоршню черники в белом ситцевом платке. Она ходила искать корову и у старого соснового пня обобрала несколько кустика. Блудной коровы не было два дня: шел дождь, гнуса поменьше и скотина самопасом отъедалась в тайге. Ягода кончилась быстро; кисло-сладкая, с сизым налетом, она так и таяла во рту, оставляя фиолетовые следы на руках и мамином платке.

...Прошло тридцать лет. Моя скотина так же блудит по лесу в поисках травы повкусней, а я несу детям чернику в платке и на веточке.

Дома гостя — мамина тетка, увидев веточки, заругалась. Дескать, ягоде этой, чтоб плодоносить, много лет надо — больше, чем человеку, чтобы повзрослеть. И в былые времена меня бы леший до утра по лесу водил в наказание. Ни в коем разе нельзя рвать черничный кустик, если только не собираешься из него чай пить. Я послушала, и самой стало интересно: так ли в самом деле?

Черника в бибеевской тайге растет давно, благо условия для нее подходящие: и лес хвойный, и трава в лесу невысокая. Собирают ее с незапамятных времен. Тогда чернику больше сушили: сахар был не так доступен, да и места для хранения было немного. Зимой пекли пироги с черникой, варили кисели и запаривали ее детям от расстройства желудка. А еще заваривали из ягоды вместе с кустом духмяный чай.

После войны Старобибеевская протока была основным руслом Оби, а в километре от деревни находилась пристань, к которой дважды в день причаливал пароход. На нем можно было обернуться с парой ведер ягоды до Новосибирска и обратно — какой-никакой заработок для нищего послевоенного села. Люди знали, что если вырвешь куст без надобности или вытопчешь ягодник, то нечего потом будет есть. Ходили аккуратно, брали только спелую ягоду — и всем хватало.

А вот сейчас не хватает. Какой-то ученый или не сильно ученый заявил на весь мир, что, мол, черника — это панацея от всех болезней: и глаза будут лучше видеть, и старость отступит. Такое вот чудо под ногами, а главное, даром. И рванул народ в тайгу... И остались столетние черники лишь там, куда пешком идти далеко, а машина не проедет. Комары заготовителям нипочем, да и леший, видимо, притомился...

Итог такой. Стоит нам вспомнить, что мы не голодаем, не раздеты и не так уж больны. А если и больны, то потому, что неправильно живем, а от этого никакая, даже самая редкая ягода не спасет. Стоит подумать, что мы оставим тем, кто сегодня рождается, и как сохранить и приумножить то, чем богаты наши леса. Пусть растет чудесная ягода черника веками и дарит тепло и добро сибирской тайги — кисло-сладкая, с сизым налетом, оставляющая фиолетовые следы на руках и ситцевом платке...

«Ведьма»

В августе 1952 года стояла невыносимая жара. Редкие дожди были катастрофами — с ветром, градом и всеми сопутствующими удовольствиями. В перерывах между грозами деревенские косили отаву. Покосов на всех не хватало, и народ измудрялся как мог.

Семья тети Нины тоже была на покосе. Муж и четверо детей усердно сгребали валки душистой травы в копны. Потные, красные от солнца, ходили босыми ногами по колкой скошенной траве. Двухгодовалая младшая дочь спала под копной.

Из леса вышли две деревенские женщины с полными корзинами лесной черной смородины. Они быстро поздоровались и чуть не бегом скрылись из виду. Тетя Нина ухмыльнулась: «И эти туда же!»

Приезжую Нину в деревне считали ведьмой. Как сумел жениться местный красавец и балагур на такой нелюдимой женщине, было непонятно. Не иначе, приворожила. А после того как узнали, как спорится в ее руках работа и что в доме никогда не слышно ругани, слухов стало еще больше.

Однажды пришла соседка и слезно просила научить заговору от сорняков в огороде. Когда услышала, что работать с утра до вечера — есть единственный заговор, разразилась проклятиями дому и жадной его хозяйке. Тетя Нина не понимала, отчего решили, что она ведьма, но оправдываться не пыталась, да и некогда было: надо детей накормить, скотину упредить, на работу сходить, опять же мужа приветить.

Вроде с сеном успели. На лугу стояли аккуратные копешки. Только сейчас заметила тетя Нина, что руки стертые в кровь, а ведь не так давно зажали. Зимой старобибеевские женщины, что работали в лесничестве, таскали лес на конях по леднику. Заливали водой просеку, укатывали и тягли тяжеленные бревна на стан. (Оттуда весной лес сплавливали по Оби.) Одежка худая — обмораживали кто руки, кто ноги. Так и сняла она раз после работы варежки вместе с кожей.

Муж Сергей Иванович переживал за супругу, конечно, однако виду не подавал. Дети его любили и слушались, жена тоже. Работал егерем в Бибеевском лесничестве. Лес знал хорошо, потому и работа была в радость.

В этот день поймал он осетра, да такого, что еле донес до дома. Разрубали рыбину топором, так как ножом не управиться. На ужин и была рыба — сытная, без костей, только ложки звенели над чугунной сковородой.

Тут в дверь шумно постучали и забежала взъерошенная соседка. Заламывая руки, кричала, что потерялась ее пятилетняя дочь Валя. Пошла с большими детьми по смородину в забоку и не вернулась. Забока — это болотистая низина между Старобибеевом и устьем реки Ояш, за боком деревни. Там обильно росла черная смородина.

Что делать? Собрались, пошли искать. Как назло, испортилась погода, холодный дождь стоял стеной. Искали всю ночь. Под утро тетя Нина нашла девочку под старым выворотком. Скинула кофту, завернула ребенка и принесла к родителям.

Те, понятно, рады, хотя смотрели настороженно, как растирает она замерзшую девочку, всё ждали, что начнет читать заклинание. Не дождавшись, стали помогать. Вскоре у Вали появился румянец и она заговорила.

Тетя Нина так и ушла мокрая и продрогшая домой. Назавтра у нее начался жар и сильный кашель. Сначала было воспаление легких, потом неожиданно развился туберкулез. Два года боролась она с болезнью, но не справилась. Оставила пятерых детей и балагура мужа.

Как больно ложатся на сердце худые слова! Сколько жизней сгубили злые языки! Ведь и сейчас потомков тети Нины зовут ведьмами потому лишь, что не поняли люди, как можно жить счастливо без сплетен у колодца, без жалоб на детей и мужа и как можно радоваться солнцу, когда жизнь такая тяжелая.

Волшебный камушек

1.

Шел 1987 год. На перроне станции Болотной лежал камушек. Камень как камень — обычный кусок гранита, серый в крапинку, только одна грань срезана, как зеркало. Такими камнями была отсыпана

железная дорога; на них, как на подушке, лежали креозоченые деревянные шпалы; и все это служило основанием для рельс, уходящих за горизонт.

Ярко-рыжая с медным отливом девочка в желтых сандалиях собралась было пнуть одинокий камень, но увидела, как сверкнула глянцевая грань, и подобрала его — машинально, просто так, на всякий случай. Камушек, теплый от летнего солнца, хорошо лежал в руке. В вокзальный рупор что-то проговорила тетенька с заложеным носом, и по перрону забегали люди. Сквозь простудную гундосость девочка поняла только одно знакомое слово — Болотная.

Мужчина в военной форме шел размашистыми шагами, держа за руку мальчика лет девяти. Тот часто перебирал ногами, но шел вровень с отцом. Мужчина остановился, прислушался к голосу из рупора, вздохнул и сел на лавочку. Немного погодя к ним подошла грустная, уставшая от бессонной ночи женщина, и они заговорили.

Мальчик постоял, а потом, делая вид, что просто прогуливается, приблизился к девочке в сандаликах и, не дожидаясь вопроса, сказал:

— Папу переводят в ГДР, мама переживает. Теперь я за мужика в доме.

— А мы недавно переехали в Новобибеево, — живо ответила девочка. — Здесь недалеко. Сейчас мама в лесхоз приехала, лекарственные травы сдавать — тысячелистник, ромашку. Целые мешки. Им, лесникам, положено травы сдать и орехи кедровые, если есть. — Она протянула найденный камень и сказала: — Держи. Смотри, какой красивый! Отдашь папе — и он обязательно вернется. И мама расстраиваться не станет. У нас в деревне его много, целые горы. Все, кто берет с собою камень, возвращаются.

— Все-все?

— Да, все-все.

— А откуда ты знаешь?

— Я так загадала.

Мальчик взял камень, и они, сев на скамью, еще долго о чем-то говорили.

Вокзал дышал сытным воздухом августа. Народ подкапливался; уборщица протирала подоконники и что-то ворчала себе под нос, а народ все шел и шел. Прибыла электричка из Новосибирска. Перрон встречал подстриженными кустами, и по обеим сторонам от входа махали пушистыми ветками молодые елочки. Из вокзального буфета пахло выпечкой и котлетами. Вокзал загудел пчелиным роем и разбудил притихшую было станцию.

Девочка в желтых сандалиях вернулась с мамой обратно в деревню, а мальчик — на край Болотного, в казенную квартиру военного городка, ждать отца из Германии.

2.

Прошло десять лет. Болотнинский сырой воздух, похоже, навсегда простудил динамики привокзальных громкоговорителей. Спортивная площадка клуба КОР** медленно натягивала на себя вечернее одеяло, улица Вокзальная привычно маячила красной водонапорной башней, а уставший вокзал провожал последних пассажиров. Заросший нестриженными кустами скверик скучал по прошлым временам, две темно-зеленые елки торчали из неряшливых зарослей.

По перрону бежали тетки с авоськами в направлении автобусной площадки, толкались и кричали кому-то: «Занимай место!» Все знали, что если так не сделать, то будешь стоять на одной ноге в старом пазике и дышать в затылок соседу. Автобусы подъезжали к так называемой остановке, вставали у края большой черной лужи, и народ, кто в обход, кто напрямую, утрамбовывался так, что двери долго не закрывались.

Июньский вечер затягивался. Воздух стал тяжелым и душным, собирался дождь. Пришла последняя электричка. Из полночной темноты в еле освещенный вокзальный коридор ступила хрупкая медноволосая девушка в желтом платье и золотистых босоножках на высоком толстом каблуке.

Зал ожидания встретил запахом креозота, духов и хлорки. На засаленном сиденье старенького диванчика основательно устраивался молодой человек в форме училища МВД. Парень уютно втирался в сиденье с полной решимостью беззаботно проспать до первого шестичасового автобуса.

Девушка тоже ждала первого автобуса, но мысли о лежащем в сумочке красном дипломе, переполняя гордостью и волнением, отгоняли сон. Так не терпелось показать диплом родителям! Она пробовала читать, закрывала глаза и считала овечек, однако сон упорно не шел. Молодой человек долго наблюдал за ней из засады полуприкрытых глаз, потом встал и исчез в темноте перрона. Через несколько минут вернулся, держа в руках мокрую от дождя охапку духмяной сирени, молча протянул букет девушке. Сел рядом и, разжав кулак, показал маленький камень, серый в крапинку, с глянцевой гранью — обычный кусок гранита, только аккуратно просверленный и на капроновой нитке, связанной цепочкой.

Она осторожно взяла камушек:

— Где-то я такой видела, давно, еще в детстве. Ты сохранил его?

...Они проговорили до утра, не обращая внимания на грозу за окном и на обшарпанные стены сонного вокзала с кислым запахом, будто в старом заброшенном доме. Говорили о жизни, что протекла с того дня, как камень упал на этой станции, и не было страха и сомнений перед туманным будущим, и не было ничего, кроме них двоих.

* КОР — Клуб Октябрьской революции.

3.

Через двадцать лет вокзал подлечил свой внешний вид, только, как и век назад, помпезный шрифт надписи «Болотная» оставался незыблем. В зале ожидания словно повисли в воздухе новые голубенькие диванчики, утилитарно поделенные подлокотниками, — и сразу вспоминались времена, когда были жесткие диваны из толстенной фанеры, зато с расчетом на лежащего человека.

Вокзал занимался привычным делом — встречал и провожал пассажиров. Перрон блестел помытым асфальтом, две плохо растущие елки в скверике возвышались над клумбами, широко раскинув колючие лапы. Жизнь изменилась. Вот подходят автобусы к привокзальной площади — как солдаты, стройным рядом. Никто не мечется и не кричит, и все усаживаются согласно купленным билетам. Исчезла лощина напротив здания, исчезла грязь и копоть, пропал тяжкий запах пропитанных креозотом шпал: на их место легли новые, железобетонные. Все строго, чинно и благородно: кусты подстрижены, клумбы цветут и даже стоят скульптуры, как в доброе советское время.

По площади идет быстрым шагом юноша лет пятнадцати в кадетской форме и тянет за руку рыжеволосую девочку в желтых с блестками сандалиях, держащую надкушенное мороженое, только что требовательно выпрошенное у брата.

— Ну, давай быстрее, мама уже билет купила, — ворчит мальчик.

На перроне их ждали родители: хрупкая женщина с отливающей медью копной волос и солидный, чуть полноватый мужчина, стоящий ровно, как оловянный солдатик. Девочка сосредоточенно откусывала подтаявшее мороженое и слушала, как осипший женский голос откуда-то сверху вещал, что прибывает поезд, который унесет ее брата в далекую Москву.

Мама склонилась к юноше и вложила ему в руку небольшой серый камушек с одной зеркальной гранью, в немудреной серебряной оправе и на крепкой серебряной цепочке. Она сказала:

— Возьми. Владелец этого талисмана всегда возвращается на эту станцию живым и здоровым.

— Да, — подтвердил мужчина. — А иногда даже жену находит здесь, прямо на вокзале.

— А знаешь почему? — улыбнулась женщина и прижалась к плечу мужа.

— Почему же?

— Потому что камень наш, бибеевский.

Вокзал смотрел на благородное семейство и добродушно улыбался. Столько жизней пронеслось мимо и столько судеб осталось в долгой его памяти! Там всем нам есть маленькое и сердечное место. И, провожая, вокзал всегда ждет нас обратно — живыми и здоровыми.

Татьяна САВЧЕНКОВА

**ТОБОЛЬСКИЙ ПОЭТ-РОМАНТИК
ИВАН НАГИБИН И ЕГО ПОЭМА
«АЛТЫН-АРГИНАК»**

Историю сибирской литературы XIX в. вряд ли можно считать хорошо изученной, ведь в ней на сегодняшний день есть имена писателей с совершенно не проясненными творческими биографиями. Еще в первой половине прошлого века М. К. Азадовский, собиравший материалы о раннем, «допетербургском» периоде жизни Петра Ершова, отмечал, что формирование юного поэта началось уже в родных ему местах — в Западной Сибири, где в это время существовал круг интеллигенции, неравнодушной к поэтическому слову.

В книге «Очерки литературы и культуры в Сибири» Азадовский писал:

С конца двадцатых годов, то есть в то время, когда Ершов был в старших классах гимназии, в столичных изданиях начали появляться стихи местных поэтов: Черкасова, Нагибина, Речкина. Кому принадлежат эти имена? В списке подписчиков на второй том «Истории русского народа», опубликованном Н. Полевым в одном из номеров «Московского телеграфа», упомянуто два лица из Тобольска: один из них старший адъютант штаба отдельного сибирского корпуса гвардии штаб-ротмистр Иван Черкасов. Очень вероятно, что этот Ив. Черкасов и есть наш поэт. Другой тоболяк, помеченный в списке подписчиков, — Василий, — Василий Афанасьевич Нагибин, видимо, чиновник. Было бы заманчиво видеть в нем второго тобольского поэта, но их инициалы различны: поэт, печатавшийся в «Литературных прибавлениях к “Русскому инвалиду”» подписывался И. (а не В.) Нагибин. Но все же это случайное упоминание очень важно: оно свидетельствует о существовании в Тобольске в начале тридцатых годов какой-то культурной семьи Нагибиных, принадлежащих к местному чиновничеству*.

Что же еще можно добавить к этому пассажиру об интересующей нас личности? К сожалению, совсем немного. В «Материалах для сибирского словаря писателей» Н. В. Здобнова читаем: «Нагибин, Иван Андреевич, сибирский поэт. Сотр<удник> “Лит<ературных> прил<ожений> к Русскому Инвалиду” и “Лит<ературной> Газеты” (1830—1840)**».

* Азадовский М. К. Очерки литературы и культуры в Сибири. — [Иркутск]: Иркут. обл. изд-во, 1947. — Вып. 1. — С. 154—155.

** Здобнов Н. В. Материалы для сибирского словаря писателей (предварительный список поэтов, беллетристов, драматургов и критиков). — М.: Приложение к журналу «Северная Азия», 1927. — С. 37.

Просматривая газету «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”», я нашла три произведения поэта: стихотворение «Гроза (И. Л. Ч...ву)» с подписью «Иван Нагибин. Тобольск. 1 мая 1832» (1832, № 52, 29 июня, с. 414—415), поэму «Алтын-Аргинак» с подписью «Иван Нагибин. Тобольск. 17 марта 1833» (1833, № 42, 27 мая, с. 333—335) и стихотворение «Звезда Вифлеема» с подписью «И. Нагибин. Тобольск. 1832» (1834, № 1, 27 июня, с. 408). Как показывает датировка стихотворений, творческий период Нагибина был краток: 1832—1833 гг. Попытка найти стихи этого поэта в другом издании — «Литературной газете» оказалась безуспешной. Столь же безуспешными были также и поиски биографических фактов в архивах Тобольска.

А теперь обратимся к поэме Ивана Нагибина «Алтын-Аргинак» и сразу же отметим, что текст этого произведения неизвестен — возможно, по причине своей малой доступности — не только обычным читателям, но и литературоведам. Газета «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”» давно уже входит в число раритетных изданий. Безусловно, интересно было бы узнать, сохранились ли экземпляры этой газеты в библиотеках Сибири. Но как бы то ни было, мы видим, что историки литературы ограничиваются лишь упоминанием названия этой поэмы и ссылкой на «Литературные прибавления» в качестве источника ее текста. Так, в очень обстоятельных в целом и значимых для сибиреведов работах Ю. С. Постнова Нагибин называется только в общем перечне тобольских поэтов наряду с И. Черкасовым, Речкиным, И. Веттером, Е. Милькеевым, а из текста его поэмы не приводится ни одной цитаты*.

А между тем, как нам кажется, поэма И. Нагибина сохраняет свою историко-художественную ценность и заслуживает интереса со стороны современных ценителей русской поэзии о Сибири. Это произведение дополняет наше представление о литературных образцах, в которых присутствовала тема вхождения Сибири в русское государство. Тема эта была особенно значимой для отечественного романтизма 1830-х гг. и развивалась во всем разнообразии драматических обертонов в жанре поэмы. В 1837 г. П. П. Ершов создает поэму «Сузге», напечатанную через год в журнале «Современник», а поэма «Абалак» Е. Л. Милькеева появляется на страницах того же «Современника» в 1841 г. Первым же в этом ряду по времени оказывается произведение И. Нагибина.

Основным источником названия и сюжета «Алтын-Аргинака» стала «История Сибири» Г. Миллера. На этот труд поэт ссылается в двух своих примечаниях к поэме. Г. Миллер пишет о названии возвышенности, на которой в будущем появится русский город Тобольск, следующее: «Высокий мыс, где ныне город Тоболеск, выкидывал из себя золотые и серебряные искры, при чем упомянуто, что оной мыс тогда Алтын Аргинак назван»**. Для Миллера, в свою очередь, была значима «История Сибир-

* Постнов Ю. С. Русская литература Сибири первой половины XIX века. — Новосибирск: Изд-во «Наука». Сиб. отд-ние, 1970. — С. 277; Постнов Ю. С. Поэзия романтизма в Сибири // Очерки русской литературы Сибири. — Т. 1. Дореволюционный период. — Новосибирск: Изд-во «Наука». Сиб. отд-ние, 1982. — С. 235.

** Миллер Г. Ф. Описание Сибирского Царства и всех произшедших в нем дел, от начала, а особливо от покорения его Российской Державе по сии времена. Книга первая. — СПб., 1750. — С. 48—49.

ская» С. Ремезова, где есть эпизод с описанием причудливых видений на крутом берегу Иртыша: «При Маметеве сыне царе Сенбахте і видешася в летное время воды и земля, и травы окроровлены и черны, на градском же месте по горе и долу искры златы и сребрены блестящеся. Место жь то, идежь ныне град, мыс тои зовом Алтынъ Яргинакъ»^{*}.

Это удивительное атмосферное явление в поверьях сибирских народов рассматривалось как своего рода предвестие крушения татарского царства. В поэме Нагибина данный эпизод претворяется в яркую и грозную картину мистических красочных переливов на небесном своде полуночной порой:

Над Иртышом высокий мыс
Громадой глинистой повис,
Венчанный соснами. Преданье
Чудесное повествованье
О нем, как таинство, хранит.
В часы полуночи глубокой
Видали часто, как высоко
Пурпурный водомет горит
Над ним; то искры золотые
Летят, как брызги огневые —
То страшно вспыхнет свод небес.

Все герои поэмы имеют исторических прототипов. Главными персонажами, представленными в отчетливом противопоставлении, являются татарский хан Сейдяк и русский воевода Чулков. Хан Сейдяк знает тайну: на высоком приртышском мысе должен появиться новый город, основанный русскими, а прежний — Искер, обречен на разрушение и забвение. Эта тайна открылась ему через злых духов — шайтанов. Обремененный столь трагическим знанием, хан Сейдяк тем не менее решает сопротивляться неизбежному, дать отпор «угрозам судьбы». Он принимает приглашение на пир со стороны воеводы Чулкова. Это пиршество, по мотивировке поэта, устроено воеводой в знак дружеского расположения к татарам, но Сейдяк не может скрыть свою тревогу, он не верит в искренность русских, его мучают мысли о скорой гибели родной страны. Чулков, чувствуя состояние своего гостя, начинает обвинять его в измене. Следствием этого становится ссора с последующей битвой, разгромом татар, пленением хана и захватом Искера.

Все эти события, как показывает автор поэмы, имеют провиденциальный смысл. Они исторически неизбежны. И поэт рисует в «Алтын-Аргинаке» картину настоящего Сибири, которая переживает расцвет «под сенью русского орла». На земле, обильно политой кровью, теперь воцарились мир и благоденствие. И все же в заключительных строках поэмы звучат интонации печали, элегического раздумья о судьбе некогда сильного города Искера и его обитателей, о былой славе этих мест, оставшейся только в народной памяти.

«Алтын-Аргинак» — небольшое по объему произведение. Это десять строфоидов с разным числом строк, в которых отражен лишь один эпизод сибирской истории, но этот эпизод — звено исторической цепи, начало и конец которой уходят в вечность.

^{*} Ремезов С. У. История Сибирская // Сибирские летописи. — СПб., 1907. — С. 319.

Иван НАГИБИН

АЛТЫН-АРГИНАК*

I.

Погиб Кучум, погиб Ермак;
 Умолкнул шум тревоги бранной
В Сибири дикой и туманной;
 Тураном** правит хан Сейдяк.
Вогул, татарин и остяк
 Забыли кары злой години.
Меж тем в Сибирь идут дружины,
 По воле русского царя,
Скончатъ дела богатыря, —
 Идут герои-воеводы.
От блеска мстительных мечей,
 Среди лесов, среди степей,
Замолкнет дикий крик свободы.

II.

Над Иртышом высокий мыс
Громадой глинистой повис,
 Венчаный соснами. Преданье
Чудесное повествованье
 О нем, как таинство, хранит.
В часы полуночи глубокой
 Видали часто, как высоко
Пурпурный водомет горит
 Над ним; то искры золотые
Летят, как брызги огневые —
 То страшно вспыхнет свод небес.

* Высокий мыс, на котором стоит город Тобольск, от татар Алтын-Аргинак назван. — Миллер. Ист. Сибири. — Прим. И. Нагибина.

** Все места, лежащие около рек: Иртыша, Тобола и Туры назывались Тураном. — Миллер. Ист. Сибири. — Прим. И. Нагибина.



Но кто ж причину сих чудес
Постиг? — Молилися шаманы,
И об Алтыне-Аргинак
Им тайну вверили шайтаны!.. —
Скрыл от народа Хан Сейдяк
Ту тайну, гордый и угрюмый,
Томимый тяжестию думы.

III.

Промчались дни. На небе сером
Чернеет осень в недрах туч;
Льет дождь, и редко солнца луч
Осветит пламенем веселым
Пустую степь, угрюмый бор;
И безотрадно видит взор
Повсюду пелену тумана;
Все дремлет: тусклая река,
Окрестность, даль и облака. —
И мчится раннею порою
В Искер с известием остяк,
Что на Алтыне-Аргинак
Он видел русских. И грозою
Та весть промчалась над страной,
И страхом гибели и зла
Покой Турана потрясла.
Но что ж? не видно опасенья
Ни в грозном взоре, ни в словах
Младого хана. Он с презреньем
О храбрых говорит врагах;
Но в сердце, року непокорном,
Печали яд глубоко скрыт.
Так молния тревожно спит
За пеленою тучи черной.

IV.

Туман на небо пал седой;
Ложатся инеем морозы;
Иртыш тяжелою волной
Уныло плещет в берег свой.
Природы и судьбы угрозы
Презрел беспечно хан младой:

Он смело едет на ловитву
 С толпой богатырей, князей —
 Своих рабов, своих друзей
 И в тишину и в бурю битвы, —
 Забыв о близости врага;
 Рассеет грусть он с ветром в поле.
 Играют кони в бурной воле;
 Гремят призывные рога;
 Беркут, добычи близкой жадный,
 Крылами бьется; хищный волк,
 Заслыша смерть, в лесу замолк, —
 И радость носится отрадно
 В толпе, пестреющей нарядно.
 Но молча едет Хан Сейдяк,
 И смотрит гордо и сурово
 На верх Алтына-Аргинак,
 На стан отважного Чулкова.

V.

На полдне знойное светило
 Сквозь завес мерзлых облаков
 Лучом слабеющим светило;
 Дол ясен; с вянущих лугов
 Сбежала мгла, и сень лесов
 Не серебрит кудрявый иней;
 Светлеет в пышной красоте
 Свод неба, будто яхонт синий,
 Но холод дышит в высоте. —
 Сейдяк, ловитвой утомленный,
 В Искер пустил уже коней
 С дружиной верною своей,
 Невнятной думою смущенный.
 Кто ж мчится на коне лихом?
 Не вестник ли тревоги бранной?
 Иль вестник тишины желанной? —
 Вот ближе он; блестит копьем —
 На нем платок взвевает белый.
 То вестник мира — юный, смелый,
 Кипящий жизнью казак.
 Он ближе, к Хану — и, смущенный
 Нежданной вестью, Хан Сейдяк
 С охотой принял приглашенье
 Врага могучего на пир.



VI.

С главой сибирского народа
Пирует русский воевода:
Они друзья, меж ними мир.
И шумно чаша круговая
Обходит радостных гостей:
За счастье пьют родного края,
За славу бранную друзей;
Приязни льются восклицанья.
Все веселы; один, в молчаньи,
Не пьет угрюмый хан вина:
В нем дух терзает подозренье,
В тревоге ум: все мысль одна —
Родной страны порабощенье.
И, огорченный, с места встал
Чулков надменный и суровый —
«Сейдяк! где дружба? — Я узнал
Давно измены хитрой ковы;
Напрасно злобу ты скрывал
Личиной мрачности притворной:
Змея слышна и ночью черной» —
С презреньем Хану он сказал. —
Сверкнули страшным блеском очи
И стали вдруг темнее ночи;
В нем страсти буйные кипят. —
И Хан вспылал кровавым мщеньем,
Ему не вынести поношенья. —
Как буря, встал; в руке булат.
Трепещет бешенством дружина —
И битвы грозная картина
Кипит: рокошет звук мечей.
Их блеск и грозный блеск очей,
Казались молнии лучами;
Когда, разрезав мрак ночной,
Она играет с облаками. —
Кровь льется; разгорелся бой;
И вторит отзыв холмов дикий
Вопль смерти, яростные крики.
Но где же Хан? Бегут толпой
В Искер разбитые татары.
Не столько грохот грома ярый
Пугает робкие стада,
Как этот знак небесной кары
Туран потряс. Беда, беда

Нежданной грянула грозою
 Над обессиленной страной.

VII.

Но где же Хан? Уже ли узы
 В темнице мрачной он влачит,
 Иль в битве русскими убит? —
 О, нет! На берега Яузы
 Толпа врагов его стремится.
 Он грустен: сосен вид печальный,
 И в мраке ночи крик совы —
 Родной страны привет прощальный —
 Терзают сердце. Где же вы,
 Дни счастья, радости, свободы?
 В красе ли чуждья природы?
 В стенах ли царственной Москвы?

VIII.

Рассвет. Восток зарей алеет;
 Редает ночи пелена;
 Искер проснулся ото сна;
 На башне знамя с бурей веет —
 Не рог луны на знаме том:
 На нем блестит любимец славы,
 России герб, орел двуглавый. —
 Но тихо в городе пустом:
 Бежали старцы, дети, жены,
 Оставляя отческий свой кров,
 Страшась свирепости врагов;
 И русский вождь в пустые стены
 Вошел с дружиной удалцов.
 Но скоро зов его приветный,
 Радушье храбрых казаков,
 Собрали робких беглецов,
 И полюбили неприметно
 Они враждебных как друзей.

IX.

Природы в простоте невинной,
 Меж городов, в глуши степей,
 Орды кочуют дикарей.
 Прекрасна, так как цвет пустынной,

Сибирь роскошно расцвела
Под сенью русского орла.

Х.

Но где Искер, краса Турана?
Забвенья мрак его покрыл!
Вокруг разрушенных могил
Сибирка ропщет влагой рьяной
О тленной гордости земной.
Раз в год, условною порой,
Храня в душе завет преданий,
Татары лишь туда толпой
Приходят с данью слез, рыданий. —
Но не покрыл забвенья мрак
Утес Алгына-Аргинак:
На нем, глашатай бранной славы,
Воздвигся город; где Сейдяк
Стал пленным русских в пир кровавый,
Там иерархов дом стоит. —
Все о прошедшем говорит,
О бурных днях завоеваний,
Все будит цепь воспоминаний,
Как отзыв вековых могил,
В том городе. Его волною
Иртыш задумчивый обвил,
Блестя серебряной дугою.

Иван Нагибин

17-е марта 1833. Тобольск.

(Печатается по: «Литературные прибавления к «Русскому Инвалиду»». — 1833, № 42, 27 мая. — С. 333—335.)



Лариса ПОДИСТОВА

РОЖДЕНИЕ СИБИРСКОЙ ЛЕГЕНДЫ

*К 75-летию Государственного академического
Сибирского русского народного хора*

О черк первый

75 лет — это и для отдельного человека возраст немалый, а для коллектива, пережившего и трудности послевоенного времени, и перестройку, и мрачные 90-е, и последующее засилье иностранщины, — тем более. Невольно задаешься вопросом: в чем секрет такой живучести, стойкости, крепости характера? Ведь Сибирский хор не только сохранился как коллектив, но и приобрел мировую известность, и при этом не изменил своей изначальной миссии — сохранять культурное наследие русского народа, показывать и развивать его живую связь с современностью, прокладывая для этого наследия путь к сердцу нынешнего слушателя, чьи вкусы складывались в совсем других условиях. Попробуй-ка тронь сегодняшнего юношу или подростка, например, советскими шлягерами, когда у него в наушниках сплошной рок или рэп! Но ведь трогают. На концертах Сибирского хора много молодежи, люди приходят компаниями, парами, семьями — залы всегда полны. И, может быть, именно это гораздо больше говорит о народном признании, о нужности того, что делает этот коллектив, чем все конкурсные и правительственные награды.

Наград, впрочем, тоже немало. Интерес к народному искусству в последние годы растет, сейчас хор народной песни, ансамбль русской пляски или оркестр народных инструментов можно найти, наверное, в каждом Доме культуры. Есть они и на эстраде, и на телевидении. Но таких, чей профессионализм позволил бы им стать визитной карточкой региона или страны, по-прежнему можно пересчитать по пальцам. Сибиряки могут гордиться: в числе этих немногих — Государственный академический Сибирский русский народный хор.

Наш журнал открывает серию публикаций об этом замечательном коллективе. И свой рассказ мы начнем с того, как в Новосибирске, который вместе со всей страной переносил тяготы войны, в 1944 году появился новый музыкальный ансамбль...

Часть 1. О дне Победы, женском ансамбле и костюмном вопросе

Весной 1944 года исход Второй мировой уже был ясен и учреждения, связанные с искусством, творческие коллективы, эвакуированные в начале войны в Новосибирск из Москвы и Ленинграда, стали готовиться к реэвакуации.



Напомним, что в нашем городе хранились сокровища Третьяковской галереи, Музея стран Востока, Музея изобразительных искусств им. Пушкина, Екатерининского дворца и некоторых других музеев, а также сюда были временно перемещены Ленинградский драматический театр им. Пушкина, Белорусский еврейский театр, театр Образцова, Ленинградская государственная филармония. Театры и филармония продолжали функционировать, их влияние на культурную жизнь Новосибирска в то время трудно переоценить. Но теперь они возвращались домой, и городу требовалось воссоздать свои учреждения культуры, которые были закрыты еще в начале войны.

Обком РКП(б) 22 марта 1944 года принимает постановление «О размещении театров и концертных организаций города Новосибирска и Новосибирской области», в котором предписано «создать в городе Новосибирске на площадке клуба имени Сталина и летнего театра имени Сталина филармонию», в которую входит «женский ансамбль песни и пляски». Почему женский, понятно: все мужчины на фронте. Чуть позже его назовут Сибирским ансамблем песни и пляски. Набор в него открылся в августе.

Основой ансамбля стали восемнадцать человек, переведенные в филармонию из Новосибирского облрадиокомитета: хоровая группа под руководством дирижера-хормейстера Николая Петровича Королькова. К ним присоединились танцевальная группа Дома культуры им. К. Цеткин и отдельные участники самодеятельных коллективов. Работникам филармонии полагался продовольственный паек, поэтому желающих хватало, но при этом далеко не все они, даже обладавшие нужными данными, были знакомы с нотной грамотой и основами мастерства. Прослушивания и комплектование нового коллектива шли всю зиму. Первыми наставниками и руководителями, кроме Н. П. Королькова, стали хормейстер А. П. Батурин, балетмейстеры В. В. Ювачёва, И. И. Россинская, концертмейстер В. Н. Лебедев.

Постоянной площадки для репетиций у Сибирского ансамбля песни и пляски не было, приходилось кочевать: сегодня — в клубе «Транспортник», завтра — в клубе имени Сталина (ныне это ДК имени Октябрьской революции), потом — в ДК имени Клары Цеткин... Но, несмотря на все трудности, коллектив был собран и подготовлено первое выступление, состоявшееся 9 мая 1945 года, в день Победы. По одной версии, первый концерт прошел в Доме Красной армии (ныне Дом офицеров). По другой — 9 мая коллективом было дано два концерта, причем первый — на сцене Новосибирского оперного, где уже были смонтированы декорации к опере М. И. Глинки «Иван Сусанин», премьера которой состоялась тремя днями позже на торжественном открытии театра. На концерте декорации завесили тканью и плащ-палатками, на этом фоне и выступали артисты Сибирского ансамбля песни и пляски.

Дату первого выхода на большую сцену — 9 мая 1945 года — и принято считать творческим днем рождения Государственного академического Сибирского русского народного хора.

На Сибирский ансамбль огромное влияние оказала личность его руководителя Н. П. Королькова. Николай Петрович, бухгалтер по профессии, был знатоком сибирского фольклора, чрезвычайно высоко ценил русское национальное искусство, страстно любил народную песню. В его характеристике 1941 года от Дома народного творчества сказано: «Музыкального образования не имеет. Практик. Работает с самодеятельностью 22 года». Этот практик-самоучка был прекрасным музыкантом и вырастил целую плеяду сибирских певцов.

К лету 1945 года коллектив насчитывал уже пятьдесят человек и регулярно выступал. В его репертуаре были старинные русские, сибирские народные песни, танцы, игры. «Александровский централ», «Ой ты, темная ноченька...», «Колечко мое позолоченное», «Ельничек да березничек», «Скакал казак через долину» — эти песни звучали в исполнении ансамбля уже в те годы. В обязательном порядке в программу включались произведения советских авторов, в первую очередь сибирских композиторов. С первых же дней исполняются песни А. П. Новикова «Ехали солдаты», «Ты не птица белокрылая», «Сибирские девочки страдания», «Хороша ты, рожь густая...» — они впоследствии вошли в «золотой фонд» Сибирского хора.

В сохранившемся «Журнале регистрации концертов Сибирского народного хора за 1945—1950 годы» перечислены площадки выступлений: клубы, кинотеатры, госпитали, лектории, колхозы, совхозы, воинские части, даже тюрьма и клуб Сиблага. Уже в январе 1946 года в списке значатся двадцать два концерта. Дальше их число постоянно растёт.

С первых же месяцев существования ансамбль гастролировал по Новосибирской области, а с июня 1946 года уже начинает регулярно выезжать и за ее пределы: в Камень-на-Оби, Называевск, Ишим, Тюмень, Ялуторовск... На гастроли артисты возили с собой не только сценические костюмы и музыкальные инструменты, но и чайники, посуду, постельное белье и матрасы. Во многих селах тогда еще не было даже клубов, не говоря уже о домах культуры. Летние концерты можно было проводить прямо на улице или на полевом стане, а вот зимой приходилось выступать в холодных помещениях, мало приспособленных для искусства. Здесь же размещались и на ночлег.

Выезды в село привлекали новых исполнителей. Артисты местной самодеятельности, познакомившись с Сибирским хором, загорались желанием там работать. Так сюда были рекомендованы солисты Яденко, Анищенко из Ко-



Бригада солистов Сибирского народного хора. 1947



Зрители перед концертом на открытой площадке. Новосибирская область. 1955

ченевского района, Кочура из Венгеровского района, Славина из Тогучинского района, а в 1947 году после поездки по городам Кузбасса коллектив пополнился столь необходимыми мужскими голосами.

Приходили и по объявлению о том, что требуются артисты или музыканты. В конце 1940-х так пришел работать в Сибирский хор только что отслуживший на Тихоокеанском флоте Николай Кудрин — будущий известный композитор, автор песен «Хлеб всему голова», «Перепелка», «Деревня моя», «Сапожки русские», «Певуньи России», заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств России. Его произведения уже много лет остаются в репертуаре коллектива и других исполнителей народного жанра.

В апреле 1951 года хор был впервые приглашен в Москву на Декаду сибирского искусства в составе группы мастеров искусств Новосибирска. Первый творческий отчет новосибирцев прошел 19 апреля в Концертном зале имени Чайковского. Газета «Советское искусство» отмечала, что сибиряки показали «высокую музыкальную и сценическую культуру» и что «коллектив отнюдь не копирует какой-либо из широко известных хоров, а стремится создать на основе народно-русской исполнительской манеры собственный стиль исполнения».

Десять представлений в столице, а дальше Ленинград, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Азербайджан, Северный Кавказ, Украина — всего более ста двадцати концертов. Голос Сибирского народного хора слышит вся страна, тем более что тогда же, в 1951-м, сделана первая запись его выступления на Центральном телевидении.

После Декады сибирского искусства в Москве слово «народный» прочно закрепилось в официальном имени коллектива. Первоначально оно звучало в прессе, и не только как направление репертуара, но и как знак признания хора народом. В то время это считалось высшей оценкой и значило очень много во всех смыслах — профессиональном, гастрольном, материальном. Слово «сибир-

ский» также было не просто обозначением географии: песни для репертуара собирались в фольклорных экспедициях по деревням и селам Сибири. Много, в частности, было записано у известной песенницы Аграфены Максимовны Оленичевой.

Казалось бы, успех коллектива, завоеванная им всенародная любовь — надежная защита от любых политических или идеологических нападков. Но... В июле 1953 года, после триумфального возвращения хора с гастролей по Средней Азии, приказом Областного управления культуры Корольков освобождается от работы в хоре, якобы по собственному желанию. В добровольный уход Николая Петровича никто из тех, кто его знал, не поверил. Скорее всего, поводом стало «неблагонадежное» прошлое Королькова: он происходил из семьи священнослужителей, учился в Томской духовной семинарии и был регентом церковного хора в городе Камень-на-Оби. Видимо, «наверху» решили, что такой человек не может искренне нести в массы советскую идеологию.

На некоторое время обязанности сначала директора, а потом и художественного руководителя Сибирского хора были возложены на Г. С. Максимова, руководителя Карело-Финского государственного ансамбля «Кантеле». В ноябре 1953 года Григорий Сергеевич вывез коллектив на трехмесячные гастроли по городам Северо-Запада СССР. В Минске, Вильнюсе, Таллине, Ленинграде, Петрозаводске сибиряками было дано шестьдесят концертов, многие из которых — перед моряками Балтийского и Северного флотов. Хормейстером тогда работала Валентина Васильевна Исупова, руководителями танцевальной группы — лауреат двух Сталинских премий, заслуженный артист РСФСР Василий Иванович Вайнонен и заслуженная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Надежда Сергеевна Надеждина.

Подводя итоги гастролей, помимо успехов Г. С. Максимов отмечал и проблемы: бедность партитуры песен, недостаточность по жанрам, крайнюю необходимость оркестровой группы, бедность и нескромность костюмов (по



Выступление хора в парке им. Сталина. Финал пляски «Подгорная». 1951

советским нормам костюмы полагалось менять не чаще, чем раз в пять лет, и при напряженном графике гастролей и выступлений они быстро теряли зрелищность). Одной из главных трудностей худрук считал отсутствие репетиционного зала, отчего была невозможна систематическая учебная, творческая работа и «дальнейшая профессионализация хора».

В мае 1954 года художественным руководителем Сибирского народного хора становится Валентин Сергеевич Левашов. С его приходом меняется подход к творческому процессу, обновляются и коллектив, и репертуар. Горячо влюбленный в народное творчество, Левашов заложил в хоре прекрасные традиции, определив главное направление — быть верным естественному звучанию народной песни.

К работе активно привлекались выпускники Московской, Ленинградской, Киевской консерваторий, а также молодежь из коллективов художественной самодеятельности. Главным хормейстером становится выпускница института имени Гнесиных Галина Владимировна Фуфаева, ставшая впоследствии заслуженной артисткой РСФСР, балетмейстером — лауреат Сталинской премии Леонид Иванович Гудин. В разное время с коллективом также работают композитор Валентин Александрович Лаптев (музыкальный руководитель в 1957—1959 годах) и заслуженная артистка СССР, руководитель ансамбля «Березка» Надежда Сергеевна Надеждина (балетмейстер), прекрасные хореографы народных танцев Яков Абрамович Коломейский и Борис Николаевич Бурмакин, создавшие немало самобытных танцевальных постановок, которые и сегодня исполняются в концертных программах коллектива.

При Левашове стали обновляться сценические костюмы. Коллекции создавались по эскизам художника новосибирского театра оперы и балета Ивана Васильевича Севастьянова.

Особенно строго новый худрук относился к выстраиванию программы. В нее принципиально не включались песни, уже исполняемые другими коллек-



Гастроли на целине. 1955



Сводный хор сельской художественной самодеятельности в театре «Красный факел» на заключительном концерте смотра художественной самодеятельности Новосибирской области. Руководитель Н. П. Корольков. 1952

тивами. За новыми произведениями Левашов обратился в Сибирское отделение Союза композиторов, которое тогда возглавлял народный артист РСФСР Андрей Порфирьевич Новиков. И лучшие песни Андрея Новикова, Валентина Левашова, Федора Маслова, Алексея Копосова, Александра Абрамского прочно вошли в репертуар Сибирского хора.

В середине 1954 года коллектив наконец-то получает собственное репетиционное помещение — в историческом здании на улице Октябрьской, 9, а также автомобиль — полуторку «ГАЗ-АА», а позже и «ГАЗ-ММ». Жизнь налаживается. Впереди у Сибирского народного хора — долгий, яркий путь...

Часть 2. О жизни в плацкарте, китайском языке и сибирской харизме

Время безжалостно. Никого из тех, кто лично застал самое рождение Сибирского хора, уже нет в живых. В коллективе сегодня много молодежи: двадцать, двадцать пять, тридцать лет... Но есть и ветераны, их воспоминания драгоценны. Знакомясь с участниками нашего сегодняшнего разговора, я быстро понимаю, что оказалась в звездной компании: все трое — заслуженные артисты РСФСР, лауреаты Государственной премии Новосибирской области, отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»... Это самые крупные знаки отличия, а ведь есть и другие.

Александр Матвеевич Поспелов сейчас на пенсии. Сибирскому хору он посвятил сорок восемь лет жизни.

— Немного не дотянул до пятидесяти, — смеется он. — Уж как меня уговаривали поработать еще! Но здоровье не дает два часа концерта на сцене отстоять...



Заслуженный артист РСФСР Александр Матвеевич Поспелов

В Сибирский хор Александр Матвеевич пришел в 1964 году из заводской самодеятельности: занимался в народном хоре Томского электролампового завода, прошел там серьезную школу народного творчества. В новом коллективе талантливому юноше понравилось. И все бы хорошо, когда бы не финансовый вопрос.

— Если бы не любовь к народному искусству, мы бы здесь, наверное, не задержались, — признается Александр Матвеевич. — Особенно когда были молодые. Потому что работая штукатуром-маляром я получал по двести, по триста рублей в месяц. А когда пришел в хор, мне сказали: «Оклад — семьдесят пять рублей». «Сколько?! — говорю. — И как на это жить-то?» Я к тому времени уже женился, надо было семью кормить. В Томском музыкальном училище заочно учился... Но не окончил, потому как на сессии меня не отпускали: или работай как положено, или увольняйся и учись. Тогда с этим строго было. Лене вон вообще сказали: или рожай, или работай...

Елена Васильевна Пономарева поет в Сибирском хоре уже почти пятьдесят лет. О своем пути вспоминает с удовольствием, хотя трудностей хватало:

— Меня сюда позвал Виктор Григорьевич Захарченко*. Он был хормейстер Сибирского хора и, как многие хормейстеры, подрабатывал по другим клубам и дворцам культуры. Как раз в это время он работал с народным хором в ДК «Прогресс». А я туда на танцы пришла с подружкой. Я, кстати, по образованию технолог по приготовлению пищи, окончила техникум общественного питания. О певческой карьере не думала, хотя все время пела. А тут пришли мы, я слышу — поют. И подруга мне: «Иди, пусть тебя послушают!» Я подошла к Захарченко и говорю: «А можно я спою?» — «Ну спойте». И я как запела «Вниз по Волге-реке»... Он: «Ого! А вы где учились петь?» — «Да нигде». — «Да вы что! А хотите в Сибирский хор?» Я тогда понятия не имела,

* В. Г. Захарченко — известный собиратель песенного фольклора, композитор, автор песен, обработок народных песен. С 1968 по 1974 г. был главным хормейстером Сибирского народного хора.



**Заслуженная артистка РСФСР
Елена Васильевна Пономарева**

что за Сибирский хор такой. Я в основном пела эстраду и джаз. Говорю: «Ну не знаю». — «Подумайте. Мы сейчас уезжаем по районам. Когда приедем, сделаем вам вызов». И действительно, прихожу однажды домой, и мне мама говорит: «Тебе бумажка пришла, там какой-то Сибирский хор...» На бумажке адрес: Октябрьская, 9. Я туда пошла. Прослушивание проходило в три тура, но меня взяли сразу. Ну и пошло-поехало.

Вышла замуж опять же в Сибирском хоре, муж мой здесь танцевал. Родила двоих детей. С обоими я в общей сложности сидела в декрете один год. Во второй раз я в Москве солировала. Накинула на живот платок, чтобы беременность была не так заметна, отпела — и уехала домой рожать. Родила — и почти тут же вышла на работу. Хорошо, мои папа с мамой, царство им небесное, мне помогали, сестра много моими детьми занималась, особенно сыном...

Мало кто из нас, зрителей, задумывается, какой самоотдачи требует творческая работа, чем приходится жертвовать артистам, чтобы развивать свой талант. Мы-то думаем, что их жизнь — это цветы, оvationи, гастролы...

— Были гастролы, а как же! — соглашается Александр Матвеевич. — География наших тогдашних поездок — по всему Союзу.

— Мы тогда дома хорошо если месяц в году проводили, — Елена Васильевна добавляет бытовые подробности. — Ну вот отпуск у каждого был, и все. Остальное время ты находился в командировке. Весной уезжал и только к зиме возвращался. Нам из дому посылками высылали вещи — зимние, летние, а мы несезонную одежду так же посылками отправляли обратно.

Александр Матвеевич продолжает:

— Жили мы, бывало, по три с половиной месяца в вагонах: в купейном — семейные, а молодежь — в плацкартном. И боковушки, и все купе заняты... Простынями занавешивались — и жили. Номера в гостиницах начали давать лишь в семидесятые годы. И то только тем, у кого было звание заслуженных артистов. Они в вагоне оставляли свои вещи и уходили в гостиницу.

— Если вспомнить, как наши вагоны на станциях стояли, то это было что-то невероятное! — Елена Васильевна делает «страшное» лицо, но при этом смеется. — Помню, были мы в Москве. Нас с концерта привезут: «На Третьей Москве* ваши вагоны». Мы бегом туда, а там: «Ваши вагоны перетянули». Вообще неизвестно куда! Мы могли полночи бегать и искать свое «жилье».

* Москва III — сейчас технический парк железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Ярославская, ранее — самостоятельная станция.

Третий участник нашего разговора — Лариса Геннадьевна Григорьева рассказывает о себе:

— Я пришла в Сибирский хор в конце 1983 года, 3 января 1984-го первый раз вышла на работу. Я, вообще-то, из Барнаула. Училась в Барнаульском музыкальном училище, но не окончила его. До сих пор понять не могу, как я оказалась в Новосибирске. Хотя это было, наверное, предсказуемо: здесь ближайший к нам хор. Прослушивал меня, кстати, Александр Матвеевич Поспелов. Когда я только пришла, то вообще не предполагала, что смогу подняться до какого-то серьезного профессионального уровня. У меня была заниженная самооценка, и вообще я по натуре некоммуникабельна. Сама удивляюсь, как это я задержалась тут до сих пор! *(Смеется.)* Думаю, дело в людях, с которыми посчастливилось работать. Александр Матвеевич и Елена Васильевна — это для меня в то время были просто недостижимые звезды! И до сих пор, кстати, такими остаются. Это настоящие творческие личности, с харизмой. Я могу с ними и вот так, запросто, и в то же время у меня до сих пор перед ними пиетет.

Моему сыну скоро тридцать восемь лет, а я работаю в Сибирском хоре тридцать пять. И тоже большое спасибо моим родителям и сестре, что они вырастили моего сына. Семья — это такая важная жизненная опора! И еще любовь к народной культуре, конечно.

И ведь эта любовь передается по наследству. У нас дети — я не знаю других таких, чтобы так же любили песню, так же следили за творчеством нашего хора. У нас есть пластинка, записанная в 1986 году в Ленинграде — с нашими «фирменными» песнями. Так наши дети и внуки ее до сих пор слушают. Когда мы недавно выступали в Москве, была возможность смотреть прямую трансляцию с концерта. Наши дети уже давно выросли и разъехались по стране, мои вот в Петербурге живут, — но они смотрели ее и так за нас болели! Внук мой учится во втором классе. Я ему потом говорю: «Ну, там в одном месте было немножко не то...» А он: «На мой взгляд, все отлично, я никаких недостатков не нашел». Чувствуете, какая поддержка?



Заслуженная артистка РСФСР Лариса Геннадьевна Григорьева

Мои собеседники с удовольствием вспоминают руководителей хора, с которыми им довелось работать: Владимира Павловича Чиркова, Андрея Порфирьевича Новикова, Вячеслава Викторовича Мочалова и других мастеров.

О Мочалове, который руководил коллективом двадцать семь лет, Елена Васильевна Пономарева рассказывает:

— Он с нами на сцене стоял, дирижировал. Выходишь выступать, он дирижирует, ты солируешь — и он начинает петь с тобой вместе! Я уже ему говорю: «Вячеслав Викторович, я вас очень прошу, ну не пойте!» — «Не могу удержаться!» — «Но вы же меня отвлекаете!» А еще помню случай. У меня новая песня, и мне надо в оперном театре солировать. Там полный зал, сидит большое начальство. Уже выходить из-за кулис, а я слова забыла! Гляжу, стоит Надя, костюмер. Я к ней: «Надь, какие слова?» — «Я не знаю». И правда, откуда Надя-то может знать? Иду на сцену, подхожу к Мочалову и говорю: «Вячеслав Викторович, вообще не помню ни слова!» Он мне в ответ: «И я тоже...» Я поворачиваюсь к хору и вижу по лицам, что никто не помнит! Заиграла музыка, и вдруг мне в голову как будто кто первую строчку втолкнул! И дальше все уже само пошло...

Забавных случаев за долгую артистическую карьеру накопилось немало, вспоминаются они теперь с удовольствием. Александр Матвеевич смеется:

— Гастролировали мы по Алтайскому краю. Наши костюмы за нами возили в металлических кофрах. И вот машина где-то застряла, а нас уже привезли в клуб. Там было какое-то большое районное сельскохозяйственное заседание. Праздник, народищу навалом, все ждут концерта. А у нас костюмов нет! Мы все просто в летнем: девчонки в сарафанчиках, мужчины в легких рубашках, брюках, в сандалиях... Хорошо хоть, шорты тогда не носили. Что делать? Петь в этом еще можно, а как танцевать? Ну, слепили более-менее какие-то танцы, чтобы без трюков, работаем. Музыканты играют, у них-то инструменты с собой. Народ все принимает на ура: мол, поют — и слава богу. А у меня с одной солисткой, с Ниной Павловой, был номер — «Страдания». Выходим мы с ней и начинаем: «Ой, ой ри-ри... Ой, ой ри-ри-ри...» Оркестр играет. Я первый куплет спел, она мне ответила. Второй куплет петь надо, а я слова забыл. Я же еще отвечал за коллектив как администратор, перенервничал. Стою и молчу. Дело доходит до припева, мы с Ниной опять: «Ой, ой ри-ри... Ой, ой ри-ри-ри...» Смотрим вокруг с надеждой: кто слова подскажет. А никто не знает, и все хохочут уже. В зале тоже начинают смеяться. И партнерша моя туда же. Я говорю: «Нина, хоть первое слово шепни!» Слава богу, подсказали из-за кулис. Но тут оркестр снова до припева дошел, и мы опять: «Ой ри-ри-ри...» Ну, тут уже публика просто легла.

Первые заграничные гастроли коллектива — во Францию, в 1974 году. Потом было много других: Монголия, Чехословакия, Испания, Китай... Но первый раз, конечно, запомнился особо.

— Нам за границу ехать, а мы... кто в чем, — рассказывает Александр Матвеевич. — Тогда нас в Москве привезли на склад. И во Франции мы уже вышли из самолета одетые с иголки и с одинаковыми чемоданами из крокодиловой кожи. Все за наши деньги, конечно. Принимали нас во Франции на ура. Примерно за полмесяца мы всю страну объехали — двадцать восемь городов.

— Еще ездили в Монте-Карло, — подхватывает Елена Васильевна. — Дорога там страшная: скалы, обрывы... А мы, конечно, во Франции подарков и вещей накупили — в Советском Союзе же таких не было. И едем с этими чемо-



данами. У нас певец был — Малыгин. На одном особенно крутом повороте он говорит: «Вот сейчас бы еще чуть-чуть вправо — и плакали бы наши вещички!» И ведь не о жизни своей человек подумал...

На мой вопрос, какие номера особенно интересны зарубежным зрителям, Лариса Геннадьевна Григорьева отвечает так:

— С одной стороны, интерес вызывает буквально все, начиная от нашей внешности и костюмов. С другой стороны, за границу сейчас уже не удивишь «калинками-малинками». Туда выезжает столько самодеятельных коллективов! Особенно людям нравятся песни, которые поются пиано-пиано, пианиссимо. Хор, который умеет петь на пиано, — это достижение. При Мочалове это было — пианиссимо, он был хормейстер от Бога. Когда он с нами работал, мы этого не понимали, нам казалось, что у всех так. А время показало, что мы работали с гением. Мы запомнили все его замечания, все нюансы, о которых он говорил. Как можем, стараемся, пока мы еще здесь, сохранять этот уровень и делиться с молодыми, рассказывать им, как это было...

Кстати, наши самые тонкие ценители за рубежом — это китайцы. Они просто влюблены в песни советских композиторов, в наши старые фильмы. В Китае, как ни приедешь, по телевизору идет «Молодая гвардия», «Тихий Дон», «Урюм-река». Они наши песни знают, даже пытаются артикулировать вместе с нами. У них залы громадные, как стадионы. Но только раздаются первые аккорды — сразу слышим аплодисменты. Мы даже специально что-то для них разучивали, чего у нас в репертуаре на тот момент не было: «Ой, цветет калина...», «Там вдали, за рекой...», белогвардейские песни... Бывает даже, мы со сцены для них поем на китайском — а они из зала на русском подпевают.

Меня как-то раз поставили перед фактом: сегодня концерт, надо выучить песню на китайском языке. Нормально, да? Переводчица рядом, Вера: «Ничего, выучим!» Ну, выучили, как могли. Вышла я на сцену, зал многотысячный. Спела по бумажке. А в Китае диалекты настолько разные, что китайцы иногда даже друг друга не понимают. И вот на одном месте — а я же с Верой учила, как она мне сказала, так я и записала, — слышу в зале какой-то звук: кто-то то ли вздохнул, то ли хмыкнул, то ли всхлипнул... Думаю: «Ой, наверное, я что-то очень нецензурное произнесла!» Видимо, на столичном языке это нормально звучит, а в провинции совсем по-другому. Ну, в следующий раз мы уже поехали подготовленные — каждый солист выучил по одной песне на китайском языке, аранжировка нужная была. Вот такие у нас культурные отношения с Китаем!

Когда слышишь название «Сибирский хор», так и подмывает выяснить — а в чем же его сибирскость?

Александр Матвеевич улыбается:

— У нас хударуком два года была Елена Николаевна Кутузова, коренная москвичка. Она как-то раз меня спросила: «Александр Матвеевич, а что такое сибирская песня?» Я говорю: «Это та же самая русская песня — например, тот же самый “Оренбургский платок”, — только исполнена она будет по-сибирски». — «А как это?» — «Ну, вы же слышите звучание хора, звучание солиста, подачу. Вот это и есть сибирский характер. Москвичи так никогда не споют! Пусть это будет спето на высшем уровне, в их понимании, — но не по-сибирски». И еще на тему особого исполнения. В 2007 году мы принимали участие в Международном фестивале народного искусства в КНР. Расположились в каком-

то зале, ждем своего выступления. Кто где: в первом, в десятом, в двадцатом ряду... Некоторые даже прилегли отдохнуть на этих стульях. А коллективов там была масса. Вдруг Николай Иванович Лугин заиграл «Степь да степь кругом». И каждый из наших запел — с того места, где был. Присутствовавшие в зале артисты других коллективов и местный персонал затихли, слушают... Потом грянул гром аплодисментов! И меня такая гордость взяла за нашу сплоченность. А Николай Иванович теперь часто просит: «Спойте как тогда!».

К нашему разговору присоединяется Ирина Федоровна Василевская, начальник PR-отдела концертно-театрального центра «Евразия», где «прописан» Сибирский народный хор:

— У нас очень теплые отношения с другими профессиональными коллективами русского традиционного искусства России. Многие уже выступили на нашей площадке: Омский, Северный, Уральский, Волжский, Оренбургский хоры, хор имени Пятницкого... У нас есть традиция, которую мы называем «братание». По русскому обычаю накрываем большой стол, идет обмен приветствиями, сувенирами. Помню, как приехали уральцы. После концерта — встреча двух коллективов. Приветственные речи сказаны, началось неформальное общение, и в процессе оба хора грянули «Уральскую рябинушку». Я не знаю, как у нас не упали потолки, потому что это была такая мощь! И такая открытость души — это тоже сибирский характер.

В январе этого года коллектив Сибирского хора осуществлял художественное сопровождение официальной делегации Новосибирской области в Республику Беларусь. Первый концерт был в Могилеве. В зале — представители власти, бизнеса, науки. Среди них и те, кто о нас даже никогда и не слышал. И когда такие серьезные, представительные мужчины начинают вытирать слезу из-под очков, слушая, например, «По диким степям Забайкалья» или «Степь да степь кругом», — это ведь тоже показатель. На следующий день они уже пришли на концерт в Минске, и в перерыве после первого отделения слышу разговор. Кто-то делится первыми впечатлениями: «Слушайте, это же что-то невероятное!» — а им с гордостью отвечают: «Считайте, что это был разогрев. Вы еще не знаете, какое будет второе отделение!»

Свой юбилейный сезон коллектив открыл выступлением на площадке Государственного концертного зала имени Чайковского в Москве. Там мне удалось пообщаться с педагогом, заведующей кафедрой сольного и хорового народного пения института имени Гнесиных Мариной Васильевной Медведевой. Она сказала: «Сибирский хор — высокопрофессиональный коллектив. Поверьте, мне есть с чем сравнить». Я спросила: «А как вы считаете, у нас есть свое лицо, свой имидж? Отличается Сибирский хор от других коллективов?» Она ответила: «Я вам точно скажу, что Сибирский хор отличается прежде всего своей сибирской харизмой». То есть сибирский менталитет и харизма существуют, и это уже подтверждено на разных уровнях.

Слова о сибирском характере, менталитете и харизме каждый понимает по-своему. Но наверняка в представлении о них есть и некие общие, обязательные черты: искренность, страстность, широта души и умение даже в самые трудные времена повернуть жизнь праздничной стороной. Сибирский хор обладает этими качествами в полной мере. К его яркому костру тянутся люди, и коллектив дарит им свое тепло — умело, щедро и радостно. По-сибирски.

Анатолий КИРИЛИН

ДАВАЙ УМРЕМ В ЧАРЫШСКОМ!

Путевой очерк

Октябрь 2018 года удивил давно забытым осенним теплом и какой-то особенной для этой поры нежностью в природе... А ведь бывало и раньше!

Родившимся здесь, на Алтае, как, например, я или Иван Жданов, сие помнится, больше, правда, из века прошлого. Но все чаще в последнее время случается иное: пару лет назад зима не дала деревьям даже сбросить листву, пришла неожиданно рано — так и простояли тополя, клены и вязы в серой шуршащей одежке до самой весны...

* * *

...Нас в машине четверо: Наталья Акимова, художник, она же хозяйка автомобиля (настоящий японский джип для путешествий, потому что у художников машина всегда имеет, помимо прочего, еще и особое назначение — везти мольберт, подрамники, теплые вещи; чаще всего, как известно, художники ездят в горы, а там случаются холода и в разгар лета), Лариса Вигандт, главный редактор журналов «Алтай» и «Культура Алтайского края», Иван Жданов, поэт, и я, нечаянный попутчик, — «а поехали, Ваня, чего там!». Наш пункт назначения — Чарышский район, деревня Усть-Тулатинка, родина Ивана.

Этой поездке предшествовала другая, по тому же маршруту, причем совсем недавно состоявшаяся, только тогда народу было намного больше — гости из Москвы, Новосибирска и, конечно же, из Барнаула. Забегая вперед, скажу, что всю дорогу (уже эту, повторную) Иван высказывал недовольство по поводу той первой поездки: не дотянули до предполагаемого места и говорили порой что-то не то. Но я думаю, может, Иван не тех слушал (или не так, или не в то время) — народ-то подобрался далеко не глупый и не праздный. Дело в том, что Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая выиграл грант на проведение торжеств в честь 70-летия поэта Ивана Жданова — согласитесь, немногим выпадает такая честь, но ведь и поэт Жданов из разряда немногих. Из Москвы приехали литераторы и искусствоведы Марина Кудимова, Марк Шатуновский, Николай Александров... Были творческие встречи в краевой библиотеке имени Шишкова, в самом музее, а после всего — заключительная часть программы: поездка на родину поэта.

Владимир Куницын, московский друг Ивана и мой, прозаик и литературный критик, написал тогда в соцсетях:

Сейчас на Алтае проходят юбилейные торжества по поводу 70-летия поэта Ивана Жданова. Накануне его отъезда из Крыма в Барнаул часто перезванивались, и было ясно, что юбиляр нервничает и мандражирует. Я говорил: чего тебе переживать, надуй щеки и сиди наслаждайся. Расслабься, как Будда, или хотя бы как просто толстый мальчик! Пусть остальные переживают! Иван давай говорить про фотовыставку: ты вот не понимаешь, а это первая такая большая моя выставка! Как организуют? Не забыл, как в книге фотографии отпечатали?

— Помню! — говорю. — Все хорошо будет, там Лариса Вигандт, она не даст тебя обидеть!

Против этого аргумента Иван бессилен. Успокаивается. Он же — Человек Дождя. Все видит не так, как мы, сырые. И понимает по-своему, зигзагом. Научная конференция! Докладчики. Что ему конференция? Неловкость и маета. Я лично давно понял, что Иван лучше всех знает цену своим стихам. И цена его выше любой цены со стороны. Потому что он, Человек Дождя, видит не то, что видят докладчики. Не знаю, может, ему и приятно, что исподволь уже начали его покрывать бронзовой краской. Что собрались издали толкователи, зашифровывают и без того таинственную музу Жданова. Ну и пусть, и ладушки! От него не убудет. Он — гений, а гениальность не передается от поцелуев и трения о пиджак, она не вирус. Сегодня на Алтае из живых гениев — один Иван Жданов. Вот и всё. А мы вокруг него — контекст в лучшем случае. Изредка талантливый. Не более. Впрочем, почему только на Алтае? Не только!

...Нынешняя наша поездка, как вы уже поняли, — повторная, неюбилейная и спонтанная, вне всякой программы. Сами себе хозяева, поэтому с первых же минут начали то и дело тормозить у обочины: у художницы Натальи — серьезный фотоаппарат, необходимая принадлежность живописца, который иные моменты, возникшие перед взором, никак не хочет отпускать от себя. Думаешь об этом и начинаешь понимать: они бы ничего не отпустили — жадность художника превыше всякой прочей жадности. У Ивана — вообще профессиональная оптика, которой он обзавелся, когда всерьез начал заниматься фотографией, а критики и литературоведы стали говорить о некотором вполне логичном соединении в сознании поэта визуального мировосприятия с кровотоком поэзии. Как бы там ни было, но во время празднования юбилея в Барнауле была открыта выставка фоторабот Жданова, а пятью годами раньше здесь же вышел его фотоальбом со стихотворениями «Уединенная мироколица».

Говорят, в строчки Ивана Жданова надо вчитываться с напряженным вниманием, у него не может быть случайных текстов, как и случайных читателей, — но и с фотографиями так! У него нет ни репортажных снимков, ни художественно-постановочных, ни чисто пейзажных, какими привыкли мы любоваться, разглядывая работы фотомастеров, — везде замысел, читаемый все с тем же напряжением взгляда и попыткой войти в тайну автора. Причем Иван никогда не ставит перед собой задачу этакого шифровальщика: вот я вам тут загадаю — а вы помучайтесь! Перед ним вообще никогда не вставал вопрос отклика, отзыва, ответа, ответа. Совершенство мгновения поймано, запечатлено, оно состоялось как явление поэзии — а теперь вы смотрите, вглядывайтесь, вдумывайтесь, будьте или не будьте со-звучны...

...Глубокая осень. Яркий день. Завтра, по прогнозу, грянет, польет, посыплет и подморозит — но не верит в это коршун, парящий в вышине, он спокоен, невозмутим. И голые ветки, в чьей бесконечной просвети нет уж воспоминания о листве, — не верят. Ибо сквозит меж ними ярко-синее, небывалое для

предзимья небо. И вот же оно, такое же ослепительное, высокое и божественно прозрачное, — над нами, впереди нас, и его расчерчивает пополам черная нить дороги, будто трудно раздвигая густую, неподатливую ярко-синюю краску, помогая Наташе вести машину по этой густо заправленной палитре и не выкрасть лазурью.

Змеиногорский тракт, путь на Алейск и дальше на запад, к Казахстану, так знаком и так всегда невесел своими справа и слева уходящими в бескрайность однообразно плоскими пейзажами; нынче все тоже вроде как прежде, но почему-то нет давящего чувства повсеместной плоскости, придавленности. И ведь взгляду не за что зацепиться: придорожье вычищено и выглажено — ни оброненного в спешке стожка, ни случайного клочка соломы, ни огреха после торопливого комбайна, кругом ровная стерня, гладкая россыпь измельченного остья, предзимняя вспашка или пары, отдыхающие с весны и облагороженные под осень. А может, в этом как раз все и дело? В кои-то веки успели крестьяне убрать урожай, как у нас в деревне говорили, до самой последней тринки, управиться и с парами, и с предзимней обработкой земли, и с озимыми, и с вывозкой соломы — и предъявить все это не унылой мороси, а теплому, ясному, голубоокому дню. А потому не сразу понятная радость за них, за эту земледельческую справу и дает легкость душе, свет глазу, не спотыкающемуся о случайный клочок недосбора, недогляда — впрямь, думаю, радуется душа, далека ли она от крестьянской своей колыбели...

— Да стойте же вы! — кричит Иван, будто просьба остановиться звучала уже не раз. — Реалисты!

Мы с Ларисой, скорее всего, и правда не романтики, к тому же едем на заднем сиденье, откуда рамки, в которые втиснут пейзаж, намного уже, чем у наших товарищей, сидящих впереди. Но за Наталью обидно: во-первых, она безропотно останавливает машину по легкому движению руки Ивана, а не то что по требованию, во-вторых — сама то и дело вскидывает фотоаппарат, заимствуя у мира картинку для себя.

* * *

После Алейска дорога поворачивает на Усть-Калманку и некоторое время все так же тянется вдоль равнины. Но вот начинают чередоваться подъемы и спуски, и, не доезжая десятка километров до сворота к райцентру, обочь дороги появляются холмы, а на горизонте — очертания гор.

Рук споткнувшейся Шамбалы взмах,
 Взмах отброшенной шторы —
 Степь произносит влюбленное «ах»,
 И возникают горы.
 Толкаясь локтями и воздух крестя
 Щепотками жалящей соли, —
 Как будто възграло в утробе дитя
 У пустопорожней неволи.

Интересно отметить, что для поэта Жданова волшебное царство Шамбала лежит и на равнине, еще задолго до гор, кои многие считают непреложным ее помещищем. И верно: Шамбала — тайна, загадка, никем и никогда не раскрытая, что ей, таинственной стране, до географии, которую придумали смертные?

А горы все ближе, и вот уже дорога начинает вилять по-за холмами и вскоре переходит в самый настоящий серпантин. И с каждым новым километром Иван все более оживляется, все чаще выходит из машины — поснимать и покурить.

— Смолишь одну за другой! — пытается одернуть его Лариса. — Тебе доктор что сказал?

В ответ — небрежная отмашка, а в сторону — заметный только мне какой-то новый взгляд, иная, чем полчаса назад, сосредоточенность.

Может, теперь и впрямь дело совсем табак,
 блудный сын, говорят, возвращался не так:
 несказанно, как дождь, не обученный плачу,
 словно с долгов своих смог получить он сдачу
 в виде воскресших дней — это такой пустяк.

Тронулись дальше, и тут Иван начал с удвоенной силой ругать предыдущую, неудавшуюся, на его взгляд, поездку. Надо, наверно, на что-то отвлечься, но никакого присутствия вокруг — разве что разбредшиеся по распадку овцы.

— Баранина! — сообщаю я из-за спины Ивана. — А ты знаешь, Ваня, что по медицинским показателям именно баранина является диетическим мясом? Почему-то считают, что диета — это курятина, бульон из нее дают больным... Но нет, как выясняется! Всякая тварь, когда ее убивают, от страха вырабатывает адреналин, который по смерти животного или той же птицы-курицы становится трупным ядом. И только баран не ведает чувства страха! Стало быть...

— Ну вот, — проворчал Иван, — барана объявил чуть ли не священным животным!

— Не священным, Ваня, а всего лишь диетическим! Священной остается корова, и то — у индусов. Логику-то включи: нет адреналина — нет яда!

...И тут я понимаю, что моя попытка отвлечь Ивана, развлечь наш экипаж, разрядить обстановку, — не знаю точно и сам, для чего начал этот разговор, — получилась какой-то плоской, неочевидной, излишней. Все (или почти все, или многие) вокруг Ивана, думаю, давно уж привыкли, что светских бесед он не ведет, праздные разговоры отсекает, думает про себя свою думу. И не потому, что боится расплескать и бережно несет в себе некие нетленные откровения, — нет, он слушает, слышит. Что? Это можно узнать из его маленькой записной книжки, которая всегда с ним, в которую он и заносит услышанное. А иногда это и не слова вовсе... Помню, как-то он читал стихи в краевой библиотеке, в какой-то момент в зале послышался шум, и Иван, остановив чтение (а он всегда читает стихотворения без печатных текстов), резко обернулся в сторону шумевших:

— Попрошу тишины! Я строчки никогда не запоминаю и не запоминал, я слушаю музыку.

Гадать, что это за музыка, в какой тональности звучит в ту или иную минуту, — бессмысленно, ибо это — ждановская музыка и она неповторима, как неповторимы его строки, его образы.

Так облекла литая скорлупа
 его бессмертный выдох, что казалось —
 внутри его уже не начиналась
 и не кончалась звездная толпа.

Вокруг него вздувались фонари,
 в шарах стеклянных музыка летела,
 пускал тромбон цветные пузыри,
 и раздавалось где-то то и дело:
 ...я ...задыхаюсь ...душно ...творю...

На Алтае чаще всего дороги пролегают в ущельях, а горы нависают над тобой. Есть, правда, один такой район, Красногорский, где большие пути стеются поверху, и оттого поселения, перелески, поля и стада перед тобой (или под тобой!) — как на ладони. На подъезде к Чарышскому тоже встречаются такие места — дорога поверх невысоких покуда холмов, откуда окружающий пейзаж — как неубранная скомканная постель, наспех прикрытая зеленым покрывалом. Да-да, все еще большей частью зеленым! Исключения составляют заплатки пашни да серые скальные выходы.

* * *

Едем. Останавливаемся. Иван с Натальей фотографируют, мы с Ларисой просто стоим, дышим. А если высоким слогом — вбираем в себя всю эту пеструю, взволнованную красоту. Запечатлеть, запомнить. Век цифровых технологий принес кучу удобств и усовершенствований, но почему-то надолго сохранить фотографии не удастся. И уж цифровые носители всяких видов и конструкций понапридумывали — ан нет! Кинешься искать нужную фотку, а ее нету — как и не было... Думал сначала, со мной одним такая беда приключается — оказалось, нас таких предостаточно. И с трепетом берешь старые (и не очень) бумажные снимки, гладишь, перебираешь и всем своим существом ощущаешь — живое, ожившее. Увидеть и потрогать — вот оно, человеческое.

Едем. Мы в этих местах с Ларисой уже бывали, а Ивана так и вообще угораздило здесь родиться. Вспоминаем здешние пути-дорожки: вон за тем перевалом — еще один, а там деревни Малый Башчелак, Большой Башчелак, там горные малохоженные тропы, по которым мы с поэтом Станиславом Яненко забирались к белкам, к самому устью небольшой реки, где нас пугал медведь и совсем не боялись дикие утки.

А там, за хребтом, другие дороги, там и деревенька (вот незадача, забыл название!), куда однажды занесло важную природоохранную экспедицию под эгидой Всемирного фонда дикой природы. Приехавших в деревеньке не ждали, однако с трудом, но накормили. Зато концерт в сельском Доме культуры устроили основательный! Особенно впечатлило начало: перед хором не обиженных телом деревенских душек в расшитых сарафанах и кокошниках вышла самая румянощекая и объявила:

— Эта песня посвящается принцу Чарльзу!

Высокородный англичанин, бывший в то время президентом фонда, услышав такое, наверное, был бы тронут — этого мы не узнаем... А народ попроще в зале посерьезнел — правда, часть гостей, чтобы не упасть под лавки со смеху, спешно выбралась наружу.

...Дорога все сильнее закручивается в спираль, мы все ближе к цели.

Дальше, вокруг родника, деревень алтари,
 чад бытия и пшеничного зноя дымы.
 Там начинается воля избытком зари,
 там обрывается карта в преддверии тьмы.
 Все это можно любить, не боясь потерять,
 не потому ли, что картой поверить нельзя
 эту безмерную, эту незримую пядь,
 что воскресает, привычному сердцу грозя.
 Здесь, что ни пядь под стопой, то вершина и та

обетованная ширь, от которой и свету темно:
никнет гора, или рушится в ней высота,
или укол простирает по карте пятно.

Иван оборачивается ко мне и с подъемом, с необъяснимой радостью предлагает:

— Давай умрем в Чарышском!

Никто не принял предложение всерьез, ну сказал человек и сказал. Расшевелил задремавшее внимание скорее тон, а не смысл сказанного. Но у нас, знающих стихи Ивана и что-то из его жизни, из сказанного и написанного о нем, минутная несерьезность сменилась глубоким раздумьем о знаменательности начала, о величии конца...

Ты, смерть, красна не на миру, а в совести горячей.
Когда ты красным полотном взовьешься надо мной
и я займусь твоим огнем навстречу тьме незрячей,
никто не скажет обо мне: и он нашел покой.
Рванется в сторону душа, и рябью шевельнется
тысячелетняя река из человеческих глаз.
Я в этой ряби растворюсь, и ветер встрепенется
в древесном шепоте моем и вспомнится не раз.
Ты, смерть, красна или черна, не в этом вовсе дело, —
съедает мартовский туман последний мокрый снег.
И в смертном шепоте моем уже не уцелело
ни слов для совести моей, ни берегов для рек.

...Вот что написал поэт Иван Жданов о поэте Игоре Меламеде:

Грань соприсутствия и отстраненности достижима и преодолима, особенно с теми, кого мы называем семьей, друзьями, — и нет различия между мертвыми и живыми. Достичь того, чтоб прошлое стало явью, выходит, можно только через смерть. Как и преодолеть пресловутую необратимость времени, которая отдаляет от тебя твоих любимых и близких, можно только через смерть. Поэтому и вглядывался поэт в нее, как в нечто обнадеживающее и спасительное. За ней, как за какой-то преградой, за каким-то барьером, обретается мир давно утраченный, но неисчезающий. И после смерти поэта продолжается одинокая битва за жизнь в ее неповторимом начале, с каждым стихом приближаясь к победе.

И это далеко не полный ответ на вопрос о смерти, заданный Ивану сторонним наблюдателем, — да и на свои собственные вопросы...

Жданов писал о барнаульском поэте Борисе Капустине:

Пил, говорят, горькую. Отчего художники пьют? Самый простой ответ: в творчестве происходит изменение сознания, переход в другие миры — как во время молитвы, медитации. Художник, как существо из далеких высот или великих глубин, заболевает после путешествий туда, испытывает нечто подобное кессонной болезни. Многие погибают, не выдерживают муки. Многие долго находятся в стадии умирания.

Ну, а там — в этих глубинах и высотах — что, только рай, ясный и умиротворенный? Нет, и там все не просто. В какие же конфликты вступала его душа? Это и были узелки его поэзии. И каждая тема — не произвольно назначенная, с потолка взятая, а самим существованием освоенная, выстраданная. Сплетение тем — канва для романа собственной жизни, романа с собственной жизнью, история человека, написанная от руки. <...>



Смерть поэта придает всему, им написанному, какой-то новый, глубокий смысл, слово, дующее в вовек не умолкающем голосе умершего поэта, обретает силу стихии, неизменное в своем сотворении. Его нет, но за него свидетельствует его язык, и сказанное им «так ясно понимаю» продолжает оставаться его пониманием, его собственностью. Он не был на войне, но он свидетель этой войны — Великой Отечественной. Он не мог жить ни в XIX, ни в XVIII веке, а он свидетель этих времен, их современник. То не история, заданная ему как урок, то его личная, собственная история.

Вот один эпизод, случай с солдатиком, гуляющим по Эрмитажу, его мимолетное впечатление от картины Ренуара:

Ишь ты, парижское диво!
Надо ж — родная душа!..

Любое из сокровищ мировой культуры — лишь ниточка полотна его личной истории, сотканной из грубой основы, где кастальский ключ поэтического вдохновения давно уже сменился раздолбанным унитазом, который «бормочет о чем-то сокровенном».

Или вот — из книги Ивана Жданова «Воздух и ветер»:

Воскрешение — припоминание самого себя, приходящего в сознание тела. Реанимация, выражаясь медицински, путь к жизни из небытия, агония наоборот, взаимное тяготение разорванных кусков плоти, пытающихся стать телом.

Воскресение — возвращение посланника к тому, кто его послал, и оно не может произойти никаким иным путем, как через смерть; здесь путь из бытия через небытие в сверхбытие, в вечность.

Воскрешение — это повторение прежнего.

Воскресение — это обретение другого. Воскрешение может происходить во времени, которое дано нам для обыденного отсчета (счета здесь и теперь)...

И это не всё. Нет исчерпывающих ответов там, где их попросту быть не может. Никуда не деться и от великого предчувствия человека, наделенного интуицией глубокого художника. Ведь месяца не пройдет после описываемого мной дня, как случится жуткая драка на квартире московского литератора, после которой Иван, несколько дней проведя в реанимации, лишь случаем (чудом!) останется в живых. Случай! — и цена ему известна: он беспощаден и беспомощен одновременно.

...Рано еще, или поздно, или самое время — не существенно. Главное — умереть здесь, в Чарышском. И как раз потому, что именно здесь жить хорошо. И это самое важное всегда — в дорогах и скитаниях, во младости, зрелости, в кратких пребываниях в Нью-Йорке и Париже, в долгих — в Москве и Крыму, где в последнее время все больше он обретался. И сейчас — тоже! Может, в еще большей степени, потому что подошло время итогов, время, в котором собралось все то, что сложилось из бесконечного учения и беспощадных растрат.

И посох вздыбится и прынет на царя,
замка венчального раззявится прореха,
и своеволия развяжется потеха,
треща укорами и сварами горя.

Забудь, что с небом ты когда-то был на «ты» —
уже вот-вот веретено закружит пряжу,
пойдет приказывать, собирая на рубаху
парализующую кротость немоты.

И густопсовая зардеется парча
 еще неявными промоинами крови,
 пророки в прошлое вперятся наготове
 перепредсказывать и шкурничать сплеча.

Вторым пришествием отмеченный недуг
 пройдет дорогами Египта, Ниневии.
 Нас могут вспомнить небеса, еще живые,
 нас долго не было, но завершился круг.

Мы вровень с теми, для которых мы вверху,
 перед возможностью исчезнуть и продлиться.
 Кто мог воскреснуть, опоздает воплотиться
 в тщете бесславия, как в свалке на духу.

Сопровождающий — едва ли господин
 обычной радости, любви обыкновенной.
 Но посох вырвется и грянет по вселенной:
 — Уйдите все! Теперь пойду один.

* * *

Чарышское приняло нас лужами (накануне здесь шел дождь) и все тем же улыбчивым солнцем. Кафе, где мы пообедали, магазин, где мы отоварились для ужина, гостиница, куда нас поместили, — все на одном пяточке.

Первым делом мы отправляемся искать на местном кладбище могилу сестры Ивана — надо сделать то, что не успели они во время предыдущей поездки. Узнали и про дорогу на кладбище, и про то, что старое состарилось окончательно, переполнено, а несут уже на другое...

Иван вспоминает приметы: подъем с тропкой, опорный столб в виде треугольника — метка напротив... Столько лет! Все уж давно поменялось, разве что с одной квартиры на другую здесь не переезжают.

Расходимся в разные стороны, пытаюсь сориентироваться по датам, но цифры эти — не ориентиры, а сплошной беспорядок. И всё, как на большинстве российских кладбищ, — бурелом, заросли травы-путанки, нынешние увядающие стебли вперемешку с прошлогодними увядшими...

И все-таки именно Иван находит могилку сестренки Елены — вот она, голубая пирамидка под красным флажком. А мы-то гадали, звездочка в навершии или крест...

Помолчав, Иван рассказывает историю сестры, называет причину раннего ухода — тридцать лет не возраст, как раньше говорили, родами умерла...

Область неразменного владенья:
 облаков пернатая вода.
 В тридевятом растворясь колене,
 там сестра все так же молода.

Обрученная с невинным роком,
 не по мужу верная жена,
 всю любовь, отмеренную сроком,
 отдала вечности она.

Как была учительницей в школе,
 так с тех пор мелок в ее руке
 троеперстием горит на воле,
 что-то пишет на пустой доске...



А потом пришел вечер, но поужинать в нашей милой компании мне не удалось, ибо увезли на ночлег в районную больницу — перепад высот (как-никак 1400 метров над уровнем моря) и предвестие близкой и резкой смены погоды...

Палата отличалась от городской количеством населения (девять коек), ободранными стенами, пружинами, протыкающими комковатый матрас, — вот и все, пожалуй... Врачебный и сестринский уход, капельница, утренняя овсяная каша — как везде. Спасибо, братцы и сестрицы, что подняли на ноги!

На прощанье удивительно красивая девушка-врач, принявшая утреннюю смену (оставила родной Новосибирск для настоящего дела — ее слова), дала таблеток в дорогу и черкнула на листочке свой мобильный телефон:

— Если что заболит, к примеру, — звоните!

Эх, да я бы тебе и так позвонил, если б не годы и они, как раз болячки эти!

— Мужики, — обратился я к многочисленным соседям по палате, — а хариуса-то нынче у вас ловят?

Вспомнил вдруг давнишнюю рыбалку на Чарыше и захотелось накормить этой замечательной рыбой своих попутчиков. Народ в палате оживился.

— Так сосед вчера приезжим продавал! Сегодня он опять хотел рыбачить, — лысоватый худощавый бодрячок под разговор соскочил с койки. — Если ночуете, можно к вечеру созвониться!

Были и другие предложения; я написал на нескольких листочках номер своего телефона. Кто-нибудь да позвонит, понадеялся я.

...У ворот больницы меня уже поджидали, и — о, везенье! — мы поехали маршрутом, который ни по времени, ни по направлению не изменился из-за моей хвори. Женщины жаловались, что Иван всю ночь колобродил, не давая спать всей гостинице, несколько раз уходил в ночь, возвращался и все никак не мог успокоиться.

— Купаться на Чарыш ходил, — пробурчал Иван.

«Врет... Ночь, холод, камни — к воде в темноте не подойти», — подумал я, но говорить ничего не стал. А погода (пока, во всяком случае) обманула все прогнозы и мало чем отличалась от вчерашней, разве что ветер усилился и редкие веселые облака разбежались по небу.

— Во-о-от, — удовлетворенно протянул Иван, — пустое небо всегда молчит, а вот такое, с облаками, — разговаривает со мной.

Я давно обратил внимание на манеру Ивана брать ведущую роль в разговоре на себя или — по-другому — себя ставить в центр обсуждаемой темы. Впрочем, он ведь сам ее задал, тему эту — про небо, облака... А может, дело еще и в том, что он отвечает на вопрос, в обсуждении которого участвует, исключительно по индивидуальному пониманию, без заготовленных лекал и проходных ссылок. Но и для этого предположения, как и любого другого, необходимо пояснение, погружение в самого Жданова.

Что такое «я» и где оно находится, если тебе даже от собственного сознания можно абстрагироваться? И как оно соотносится с пространством моего тела и его же временем? Это как будто совсем не то же самое, что душа, поскольку она — бессмертна. Моего «я» до меня, до моего рождения, точно не было, после меня от него останется столько (и настолько), сколько хватит у него общей истории хотя бы с кем-либо, если не только с тем, с кем имеет мою со-весть. Когда я говорю «У меня болит нога» или «Моя нога болит», я говорю как будто о чем-то постороннем (то есть о том, что находится где-то вне меня) и

со стороны причиняющем мне беспокойство. Я не могу почему-то сказать так: «Сегодня я болею в своей ноге». Даже когда я говорю «У меня болит душа», значит, я говорю о своей душе, как о чем-то таком, что пространственно удалено от меня, объективировано, то есть выступает в роли объекта. Но когда я и о своем «я» говорю (рассказываю о нем кому-либо или размышляю о нем сам с собой), то говорю как о чем-то стороннем, выведенном в пространство — как будто между мной и моим «я» прорастает расстояние. Все это наводит на подозрение, что «я» переживаемое — вовсе не то же самое, что «я» осознаваемое. И это похоже на проблему настоящего времени.

Прорастает расстояние... Эта тема расстояния, удаленности, постоянной переменчивости координат встречается у Ивана так же часто, как прорастание времен, их слияние и разрозненность — как в песочных часах, куда забросили горсть песка, не разбирая, какая песчинка родилась тысячу лет назад, какая — сто тысяч...

Беспокойство Ивана объяснимо — на родину приехал: он в ней, она в нем, он удалялся от нее и сближался, не отпуская от себя ни на миг. А она? Проклятая пора, о которой привычно говорят: время подводить итоги. И опять — итоги чего? Прожитых лет? Сотворенного? Как до смешного мало уместается в этот отрезок времени, называемый жизнью!

И тогда ты припомнишь, что миру начала
нет во времени, если не в сердце оно,
нет умерших и падших, кого б ни скрывало
от морей и от бездн отрешенное дно.

Никого на дороге: ни мира, ни Бога —
только луч и судьба преломиться ему.
И движеньем своим образует дорога
и пространство и миг, уходящий во тьму.

Вспомнилось: когда я поджидал выписку из больницы, по радио сообщили, что в столице нашей Родины состоится некий гражданский форум, где эксперты будут обсуждать, как привить россиянам субъективное ощущение счастья. Причем предполагается, что подход к этому будет основываться на опыте таких замечательных стран, как Бутан, Венесуэла и Нигерия. Понимай так, что объективных предпосылок для ощущения счастья в России нет, поэтому давайте займемся прививкой субъективных, а опыт позаимствуем на других континентах. Или не так: объективные давно созрели, но вот воспользоваться ими в личных целях необразованные по части счастья россияне не умеют, надо научить.

Боюсь, субъективное ощущение счастья настолько индивидуально, что чужой опыт вряд ли кому поможет. Впрочем, все это, думаю, никакого отношения к счастью не имеет. Вот смотрю на Ивана и вижу, как разглаживается его лицо, появляется новый свет в глазах и нетерпение в движениях: едем, едем! В который раз восхищаюсь чудом техники — Наташиной машиной, которая легко преодолевает препятствия, непреодолимые для других легковушек.

— Во! — подтверждает мои мысли Иван. — В прошлый раз мы на Чайную не попали, не захотели, видишь ли, не успевали — так и не проехали бы, вон какая колея!

Чайная — это гора, названная так из-за обилия на ней бадана, из высохших листьев которого заваривают монгольский (по-другому — чигирский) чай. В официальных источниках горы с названием Чайная в окрестностях Чарыш-

ского я не нашел, зато она обнаружилась рядом с Тигирекским хребтом. Надо же! Стало быть, и Тигирекский заповедник начинается неподалеку, а казалось...

Еще немного о нашем экипаже: два пенсионера-бездельника (это мы с Иваном) — и две женщины-трудыги! Наташа Акимова уже сообщила, что сразу после нашей поездки отправляется в Белокуриху — курортный городок, люди собираются со всей страны и есть кому предложить свои работы. Барнаульский рынок живописи и графики перенаселен, вот художники и ищут другие хлебные места... В Белокурихе у Наташи есть уголок, где она может и работать на заказ, и заниматься свободным творчеством — соединять одно с другим трудно, художники меня поймут. Опять же — вдали от дома. Одно спасает — неисчерпаемая красота алтайских предгорий и гор...

Лариса Вигандт работает главным редактором двух журналов, пропуская через себя чертову уйму текстов, понятно, один талантливее другого. Это я так иронизирую, а вообще-то Лариса отбирает тексты скрупулезно, в журналы ее («Алтай» и «Культура Алтайского края») по случайному везению не проскочить.

Но боже мой! Изо дня в день, с утра до вечера — читать, читать, читать... Смеюсь: за всю когда-то самую читающую страну в мире отдуваешься! Но ей, думаю, не до смеха. Если б только читать... Редактура, технические задания, финансы, конкурсы на издание... Да еще взялась написать книгу о писателе-краеведе, нашем общем с Иваном друге Александре Родионове. Человек непростой, писатель не из рядовых, писать о нем — тоже с маху не напишешь... Ох, Лариса!

* * *

Иногда дорога подходит близко к Чарышу и становится видно, как он подобрался, как бы присел: к осени, если нет проливных дождей, все горные реки высветляются, вода убывает. Чарыш петляет между сопками и горами — где-то катится в пологих берегах, устланных галечником, где-то пробирается между кустами нависшего над водой ивняка, а то и прижимается к скалам. И шумит, шумит, спотыкаясь о камни, говорливая река...

Деревни, мимо которых мы проезжаем, не кажутся заброшенными, но и не фасонят новодельными домами в сайдинге и прочими современными штучками. Обращают на себя внимание огромные бурты скатанного в цилиндрические тюки сена. Веса в каждом, насколько мне известно, — до трехсот кило! Это сколько ж скотины надо держать под такое количество корма?

Иван рассказывает, что земля в этих краях плодородная, чернозем, и все вот эти пологие склоны до недавних времен засеивались зерновыми. Сейчас богатая земля пустует... Смотрю на выровненный склон и вдруг понимаю, узнаю, что передо мной то самое поле — с обложки книги Ивана «Уединенная мироколицда»! Только там это действительно поле, желтеющее среди окружающей зелени созревшим житом. Э-эх, было поле, да стала пустошь!

После, в разговорах с местными жителями, я услышал, что хлеб перестали сеять, потому что невыгодно — техника дорогая, запчасти, солярка... Вот и взяли частники за рогатое стадо: пуп, конечно, порвешь, зато не надо никаких железок и топлива. Молоко сдал — деньги получил, мясо продал — опять заработок, но это только сказка скоро сказывается, а кто хоть мало-мало знаком с деревенской жизнью, тот знает, что такое семьей держать десяток коров: руки

до полу, на ногах резина двенадцать месяцев в году... И вот за эти тюки тоже денежки надо отдавать, и немалые. Сам нынче не накопишь: нету угодьев, поделены они меж теми, кто скручивает цилиндры...

* * *

— Вот здесь военкомат был, — показывает Иван на вытянутое бревенчатое здание. — Старшего брата отсюда на войну забирали. Соседи ему фуфайку сообрали, не в чем было идти...

Одиннадцать детей, большая часть — сыновья. Скажите, какому еще семейному гнезду выпала на век и Великая Отечественная война, и день нынешний — суматошный, бурливый, мало понятный современникам, отнесенный от того далекого июньского на семьдесят восемь лет?

Гора над моей деревней: возле нее погреться память не прочь, как будто — это коровий бок. С вершины этой горы видно другое детство или, верней, преддетство, замысел между строк.

А это была война. Подколенное мясо ядом перло, жуя страну, множилось, как число. Одно из моих имен похоронено под Ленинградом, чтобы оно во мне выжило и проросло.

Значит, и эта гора, честной землей обгята, уходит в глубины земли, ищет потерянный дом. И, как битва, сверкает на ней роса под рукою брата, роса молодой травы, беспечный зеленый гром...

Писатель Александр Карпенко заметил как-то в статье об Иване: «У него нет биографии...» Ах, господа! Вы не видите того, что не выставляют напоказ, вот и все! И пусть даже это сказано для последующей красоты — сие попросту неправда!

...Наше путешествие продолжается, и я действительно вижу тут и там разбредшиеся по склонам стада — их гораздо больше, чем приходилось мне видеть в последнее время возле равнинных сел.

— Гора Мохнатая, — показывает Иван и предупреждает вопрос о названии: — Когда-то вся была покрыта лесом, да извели его со временем дружба-человеки.

Дорога петляет, становясь все круче. Местами колея так глубока, что появляются опасения: не проедем.

— Вот тут бы мы в прошлый раз на той машине точно застряли бы! — с каким-то злым удовлетворением восклицает Иван.

Минуем препятствие, карабкаемся дальше. Я так понимаю: наша конечная цель — та самая гора Чайная. Впереди перевал, который Иван почему-то не хочет признать перевалом. Я знаю много перевалов на Алтае, есть и поположе. Другое дело, этот не так длинен.

И вот мы на вершине! Сумасшедший ветер пытается сорвать одежду, над головой стремительно проносятся облака, но они по-прежнему редки, не застыт солнце, не мешают ему высвечивать величественную панораму, охватывающую целые горные массивы, хребты, перелески, болотца и внизу — извилистую ни-





точку Чарыша. Я понял, почему мы стремились сюда, зачем Ивану эта самая гора, это место. Родина!

Здесь можно охватить взглядом самую большую ее часть. Величие, неместимость (или непомерность — как хотите!) ее в стихотворениях Ивана объясняет и нынешнюю робкую попытку вобрать в себя хотя бы зрительно это видение наяву, этот мираж, сошедший с божественного полотна. И потом, не будем забывать, что увидеть — для Ивана сегодня не менее важно, чем услышать, уловить музыку и слово и в них запечатлеть образ... И голову поднимать не надо, чуть глаза вскинул — и вот она, Вселенная!

Иван встает на колени, наклоняется к земле, целует ее. И тут ничего не хочется добавлять от себя, обсуждать или оценивать. Потому что — нечего... Иван поднимается, его лицо сплошь залито слезами. Ветер бьет изо всей силы, дробя слезинки...

— Заплакал. Представляешь? — с детской радостью в глазах Иван нагнулся ко мне. — Думал, уже стал деревянным, бесчувственным...

Дождя отвесная река
без берегов в пределах взгляда,
впадая в шелест листопада,
текла в изгибах ветерка.

Она текла издалека
и останавливалась где-то.
И, как в мелодию кларнета,
в объем вступали облака.

Я не видал подобных рек.
Все эти заводи, стремнины
мне говорили: без причины
в ней где-то тонет человек.

И лужи, полные водой,
тянулись вверх, когда казалось,
что никому не удавалось
склоняться, плача, над собой.

* * *

На обратном пути подъехали к самому берегу Чарыша — шумит, торопится вечная вода, хотя, казалось бы, ей-то куда спешить? Река уносит с собой и на себе миры, что ей человеческая жизнь?

...Вот и Иванов дом, крестовый, крепкий до сих пор. И еще, по всему видать, постоит. Кот, сидя на заборном столбике, намывает гостей.

— Чего намывать-то, вот они мы!

Баба Фрося, нынешняя хозяйка дома, приглашает внутрь, усаживает за чай. В доме небогато, большая часть мебели — самодельная, пол устилают домотканые половики... Да что описывать, зайдите в любую избу на окраине России, где хозяйство ведет одинокая старушка, — вот то и увидите. Дети есть и живут-то неподалеку, в соседних деревнях, да бывают редко: своих забот по горло. Оно и видно, не часто навещают бабу Фросю — сарайка подзавалилась, забор пошатнулся и пал местами, крыша требует ремонта...

Баба Фрося не жалуется, она привыкла рассчитывать на себя: огород обихаживает, поросенка откармливает... Маленькая такая старушка, ветхозаветная в своем крестьянском, по-старому, по-деревенски повязанном платке, во всем этом до боли простеньком обряде, трогательно своя — для любого, кто видел своих родителей в старости и кто простился с ними навсегда...

Иван бродит по двору, заглядывает в дом, рассказывает что-то из давнего и повторяет, повторяет — тихонько так, вроде для себя самого:

— Здесь надо жить, здесь...

На цветочных часах паучка притаился отвес.
 Время — день или недень — Купале как будто бы впору.
 Отмотай от рулона кладбищенской глины отрез —
 там копающий яму надеется выкопать гору.

Весь рассвет на кону — только пасмурным солнцем заспать
 обещает молва неотпетые временем тыщи.
 Глина глину пожрет, домовью или нави под стать.
 Зарастет, но не нами, а сорной травой пепелище.

И не воду бы надо спускать с поводка, а вино,
 претворяя обратно в ту воду, что смерть отмывает.
 Но былье на сносях с поколеньем твоим заодно —
 дно выходит из вод, но и берегом стать не желает.

Зарастет пепелище, и жертвой очнется земля,
 сокрушенно позволив забыть о себе для другого,
 наделяя собой, никого на себя не деля,
 отпуская и дясь, чтобы видеться снова и снова.

Из письма Ивана Жданова родителям (опубликовано Ларисой Вигандт в журнале «Культура Алтайского края»):

...Хватило б только ненависти во мне, в чем я, конечно, сомневаюсь, потому что никто меня не учил ей. От вас у меня только любовь и доверие, я их унаследовал от вас. Спасут ли они меня, не знаю. Знаю только одно, что по-другому я бы не смог. И в этом никто не виноват, да и в заслугу я вам это не ставлю. Я ваше отражение, ваше эхо, отголосок. Теперь мне самому приходится перевоплощаться в самостоятельное что-то. Шаг за шагом, помаленьку. И временами я даже горжусь собой, мне перед вами не стыдно...

А вот другое письмо, адресованное уже только матери (отца к тому времени не стало):

Здравствуй, мама! У меня все так же, все в порядке, а вот ты меня растрожила. Ты ведь знаешь, как я от тебя завишу: что бы со мной ни происходило, какие выверты жизнь моя ни делала бы, я всегда уверен в лучшем исходе, потому что у меня есть ты... Ты держись, мама, старайся не утруждать себя ни переживаниями, ни работой, а заболеешь — лечись. Ты — у меня единственный человек, на которого я могу абсолютно положиться. Хотя ты и далеко, а одно то, что ты есть, придает мне и уверенности, и надежды, и терпения во всех моих делах и начинаниях. Не болей, ради Бога. Я уж совсем скоро приеду, чуть больше месяца осталось. До свидания, твой Ваня.

От Усть-Тулатинки до райцентра говорили немного. Запомнился пустяшный эпизод из детства Ивана, это он по дороге рассказал.

— Вот тут шла дорога, — рисует он воображаемую колею у подножья горы. — Помню, отец вел меня куда-то, а я любовался блестящими изоляторами на столбах. Вот чудо — запомнилось же!

А я вдруг вспомнил московского нашего друга Владимира Куницына, который назвал Ваню «Человеком Дождя» — явно по аналогии с одноименным фильмом Барри Левинсона. В фильме главный герой Рэймонд говорит после вынужденного бегства из Лас-Вегаса, где они с братом сорвали крупный куш (собственно, выигрывал только Рэймонд): «Дело не во мне и не в вас, дело не в победе и не в проигрыше...»

А в чем же, в чем? — рвется наружу вопрос. Нет ответа.

То есть мы не слышим его, не знаем, не догадываемся. Потому что перед нами — другое строение психики, другое наполнение серого вещества, в конце концов — другой человек со своими уникальными способностями, со своей неповторимостью. Утрировано? Так у гениев все утрировано, во всяком случае — многое. В финале младший брат Чарли говорит Рэю: «Я рад, что у меня такой брат». И слышит в ответ: «Я прекрасный водитель».

Что? Разочарование? Досада? Обреченность? Нет. Фильм ведь и об этом: меркантильный, эгоистичный, легковесный Чарли, понимая, что все его попытки проникнуть в мир брата, аугиста и гения, бесполезны и бессмысленны, в итоге осознает и другое: достаточно этого непонятого и непонимающего человека просто любить. Брат ведь!

...Брат ты мой, Ваня! Будем сегодня на ужин в гостиничной кухоньке варить магазинные пельмени, потому как, против ожидания, никто из моих больничных знакомых не позвонил, а, стало быть, и хариуса нам не наловили. А может, просто забыли о нас: выходные, баня, то да се.

На подъезде к Чарышскому я обратил внимание на базы отдыха по обеим сторонам дороги: много их, очень много — и почти все пустые. Понятно, не сезон. Да и, если честно, на Алтае есть множество более интересных мест. Но что-то же тянет сюда людей, манит, зовет; вряд ли станут люди, собирающиеся заработать на туристах, поднимать дорогие строения, не просчитав свою выгоду. Но — слишком, слишком много этих строений, целые улицы... И я не знаю — для чего, зачем?

Последняя остановка. Пришлось ехать на другой край села, чтобы заправиться. Начался дождь, которого я не видел уже месяц. Выйдя из машины, в предвечернем, замершем на последнем своем усилии свете разглядываю горы, которые за сеткой дождя отодвинулись, отдалились от меня. Приходят на память строчки замечательного московского поэта Виктора Кириюшина:

Грустно-то... батюшки светы!
Вольно-то, как уж ни глянь...
Вот где рождаются поэты
И беспробудная пьянь!

Ночью Иван снова бродил по селу. В таких случаях принято говорить: «не находя покоя». Да не его он искал, Иван вообще не знает, что это такое, зачем надо его искать и что хорошего от него человеку?

А мне ночью приснился мой друг Николай Шипилов. В комнате было несколько человек, и Коля поочередно прятался за каждым, избегая встречи со мной, но в то же время не покидало ощущение, что он хочет видеть именно меня. И я слышал его, не видя лица, не различая звуков.

— Мне жить не на что, — сказал он безо всякого выражения, и я подумал, что большую часть жизни ему было не на что жить. — Я не возьму денег, — сказал он, хотя я и не предлагал, лишь подумал о деньгах. — Ты найди мне работу, халтуру какую-нибудь...

И вот уже я звоню в Новосибирск издателю Евгению Шаленкину, прошу его:

— Женя, дай работу для Шипилова, несложную, быструю, он, похоже, на мели. Ты же его знаешь, он из вашего города...

Что ответил Шаленкин, я так и не узнал, потому как проснулся. Надо же, привиделось... Коля Шипилов умер тринадцать лет назад, чуть не дотянув до своего шестидесятилетия. Последние годы он провел в большом селе под Минском — с женой Татьяной, с детьми, и ни в чем нужды не испытывал. Но если иметь в виду простой арифметический счет, то бродячая, бездомная и несытая жизнь у Коли значительно перевесит. В самом своем лучшем романе «Псаломщик» он говорит словами священника отца Глеба: «Богом все дозволено. Все, что с любовью, с тоской по благодати. Запрещается ненавидеть...»

...Я выглянул в коридор и увидел Ивана. Он стоял посреди гостиничной прихожки, громко именуемой холлом, и смотрел в никуда. На мое появление никак не отреагировал, устремив взгляд сквозь стену, сквозь миры и пространства... Половина третьего, глянул я на часы.

Я не лунатик, я ногами сплю.
 Вокруг меня помпезные колонны —
 я их корней не чувствую, они —
 застывшие глотки незримых горл.
 Что недопито или что еще
 им выпить предстоит, какой отравы?
 Учитывая почвы этих мест,
 они должны быть красными, как кровь.
 Но нет, в подтеках, серые, на них
 наделан камень, но не лунной пробы,
 а той, что близок звук какой-то — «у».
 Вот доигрался, вот уже собаки
 хватают сумрак заполошным лаем,
 как одеяло, под которым чуют
 клубящийся волчатник или след.
 След? Но кому он нужен, этот след?
 Пусть кто-нибудь его другой доносит.
 А я стою. Вокруг меня колонны —
 Бирнамский лес, застывший на ходу.

* * *

И наступило утро. И принесло оно все, чему уже давно надлежало быть в наших краях: дождь и снег — то по очереди, а то и вперемешку, гололед, стылый ветер и рваные серо-белесые облака, низко несущиеся над головами.

Но все это природное безобразие несколько не мешало Наталье и Ивану, которые выскакивали из машины едва ли не чаще, чем по дороге сюда. И правду

сказать — сочетания красок и оттенков были необыкновенные: молнии, радуга, солнце в пробоинах облаков, первые снежные сумётики и яркая зелень озимых всходов. Ветер, терзая облака, выдувал из них причудливые фигуры: мы угадывали зверей, птиц, человеческие лица...

Где-то рядом с тем местом, возле которого Иван предложил умереть с ним в Чарышском, он быстро обернулся, глянул на меня безо всякого выражения и снова устремил взгляд на дорогу. С чем не согласен, Ваня? — ворохнулся во мне вопрос. Как там у Экклезиаста? «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после...»

Исчерпанность старого мира — это не трагедия, это происходит ежесекундно: мгновение — и нет его.

Знаешь, Ваня, о чем я подумал? Наверное, самая трудная работа на земле — добывать крупинки счастья. Оно ведь большим бывает тоже лишь краткий миг, а в остальном — рассыпано по крупичкам. Вот мы скоро вернемся в Барнаул и разъедемся-разойдемся по своим географиям и делам: Москва, Симеиз, Белокуриха, портреты-пейзажи, журналы, рукописи... И во всем этом бесконечном количестве шагов и шажочков оно и существует, счастье наше — рассыпано, вкраплено, запрятано!

В своей книге «Воздух и ветер» Иван Жданов пишет: «Человек нужен Богу как собственное отражение». И дальше разворачивает своеобразную теорию отражений, соединяя свои мысли с миром и творчеством. Не берусь оценивать эти строки, судить-рядить, противиться... Просто я выскажусь по-своему: Бог нужен человеку как собственное отражение. На новизну мысли не претендую, поскольку с появлением сознания у всякого христианина ему уже известно: человек создан по образу и подобию Божию. А дальше, с течением жизни приходит самое трудное — соединить или хотя бы приблизить образ и подобие к оригиналу. И идти, идти, пробираться навстречу многому, из чего взяты наука матери Ивана и завещание Коли Шипилова.

Ответов и предположений, почему сегодня Иван больше увлечен фотографированием, чем стихосложением, много — и в последнее время меньше не становится. А сам он давно уже ответил: в 2002 году в Киеве в галерее «Эксар» была открыта фотовыставка Ивана Жданова и называлась она — «Сквозь этот воздух смотрит на меня Бог».

...Стало быть, есть красота, пред которой в долгу только она лишь сама как прибежище чар.
Всадник, заветную цель отдающий врагу,
непобедим, ибо призван растрчивать дар.
Здесь и теперь в этом времени вечности нет,
если, сражаясь, себя разрушает оно,
если уходит в песок, не стесняясь примет,
чуждое всем и для всех безусловно равно.
Не потому ли нацеленный в сердце укол
всей родословной своей воскресает в тебе,
взвесью цветов заливая пустующий дол,
вестью племен отзываясь в пропащей судьбе.
Это нельзя уберечь и нельзя утаить,
не промотав немоту на избыток вестей.
Значит, шагнуть — это свежий родник отворить,
значит, пойти — это стать мироколицей всей.

Михаил ХЛЕБНИКОВ

РОМАН АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА «ТОБОЛ», ИЛИ О ПОЛЬЗЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ

В современной русской литературе есть небольшой ряд писателей, каждая книга которых вызывает живой интерес как читателей, так и критиков. К числу подобных авторов, без сомнения, относится и Алексей Иванов. Последний его роман объявили «консервативно прямолинейным» и коммерческим.

После успеха в начале двухтысячных романа «Сердце Пармы» книги Иванова издаются большими (по нынешним временам) тиражами, по ним снимаются фильмы и сериалы. Не каждую работу писателя встречают всеобщим одобрением, что для литературы явление естественное. Есть вещи, вызывающие «неоднозначную реакцию», что равно нормально для писателя, читателей и критиков. Например, роман «Блуда и МУДО» часто упрекали за «сомнительную семейную философию», предложенную автором. Дилогию из «Псоглавцев» и «Комьюнити» отнесли к очередным неудачным попыткам удобрить отечественную литературную почву условным Стивеном Кингом.

В любом случае претензии проговаривались на основе восприятия и анализа текстов Иванова. Иная ситуация сложилась после публикации романа «Тобол», разбитого на два тома: «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных». Книги вышли с некоторым перерывом, первая в 2016 г., вторая в 2017-м. «То-

бол» относится к исторической прозе, которую можно считать визитной карточкой писателя. Помимо «Сердца Пармы», здесь следует упомянуть «Золото бунта» — эти книги стали основой писательской репутации Алексея Иванова. Завершение публикации предполагало обсуждение романа целиком, сравнение между ожиданием того, как и куда будет двигаться повествование, и тем, насколько ожидания/опасения читателей и критиков оправдались во втором, заключительном томе. Да, критика проявила определенный интерес, «откликнулась на событие», но отзывы странным образом едва касались собственно текста.

Многие из авторов указали на неоднозначность восприятия «квалифицированными читателями» как второго тома «Тобола», так и романа целиком. В. Владимировский отметил следующее:

О первой части «Тобола» Алексея Иванова, книге «Много званых», не писал, кажется, только ленивый. А вот со вторым томом совсем другая история: реакция более чем сдержанная, никакого ажиотажа, рецензии в СМИ можно пересчитать по пальцам одной руки.

Нам кажется, что известный критик несколько поспешил в отношении количества и пальцев, и конечностей в целом. Отзывы были. Но правда и в том, что значительная часть их носила весьма

сдержанный характер. Рецензенты бодро рапортовали о недостатках, указывали на недочеты, сетовали на первородный грех романа, сюжетно выросшего из сценария. К. Мильчин, говоря о последнем, считает этот факт решающим, для того чтобы отнести «Тобол» к книгам с «низкой литературной ответственностью»:

«Тобол» при внимательном рассмотрении кажется чисто коммерческим проектом, беллетризацией сценария пока еще не вышедшего сериала. А мы, сволочи, всегда хотим, чтобы писатель писал душой, а не кошельком.

После такого заявления хочется попросить критика назвать примеры «душевных исторических романов». Конечно, Анн и Серж Голон или Жюльетта Бенцони писали по-своему душевные романы, но их трудно отнести к высокой литературе. Что касается коммерческой ориентированности «Тобола», то здесь также не все однозначно.

Для сравнения обратимся к такому знатному творцу бестселлеров, как Кен Фоллет. Всемирную известность он приобрел после выхода исторического романа «Столпы земли». Книга, увидевшая свет в 1989 г., рассказывает о событиях английской истории XII века. В вымышленном средневековом городе Кингсбридж начинается строительство собора, которое становится фоном для многочисленных приключений героев романа. Говоря о приключениях, следует указать на некоторую их специфичность, ставшую основой успеха романа у читателей. Так, малолетний Джек спрашивает у матери о причинах своего появления на свет. Не по эпохе просвещенная и раскованная Элен утоляет информационный голод любознательного сына: «Видишь ли... дети получают из семени. А семя выходит из мужского члена и сеется у женщины внутри. Затем у нее в животике из этого семени вырастает ребеночек, и, когда наступает срок, он

выходит на свет Божий». Большая часть поступков героев романа связана как раз с активностью «члена» у мужских персонажей, которая буквально движет незамысловатый сюжет. На заднем плане время от времени раздается колокольный звон, чтобы читатель вспоминал о том, что он читает исторический роман. Вот это и есть настоящий коммерческий проект, написанный, отметим попутно, для кошелька, а не кошельком.

Далее скажем несколько слов по поводу «низкого» сценарного происхождения романа. Во-первых, обвинять сегодня ту или иную книгу в порочной сериальной природе есть признак некоторого культурного ретроградства. Современные сериалы не имеют ничего общего с условной «Санта-Барбарой» — сладкой гаванью грез уставших домохозяек девяностых годов прошлого века. В настоящее время сериалы превратились в локомотив кинематографа, стали площадкой смелых эстетических, жанровых экспериментов. Во многом качественный рост сериалов объясняется открывшейся возможностью для реализации повествовательных замыслов, которые по тем или иным причинам не вписывались в устоявшиеся киносценарные рамки. «Сопрано», «Дедвуд», «Во все тяжкие», те же «Игры престолов» формируют не только современный киноязык, но и оказывают мощное воздействие на другие виды искусства. Сфера непосредственного влияния сериалов распространяется и на литературу.

Второй момент связан с нестандартным маркетинговым ходом продвижения «коммерческого продукта». Многие уже слышали о скандальной ситуации вокруг выхода фильма и следующего за ним сериала. Писатель публично отказался от авторства сценария. Решение свое он объяснил невозможностью адекватного воплощения на экране своего замысла:

Съемки еще не начались, а режиссер так все исковеркал, что сюжет превратился в набор банальностей и штампов.

Личности героев исчезли без следа, логика событий утрачена, а какая-либо историчность пропала начисто. Это уже не моя работа, и я снял свое имя с титров. Слава богу, у меня остался роман «Тобол», и читатель сам сможет сделать вывод, что должно было, а что получилось.

Здесь нам неожиданно хочется заступиться за режиссера. То, *что* и *как* мы увидели читательскими глазами в романе, принципиально не может быть без потерь перенесено на киноэкран или быть показанным в сериале. Причин тому несколько, и они не относятся к технической стороне кинопроизводства. Главная — отсутствие в романе линейного, горизонтального сюжета. Да, современные режиссеры поднаторели в искусстве флешбэков, когда сцена из прошлого неожиданно раскрывает скрытый до этого мотив действий героев в настоящем. Проблема не в этом. Трудность заключается в том, что практически у *каждого* из героев «Тобола» есть свое прошлое, без учета которого невозможно полноценное раскрытие характера персонажа. Более того, подобный герой, возникнув в каком-либо эпизоде, появится в следующий раз через сотни страниц. Например, солдат Юрка предстает впервые перед читателем в начале романа, когда он в составе конвойной команды, которая охраняет пленных шведов, неспешно движется в Сибирь. Юрка не слишком выделяется среди других солдат, и кажется, что для писателя это просто статист. Но уже в следующем эпизоде — экспедиции есаула Полтиныча — его фигура вырастает. Возникает предыстория Юрки, что позволяет читателю укрупнить в своем сознании данный персонаж. Изнасилование солдатом местной девушки Айкони превращает Юрку в классического романного злодея — кажется, что он только открывает счет своим преступлениям. Но Юрка внезапно исчезает и появляется только через сотни страниц, уже во втором томе романа. И здесь он снова авторской во-

лей растворяется среди множества других героев — участников драматической обороны Ямышевской крепости.

Для читателя подобный писательский прием интересен, он позволяет почувствовать объемность, изменчивость созданного автором мира, в котором отсутствует строгое, механическое разделение героев на главных и второстепенных. Но как подобный писательский прием можно полноценно перенести на экран? Способов не так много. Можно в манере «Семнадцати мгновений весны» закадрово выдавать зрителю справки на героев. Но то, что стилистически точно соответствовало историческому антуражу шпионской саги о крушении Третьего рейха, вряд ли применимо к фильму про русскую историю начала XVIII в. То, что Иванов не без раздражения определил как «исковерканность», следует понимать иначе — как вынужденную адаптацию создателями картины авторского материала, учитывающую природу и специфику киноязыка. Все это свидетельствует о литературном происхождении «Тобола», невзирая на то, что первично — сценарий или сам роман.

Заметим, что обвинение в «сценарности», высказанное К. Мильчиным, косвенно поддерживают и другие известные критики. Г. Юзефович, высоко оценивая Иванова как писателя, тем не менее отмечает следующее:

Если вам сложно понять, зачем сегодня нужно писать (а главное, читать) нечто настолько консервативно прямолинейное — не то «Петр Первый» Алексея Толстого, не то «Россия молодая» Юрия Германа на новый лад, вы, в общем, не одиноки.

«Коммерческий проект», «консервативно прямолинейное»...

К этим определениям мы еще вернемся, а пока обратимся к самому роману и попытаемся, избегая предварительных оценок, понять, о чем написал известный

отечественный писатель в своем самом большом романе. По поводу последнего никто спорить не будет.

Начнем мы с того, что укажем на интересный момент, связанный с хроно-топом романа. Географический и событийный размах повествования втиснут в достаточно узкие временные рамки. Историческое повествование вмещается в одно десятилетие: от празднования полтавской виктории до казни князя Гагарина в 1720 г. И это не произвольно выбранные даты. Иванов очень удачно во всех смыслах обыгрывает школьный миф о Петровской эпохе, закрепленный в символах-понятиях: Полтава — «гнут-ся шведы», Петербург — «окно в Европу». По сравнению с кипением страстей в Сибири события на европейском театре кажутся бледными и неинтересными. Противостояние Петра и Карла — аккуратная игра в шашки на фоне ожесточенной, по-восточному изощренной борьбы между китайцами, джунгарами, русскими и другими игроками на большой азиатской карте. Не случайно шведы, сосланные в Сибирь, страдают не столько от бытовой неустроенности, сколько от ощущения своей чуждости окружающему миру, который они понять просто не могут. Капитан Табберт — один из центральных персонажей книги — с протестантской основательностью пытается описать край и его обитателей. Но лишь преодолев порог рациональности, он наконец приближается к подлинному пониманию Сибири — и в итоге бежит от ее магической силы, которая может заставить остаться на этой земле, стать своим для этих людей, разделить их большую сложную судьбу.

Накалу и изощренности геополитических войн соответствуют хитросплетения судеб героев «Тобола», которые не только подчиняются историческому ходу, но и определяют его. Мы знаем, что история создается свободными людьми, и писатель демонстрирует верность этому

тезису, опровергая еще одно устоявшееся представление о Сибири. Многие считают, что Сибирь в начале XVIII в. — редкая цепочка острогов и крепостей, обитатели которых сражаются с окружающим миром, преследуя одну цель — выжить. Иванов показывает неожиданно многолюдную, сложноорганизованную сибирскую жизнь. Не всякий из читателей романа, включая и самих сибиряков, знает, например, о том, что видное положение в Тобольске той эпохи занимала мусульманская община, состоявшая в основном из среднеазиатских купцов. Один из них — глава бухарских торговцев Ходжа Касым — не просто скупает пушнину у туземцев. Он контролирует тысячекилометровые маршруты движения товаров по тем самым землям, на которых тлеет или уже бушует огонь межплеменной вражды. Кроме этого, Касым пытается продолжить начатый за несколько столетий до него процесс приобщения сибирских народов к исламу. Писатель показывает, как поступки бухарца, отражающие разные, противоречивые стороны его натуры: холодный расчет торговца, подлинное религиозное чувство, слепую жажду мести, — переплетаются с движениями и стремлениями других героев. При этом конечный результат даже самой продуманной, просчитанной интриги может быть прямо противоположным замыслу. Слишком сильны, «энергичны», непредсказуемы сибирские люди, чтобы замысел одного из них механически осуществили другие.

Сибирский архитектор и летописец Семен Ульянович Ремезов черпает свою творческую да и бытовую энергию как раз из стремления не дать миру остановиться, поддаться ложному ощущению предопределенности и простоты:

Сибирь кажется полупустой и почти безлюдной, но на самом деле здесь множество народов и множество укладов. А жизнь — суровая. Промахнешься хоть в малом, не примешь в расчет, — и хлоп!

Сибирь расшибет тебя, будто комара ладонью. Здесь ничего нельзя достигнуть, если не разобрался, как все устроено. А устроено — сложно. И эту сложность во всей ее бесконечной путанице понимает разве что только Семен Ульяныч.

Не случайно фатально обречены персонажи, не сумевшие, как, например, полковник Новицкий, увидеть и почувствовать сибирской сложности и нелинейности, скрытых за ошеломляющими сознание масштабами:

Здесь, в Сибири, все ему казалось каким-то нечеловеческим. Слишком большая земля — бессмысленно, мучительно большая. Здесь тяжелые облака за день не добирались от одного края неба до другого. Здесь холодное солнце летом не успевало совершить оборот и лишь чуть окуналось за горизонт, чтобы сразу всплыть заново. На такую протяженность у бога не хватило разнообразия, и все здесь было заунивно-одинаковым: одинаковые низкие берега, одинаковые леса, одинаковые селения, одинаковые инородцы. Даже вода и воздух были одинаковыми.

Строительство Ремезовым тобольского кремля можно рассматривать не только как вызов, брошенный природе, утверждение человеческого духа:

Величие кремля пока только мерещилось, недовоплощенное, но оно уже незримо преобразило Воеводский двор. Оно означало: дух крепче плоти. То, что не имеет житейского применения, нужнее для бытия, чем все выгоды и пользы. Камень суть прах, а свет — несокрушимое адаманта.

Для героев романа сущность кремля раскрывается в различных собственных ощущениях и измерениях. Честный служака Бухгольц видит в нем за привычным символом государства указание на predeterminedность экспансии России:

В хлопотах прошедших месяцев он успел проникнуться духом этого города и вопреки своему воинскому знанию ощутил, что Тобольску и вправду нужен тот кремль, который возводит сей старик. Необходимость кремля отнюдь не стратегическая. Никто на Тобольск не нападет. Необходимость кремля — государственная, ибо Тобольск есть воистину азиатическая столица Отечества. И теперь архитектор показал ему те тонкие нити, которые влекутся от Тобольска к Туркестану, Джунгарии, Мунгалии и Китаю. Эти нити не дотянуть до Петербурга, да там никто в них и не разберется. Восточная экспликация державы возможна только отсюда. И кремль — очевидное изъяснение державной значимости Тобольска.

Возведение или даже проектирование строительства кремля — еще и дерзость в отношении российской власти. Читатель открывает для себя очередной малоизвестный исторический факт: после начала строительства на Неве будущей имперской столицы Петр запретил возведение каменных зданий на всей остальной территории страны. Ресурсы вкачивались в один имперский мегапроект. Поэтому Степан Ульянович обращается за поддержкой к сибирскому губернатору Матвею Петровичу Гагарину. За князем в общественном мнении закрепилась репутация лютого злодеем и вора. Таким он, например, предстает в романе известного исторического писателя XIX в. Г. П. Данилевского «На Индию при Петре I». Данилевский дает «грозному и жадному» князю развернутую нелестную характеристику:

Бывший нерчинский воевода, потом президент Сибирского приказа и некоторое время московский комендант, князь Матвей Гагарин управлял в последние семь лет Сибирью в качестве ее губернатора. Никто не смел жаловаться на самовластного, богатого князя. Сильные охотно с ним делились; мелкие боялись

и взглянуть на пышного сатрапа, творившего беспощадную расправу и суд не только над инородцами, но и над своими.

Показательно, что Иванов не стремится обелить «пышного сатрапа», найти смягчающие вину обстоятельства. Более того, автор добавляет еще одну темную краску, делающую портрет князя особенно мрачным. Как известно, на следствии Гагарину среди прочего было предъявлено обвинение в халатном отношении к подготовке экспедиции полковника Бухгольца. Затянувшаяся Северная война и многочисленные проекты Петра требовали все больших финансовых вливаний. Будущий император изыскивал любые способы для пополнения государственной казны. В 1715 г. возглавляемый Иваном Дмитриевичем Бухгольцем трехтысячный отряд выдвинулся из Тобольска в направлении города Яркенд. Целью экспедиции было овладение золотыми россыпями, которыми якобы славился этот древний азиатский город. Именно губернатор Гагарин обеспечивал отряд провизией, припасами, средствами передвижения.

Согласно писательской версии, в основе похода на Яркенд лежит сговор Гагарина с Тулишэнем — крупным китайским чиновником и по совместительству бизнес-партнером самого князя. В это же время разгорается конфликт между китайской империей и джунгарами, активно обкусывающими окраины китайской империи. Угроза нависает уже над Тибетом и его столицей Лхасой, что превращает приграничный конфликт в стратегическую проблему для китайцев. Прибывший с торговым обозом в Тобольск Тулишэнь предлагает Гагарину, по сути, спровоцировать конфликт между русскими и джунгарами с целью ослабить давление на Тибет. В случае отказа сибирского губернатора китаец будет вынужден прекратить их личное взаимовыгодное торговое сотрудничество. После недолгого колебания Гагарин, понимающий риск стать

«самым богатым человеком без башки», принимает предложение и получает от Тулишэня пайцзу — золотой знак подчинения китайскому императору.

При этом князь отчетливо осознает возможные последствия авантюры не только для себя, но и для всего государства:

Матвей Петрович думал, терзая бороду. Петра Алексеича на такой мякине не провести, он все равно почует унижение. Да и зачем России истреблять Джунгарию? Китай — очень сильная и очень хитрая держава. А Джунгария — щит между Китаем и Россией. Не станет Джунгарии — Китай придвинется к России вплотную: все сибирские города — Тюмень, Тара, Томск, Красноярск, Иркутск — станут пограничем. Албазин уже однажды был пограничем, и теперь на пустырях Албазина воют степные волки.

Но роковое для многих героев романа решение принято. Гагарин сообщает Петру о возможности решения финансовых проблем государства с помощью яркендского золота. Поход за мифическим золотом экспедиции Бухгольца превращается и в повод для конфликта с джунгарами, и в хитроумный способ передачи пайцзы джунгарам, чтобы убедить тех в реальности китайско-русского сговора.

Фактически князь отправляет трехтысячный отряд на погибель. Особый трагизм ситуации заключался в том, что отряд состоял из сибиряков, многих из которых Гагарин знал лично. Семья Ремезовых также участвует в походе. Среди русских солдат — младший сын Семена Ульяновича Петька и жених дочери поручик Иван Демарин. Все они для Гагарина — только расходный материал в его хитроумных торговых операциях.

Ремезова-старшего, обивающего пороги губернаторского дома, князь пытается искренне понять. Зачем старому архитектору какой-то кремль, откуда столько

энергии и напора? Уравнение князь решает, применив к Ремезову собственную формулу, прекрасно работающую во множестве случаев:

Матвей Петрович слушал с увлечением, но понимал на свой лад. Значит, Ульяныч тоже при своем интересе. На Приказной палате он себе подворье отстроил, а на кремле отстроит подворья для сыновей. Кремль ему нужен, потому что это выгода от мечты. Что ж, ничего дурного. Заработал — получи.

Матвей Петрович не верил в какое-то чистое рвение. Бессребреников надо искать в обителях, как он нашел Филофея, а не в миру. Мирянин, может, и не гонится за одной лишь сплошной выгодой, но выгода все равно должна быть.

Но постепенно, по мере вовлечения в строительство, прагматизм и житейский цинизм князя отступают. Кремль перестает для него быть исключительно объектом «откатов» и «распилов». Нет, Гагарин не переродился чудесным образом, «Тобол» — роман с элементами мистики, но не до такой степени. Здесь Иванов неукоснительно следует правде характера. Губернатор неожиданно видит, что все его личные торговые начинания странно связаны с чужим и чуждым, на первый взгляд, замыслом. Кремль не искупает грехов Гагарина, за которые ему придется ответить, но показывает нужность Гагарина в Сибири. Хорошо понимает эту предначертанность, мистическую пересеченность судеб князя и Сибири, Ремезов — не только архитектор, но и один из первых летописцев истории Сибири. Отправленный Гагариным в каземат за неуступчивость, он встречает губернатора, пришедшего его навестить, отнюдь не покаянными словами:

— Вот ты — хороший человек, добрый, — Ремезов говорил прямо. — По началу вроде даже весело было, хоть ты и воровал. Ну, конечно, кто-то зубами скрипел, вроде Касымки, кто-то плакал,

вроде Карпушки, однако же дела свершались, о чем-то мечталось, — вроде и потерпеть можно твой грех. Но дьяволато не унять. Церкву ему промеж рогов не построить. И глядишь — все благие начала в прах брошены, а певцам в глотки свинец заливают.

Гагарин поморщился:

— Не привирай про свинец.

— Ты своего архитектона в каземат посадил. Не едино ли, друг мой?

— Да выпущу я тебя, Ульяныч, — устало ответил Гагарин. — Иди куда хочешь. Празднуй Пасху. Но прошу: не пиши на меня донос. Я наверстаю, чего тебе обещал. Дострою кремль. А ты дай сначала от врагов отмахаться.

«Веселость» Гагарина со всем его окаянством (здесь князь морщится зря) — и есть встраивание в сложность Сибири, о которой автор говорит неоднократно. Чтобы состояться в Сибири, мало механически отдать на благое дело «долю малую». Большой грех требует еще большего искреннего покаяния, если не жертвы. Спрашивается со всех и всегда. Сибирские запредельные мистические масштабы не обезличивают людей и их поступки. Добро и зло никто не отменяет. Просто для них находятся свои места и диспозиции, которые могут быть самыми причудливыми и неожиданными. Исходя из этого, упрек Г. Юзефович в «консервативной прямолинейности» романа представляется, в свою очередь, излишне прямолинейным. На чем же в действительности основываются подобные суждения?

Если говорить о целостном впечатлении после прочтения «Тобола», то в сознание приходят такие забытые сегодня слова, как исторический оптимизм. И это оптимизм не декларируемый, не пропагандистский, не прописанный условным курсивом в романе. Он вырастает из самого текста по мере его раскрытия. Читатель вместе с автором поднимается на высоту, откуда видит и понимает нужность и важность всех персонажей. На-

сильник и трус Юрка-солдат, казнокрад и душегуб Гагарин, фанатик Авдоний необходимы Сибири наравне с создателями и воинами Ремезовыми, подвижниками Иоанном и Филофеем. Все их движения внезапно совпадают в какой-то высшей исторической точке. Пытающаяся укрыться от этого накатывающего движения в глуши родных лесов Айкони убеждается в невозможности спрятаться и пересидеть, защититься родовыми богами:

Земля очень, очень большая, везде разные реки, везде разные боги, и солнце везде светит по-разному... Но повсюду, повсюду — русские. Их убивают, они погибают от голода и холода, но все равно идут, идут, идут. Они отнимают добычу у рыбаков и охотников, они заставляют жить по-своему, они строят свои города, они изгоняют лесных богов и тащат за собой своего бога, потому что считают его сильнее всех.

«Отнимать и строить» — это словно двухтактный двигатель, в котором движение русских по Сибири во взаимодействии этих двух процессов начинается, но не заканчивается. Классические завоеватели с увлечением предаются единственному и естественному для них занятию: «отнять». То место, где они грабят, для них всего лишь безличное пространство, как безличны и неодоушевлены и те, кого они грабят: дикари, язычники и т. д. В нашем же случае русские обнаруживают мир с его обитателями, которые, прежде всего, интересны для них — пришедших и оставшихся. И Сибирь принимает русских, доказавших свою соразмерность ее глубине и сложности. В первом томе романа есть прекрасный эпизод, рисующий зимний бег санного торгового каравана по руслу замерзшего Иртыша:

Санный обоз мчался по ледяной дороге Иртыша. Свистели полозья, комья снега летели из-под конских копыт, клубились вихри снежной пыли. Чистое солнце ярко

пылало в гладкой и стылой синеве зимнего неба, словно округло омытое лампадным маслом. На сизых крутоярах проплывали мимо грозные ельники, запорошенные крещенскими вьюгами. Над обозом сияло золото хоругвей, и свободно вились их веселые хвосты. В стремительном и слаженном движении коней и саней было что-то победное, торжествующее и литургическое. Русские люди ехали по Сибири.

Солнце, «омытое лампадным маслом», крещенские вьюги, «литургическое» движение коней и саней... Сибирь приняла русских и их бога — такова одна из центральных сюжетных линий романа, которая соединяет, придает смысл отдельным историям и судьбам.

Для современной русской литературы подобный «большой образ», основанный на прочтении реальной отечественной истории, — событие, к сожалению, нечастое. Постепенно утверждается и п(р)одается читателю как норма конвенция о разделении литературы на высокую, настоящую — и литературу «для всех». Демаркационной линией служит соотношение языка и сюжета. Нам предлагается модель литературы, в которой языковая сторона произведений объявляется основой для положительной или отрицательной оценки. Языковые игры, культурные аллюзии и отсылки, метафорическая насыщенность или даже чрезмерность позволяют причислять те или иные тексты к чистой, высокой литературе. Сюжет вторичен, «сериален», как было сказано, он призван лишь развлечь невзыскательно-го читателя. Литература превращается в «упражнение на тему». Новосибирский, точнее, академгородковский прозаик Олег Постнов, рассуждая о природе своего писательства, приходит к справедливому заключению об отсутствии таковой. Филолог по образованию, автор диссертации о творчестве Гончарова, он считает наличие русской классической прозы позапрошлого столетия достаточным по-

водом для собственных литературных упражнений.

XIX век, русский психологический роман. К двухтысячным годам мои вкусы и цели определились: я хотел возродить стилистическую традицию того времени... Моя задача была по необходимости скромной: я хотел обратить внимание на себя — с тем, чтобы обратили внимание на классическое наследие прошлого.

Далее автор с удовлетворением отмечает, что «внимание немедленно обратили», «удостоился даже восторгов и проклятий». По поводу последних возникают некоторые сомнения. Какие могут быть проклятия за унылое переложение «классического наследия прошлого»? Установка на вторичность вызывает несколько иные чувства, главное среди которых — скука. Сюжет в подобных текстах представляется элементом факультативным, он идет прицепом к стилистическим упражнениям на заданную тему. Есть — нормально, нет — язык и тончайшая смысловая игра с легкостью компенсируют его отсутствие.

Возьмем, к примеру, ультрапопулярный среди (про)двинутой публики роман А. Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Знакомый нам К. Мильчин относит книгу к безусловным шедеврам современной прозы. Каковы основания для этого? Критик авторитетно объясняет нам:

Он рассказывает о вещах, которые всем известны, погружает читателя в узнаваемый быт и тину повседневности, в воспоминания о детстве, как приятные, так и неприятные. А дальше он завораживает рваным ритмом. Над этой книгой не заснешь, потому что тут повествование постоянно разрывается флешбэками.

Как мы должны понимать, когда «рвется» и «разрывается», то это признак высокой прозы. Благодарный и лишенный здорового сна критик идет дальше:

Жанр все время меняется. То это гриппозные скитания незадачливого автослесаря по Екатеринбург, «Улисс» на новый лад. То, как уже было упомянуто, триллер. То повесть о советском детстве. То пародия на историческую дискуссию.

Тут все прекрасно, включая революционное открытие новых жанров литературы — «гриппозных скитаний незадачливого автослесаря» и «пародии на исторические дискуссии». Ну и еще раз, чтобы мы знали, что есть настоящая литература высшей, джойсовской пробы:

Книга написана от третьего лица, речь держит автор, но по смыслу это, конечно же, бесконечный монолог то одного, то другого героя, который в гриппозном тумане вспоминает, рефлексировает, изумляется, не может долго держать одну и ту же мысль, возвращается к только что забытой идее, снова теряется и так до бесконечности.

Да, в отличие от персонажей Сальникова, страдающих недержанием мысли, автор «Тобола» показывает других, даже не персонажей — людей: сложных, интересных этой самой внутренней сложностью, соединяющих мысль и действие. Одним словом это называется цельностью. Даже фанатик Авдониий с его яростным, почти изуверским отрицанием грешного мира вызывает уважение. Недаром Табберт, изучающий Сибирь и русских, приходит к выводу, что старобрядцы — элементарные варвары, неспособные отделить сущность веры от ее символов и пойти на сознательный компромисс:

Русское церковное византийство после реформ оставалось таким же полновластным и пышным, каким было и прежде, и лишь незначительно отличалось в обрядах. Здравомыслящий человек примет эти отличия без сопротивления: не все ли равно? Но русские фанатики согласны были погибать за форму креста или за

произношение пары звуков в Символе веры. Это было признаком варварства.

Но именно цельные люди совершают цельные поступки, которые только и могут изменить историю. Наверное, это можно назвать той самой прямолинейностью, о которой говорит известный критик. Подобной прямолинейности нам не хватает не только в литературе, но и в сегодняшней жизни. Символично, что значительная часть действующих лиц романа — реальные исторические личности, начиная с князя Гагарина, Ремезова-старшего, полковника Бухгольца, Григория Новинского, митрополита Филофея. И мы понимаем, что они действовали не в одиночку, что их окружали соразмерные их масштабу и настоящие во всех смыслах люди — наши предки. Прямолинейные такие предки. Без Джойса, флешбэков и «потока сознания». И перед нами здесь, в настоящем появляется выбор: «теряться до бесконечности» или идти навстречу бесконечности, «погружаться в тину повседневности» или, бросив вызов тягучему времени, утвердить веру и оставить след своего «я», впечатав его в белые стены своего тобольского кремля. В этом отношении «Тобол» — роман о выборе. Выборе спокойном, без надрыва, и поэтому ценном в нашем пестром суетливом мире.

Конечно, мы не стали расплетать все сюжетные линии, как и пересказывать «основное содержание» романа. И дело, разумеется, не в объеме, а в глубине повествования, насыщенного неожиданными сюжетными поворотами. Автору удался жанровый сплав: перед нами не просто механическое чередование исторических, мистических, приключенческих, любовных эпизодов и сюжетов. Алхимия таланта и мастерства как раз заключается в том, что читатель не видит этих переходов и швов, обточки персонажей под определенные типажи и поступки. Это невозможно пересказать — требуется прочитать. Но уже из того, что мы показали, следует ясный, определенный вывод: «Тобол» написан удивительно вовремя. Его не шумный, ровный успех означает, что его прочитали и читают нужные, соразмерные уже роману, люди. Они не спешат делиться впечатлениями в ЖЖ, выкладывать посты «по поводу» в «Фейсбуке». Есть вещи, которые нужно понять, прочувствовать, продумать — с этого начинаются изменения внутри человека. Раньше это называлось духовным ростом и считалось, что литература напрямую влияет на него. Нам кажется, что «Тобол» Алексея Иванова и в этом отношении по-хорошему историчен.



Владимир ЧИРКОВ

«ЖЕЛЕЗНЫЙ СКУЛЬПТОР» АЛЕКСАНДР КАПРАЛОВ

Александр Капралов относится к той категории художников, про которых, сколько ни говори, — не выговоришься. Причина в его личности — творческой, умеющей в жизни увидеть то, чего не замечают другие. Александр как-то в интервью обронил: «За людьми так интересно наблюдать!» Про наблюдательность художника далее и пойдет речь, но сначала — пару слов о том, «откуда есть пошел» Александр Николаевич Капралов.

* * *

Родился он 12 июля 1959 г. в п. Ольгино (Москаленки) Москаленского р-на Омской области. Как и у всех талантливых по природе людей, тяга выдумывать и воплощать у Александра проявилась рано, что было замечено местным художником Евгением Муратовым, который и стал его первым учителем. Позже, в 1989 г., Капралов окончил знаменитый омский худграф (художественно-графический факультет Омского государственного педагогического института) — от тех лет осталась серия академических рисунков карандашом, выполненных крепкой мужской рукой, и с десятков гипсов, предвосхищающих будущее конструктивное мышление художника. Александр институт окончил блестяще: свою дипломную работу «Эскиз памятника Ф. М. Достоевскому» (1989, гипс) художник впоследствии, в 2000 г., перевел в материал. Скульптура «Крест несущий. Достоевский» (металл, сварка, тонировки) уста-

новлена в центре Омска и является одним из пластических символов города. А ведь за сложные образы, подобные Достоевскому, в искусстве берутся не многие — только те, кто имеет необходимый интеллектуальный ресурс. А у Капралова этот ресурс есть, причем — раскрывающийся с каждым годом, обогащенный смелыми экспериментами, ведущими к новым творческим обретениям и очевидным победам. Это доказывают и персональные выставки, и профессиональные награды, и несколько изданных альбомов его работ.

Таких, как Александр Капралов, еще называют самородками, потому что они все делают сами и по-своему — и даже учатся на свой манер, видимо, памятуя о словах Марка Твена: «Я никогда не позволял школе вмешиваться в мое образование». Позже, становясь на ноги, подобные самородки в искусстве демонстрируют то, чего люди еще как бы и не видывали. Вот это «невиданное» мне доводилось наблюдать практически на всех выставках Александра, с конца 1980-х гг. Впечатлениями от работ Капралова, очевидцем появления на свет которых мне посчастливилось быть, я и хочу поделиться с читателями.

**«Колесо покаяния» —
длинный, длинный путь**

Первая монументальная сварная композиция «Колесо покаяния» появилась в 1994—1995 гг. — она открыва-

ла выставку «Война и Мир или Ад и Рай...» (1995) и сразу показывала, что в искусстве пластики появился художник, способный современным общественным проблемам найти историческое и общекультурное обоснование.

Ранние капраловские «Икар», «Реквием», «Вознесение», созданные в гипсе, мраморе и дереве (начало 1990-х), в «Колесе» словно обросли иными историческими напластованиями — экспрессивная (даже агрессивная!) пластика скульптуры воспринималась чрезвычайно живо, может быть, и по той причине, что зрители интуитивно предчувствовали испытания, которые еще предстоит пройти стране...

А художник все это время будет работать над формой своих высказываний — универсально круглое «Колесо», развиваясь параллельно с вертикалями и диагоналями скульптурных объемов, предвосхитило в творчестве автора родственную форму шара, таким образом задав на годы вперед мотив непрерывного движения и развития. Очевидно, что Александр Капралов — и как художник, и как человек — комфортно чувствует себя в полярных образах: в одних случаях он демонстрирует гармонические страницы бытия человека («Солнечная ладья», 2005; «Поиск истины», 2014), а в других — трагические («Мольба», 2005; «Автопортрет», 2011; «Ковчег (Переселение)», 2015).

Короли, шуты, арлекины и прочий безымянный люд

Сварные скульптуры и композиции Александра Капралова наполнены шутами, королями и тронами (троны стали появляться только в двухтысячные годы), но персонажи эти нарочито неконкретны. Короли, клоуны, шаманы, поэты, эквилибристы — они нужны художнику лишь в качестве символов (знаков) для раскрытия современных тем и образов. Прием в искусстве совсем не новый, но у одних он не срабатывает, а у других (как у Капралова) — попадает в самую точку.

Секрет, видимо, заключается в том, что автор, не перегружая свои композиции малопонятными зрителю постмодернистскими мотивами, словно бы говорит простым и доступным языком: «Мы живем по давно установленным библейским законам. Есть овцы, волки и пастухи. Волки иногда терпят овец, в то время как пастухи уверяют, что могут выбрать верный путь для стада...»

Вспомним время, сформировавшее творческое кредо Капралова, — «лихие девяностые», когда народ быстро и болезненно разделили на богатых и бедных, когда пышно расцвели «либеральные» ценности и двойные стандарты, а потребности стали превыше обязанностей. Страна, не знавшая, что такое и кто такой президент, мгновенно превратилась в страну президентов: в каждой конторе — президент, и не какой-нибудь завалящий, а — король своей конторы! Так называемый человеческий фактор времени обернулся не только нравственными потерями, но и трагедиями далеко не локального масштаба: войнами, природными, экологическими, техногенными, транспортными катастрофами, уносившими враз тысячи жизней. Вот откуда пошла вереница современных образов художника, упакованная в историческую лексику, — цепкий глаз Капралова все это отследил, оценил, а острый ум понял: для новых реалий нужны новые материалы и выразительные средства. И то и другое он быстро нашел — черный металл и холодная сварка с элементамиковки и тонировки.

По королевской теме и сварной технике Капралова, как по подножному сочному корму, до сих пор гуляют многие СМИ, муссируя преимущественно одну черту в трактовке королей — ироническую. Конечно, такая интонация присутствует, часто превалирует, но сводить громадный пласт творчества художника только к ней — значит допустить ошибку. Попытаемся расширить диапазон образов.

Галерею «королей» открывают рисунки и скульптуры начала 2000-х гг. — эдакое камеральное исследование актуальной темы: каково быть на вершине

власти? При этом у художника отношение к «королям» разное, неподвзятое, точнее — исследовательское. Вот композиция «Король и шут» (2012) — персонажи расположились на спине рогатого жука (что бы это значило?), и кто из них «главнее», король или шут, сказать трудно: избранная автором дробность, многословность исключают пластические акценты, внося в характеристику персонажей безликость. Другой сюжет, «Король на прогулке» (2014) — веселый, беззаботный, даже ребячливый; имеет право, человек же! Но особо в «королевском» ряду у Капралова выделяется «Король на троне» (2007) — детально проработанный в карандаше и металле образ вызывает чувство сострадания: король одинок на вершине власти, незащищен и даже жалок. Фигуративно-персонажное изображение властных образов художник переводит в символическую плоскость, допуская мысль, что не только власть, но и жизнь вообще есть способ достижения баланса сил, компромиссов («Эквилибрист», 2013; «Баланс», 2008).

Через четыре года художник переносит работу, о которой сказано выше, акцентируя внимание на пластике: архитектоника вертикальной композиции из кубов, вознесшей на вершину короля, откровенного в своей наготы, воспринимается философски — как поиск и надежда на компромиссное равновесие. Хочется в это верить. Особенно в контексте нынешнего времени...

О воротах

В изобразительном искусстве, в литературном творчестве, как и в целом в искусстве, мотив врат, ворот, дверей, арок уходит в глубокую древность, несет груз моральных и эстетических исканий человека.

В творчестве Александра Капралова эти мотивы прочитываются как фундаментальные ценности, цементирующие все его творчество. Одним из распространенных культурных мифов о воротах является представление о границе, пересечение которой означает нравственный выбор. Наше вре-

мя до предела обострило проблему такого выбора, нередко уходя в сторону балагана, шутовства, развлечения, затушевывая суть проблемы. Но для Капралова, столь остро реагирующего на реалии мира, это проблема личная. Он раньше других жестко прочертил границу и четко обозначил свою позицию: «Есть вещи, которые должны будоражить человека. Не эпатировать, а будоражить — идеей, чтобы в этом ощущалась сила мысли, а не стес».

Мотив ворот как философия перехода границы в жизни и творчестве Александра Капралова звучит особенно внятно с начала 2000-х гг.: его врата — это, без преувеличения, граница ада и рая, жизни и смерти, чести и бесчестия. Его скульптуры (начиная с ранних, в мраморе и дереве) обладают графически острой линией, четкостью, ясностью, выразительностью, эстетством — этаким «графизмом», по которому безошибочно узнается авторский почерк Капралова. Именно эту графическую, ремесленную и образную проработку мы видим в рисунках «Врата» (2003 и 2007) и «У ворот» (2013).

Если в графике 2003 г. и скульптуре 2007 г., несмотря на намеренную сдвинутость ворот от вертикальной оси, образ героя с нимбом воспринимается более гармоничным, то в скульптуре 2013 г. образ заметно приземлен. Нет, он по-прежнему с венцом, но сидящая на перекладине птица пластически более изящна: ее тонкий силуэт несет больший отпечаток авторской симпатии, чем тяжелый облик и профиль «поэта».

Тема границы именно в этих работах обостренно воспринимается еще, может быть, и потому, что в 2004 г. художник вернулся к теме Достоевского: рисунок «Крест несущий» (2004) — это капраловское «каноническое» изображение писателя.

«Крест несущий. Достоевский»

Как мы уже знаем, Достоевским художник «болеет» со студенческих лет. В 2000 г. (благодаря благоприятнейшему стечению обстоятельств) в сквере театра драмы был открыт памятник «Крест не-

суший. Достоевский» работы Александра Капралова. К слову, живописных и скульптурных портретов, станковых скульптур Ф. М. Достоевского существует немало, а вот именно памятников — меньше. И Омск чуть ли не единственный город в России, где есть два памятника великому писателю. Интерес омичей понятен: здесь Достоевский провел четыре года в тюрьме, отразив это в «Записках из Мертвого дома», и, кажется, наложив отпечаток на восприятие города на годы вперед. Александр Капралов, исподволь живший «своим» Достоевским, уже к моменту первого эскиза в гипсе на четвертом курсе института понял, что это должен быть не «вообще» Достоевский, а именно «омский» Достоевский, привязанный к городу. Позже художник неоднократно возвращался к этой теме: «Достоевского хотелось сделать именно “омского”. Я пришел к пластическому решению в виде блока. Понятно, метафора: это и перекрытие тяжелое, давящее на человека в остроге, а с другого ракурса — это крест. Хотелось воплотить мысль о человеке, несущем крест».

Вертикальной композицией «Крест несущего» художник закрепил генеральную линию своего творчества: движение жизни как пластическая идея развития вверх (наравне, как мы помним, с мотивом колеса-шара как бесконечного движения по кругу, возвращения к себе). Зная искусство художника, можно даже сказать так: само творчество Александра Капралова и есть «несение креста», как бы высокопарно это ни звучало. В 2013 г. художник сделал попытку и обобщенного решения этой темы, выполнив многофигурную композицию «Несущие крест»: в ней скорее прочитывается иллюстрация библейского первоисточника, чем аллюзия на современность, несмотря на детали, отсылающие ко дню нынешнему.

Без названия

Помимо «Слепых» (2013), «Одиночества», «Россиянина», «Репетиции»

(все — 2014) и им подобных композиций, чье содержание и смысл доведены до публицистического, социального и даже политического звучания, хочу остановиться на работах другого ряда. Образы композиций «Падение» (2008), «Торсы» (2013), «Полет», «Мечта» (обе — 2015) окрашены романтическим, возвышенным и нередко — трагическим восприятием мира. К этому же ряду можно отнести очень красивый карандашный рисунок «Путник» (2011), пронизанный идеей вечного движения, точнее — обновления. Эти работы резко расширяют представление о своеобразии и глубине таланта Александра Капралова. Началом же этого списка можно считать городские скульптуры «Дон Кихот» (2000) и «Двое в лодке» (2005) — красивую, пластичную, философскую работу.

На первый взгляд, стилистика последней работы стоит несколько особняком в творчестве мастера, но это только на первый взгляд. На самом деле через красивую, стилизованную параболу композиции «Двое в лодке» проделан значительный путь для трансформации формы круга «Колеса» и вертикалей работ студенческой поры («Посвящение Дали», 1986; «Скрипач», 1987; «Достоевский», 1988) в диагональ. Правда, уже и в «Лучнике» (1997) намек на диагональ присутствует, получая продолжение в параболо-диагональном построении «Падения» (2008), усиленном линейно-геометрической пластикой.

* * *

В заключение отмечу, что сделанный обзор, конечно же, полного представления о творчестве Александра Капралова не дает. За условными границами моих этюдов осталась ранняя графика, отмеченная академической чистотой рисунка, скульптурные образы степи, всадников, воинов, античных героев, мифологических персонажей — и множество других образов и сюжетов, познакомиться с которыми можно будет на персональной выставке художника и скульптора в Омске.

АВТОРЫ НОМЕРА

Бецко Анжела Михайловна родилась в 1968 г. в Минске. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Работает инженером. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Неман», «Югра» и др. Автор трех поэтических сборников и книги прозаических миниатюр. Член Союза писателей России. Живет в Нефтеюганске.

Владимиров Сергей Андреевич родился в 1977 г. в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Работал журналистом, специалистом по связям с общественностью, ведущим и редактором на телевидении. Живет в Новосибирске.

Ивин Алексей Николаевич родился в 1953 г. в Вологодской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в Московской писательской организации, в столичных журналах. Публиковался в журналах «Знамя», «День и ночь» и др. Живет в г. Киржач Владимирской области.

Кирилин Анатолий Владимирович родился в Барнауле в 1947 г. Автор двенадцати книг прозы и публицистики, изданных в Сибири и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

Колесник Любовь Валерьевна родилась в 1977 г. в Москве. Окончила биологический факультет Тверского государственного университета, работает редактором. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Арион», «Сибирские огни», «Дальний Восток» и др. Автор шести книг поэзии и прозы. Живет в Ржеве и Москве.

Копнинов Валерий Павлович родился в 1963 г. в Барнауле. Окончил Алтайский институт культуры и ГИТИС. Автор книги рассказов «Сукны дети». Публиковался в журналах «Север», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни». Работает режиссером телевидения. Член Союза театральных деятелей РФ. Живет в Барнауле.

Короткова Наталья Сергеевна родилась в 1974 г. в Бердске Новосибирской области. Окончила факультет психологии Новосибирского гуманитарного института. Работала психологом в реабилитационных центрах для инвалидов. В настоящее время директор по персоналу торговой компании. Публиковалась в журналах «Дон», «Сибирские огни» и др. Живет в Бердске.

Крюков Владимир Михайлович родился в 1949 г. в селе Пудино Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского университета. Автор ряда поэтических сборников и книги прозы. Член Союза российских писателей. Живет в селе Тимирязевском под Томском.

Михайлова Нина Ивановна родилась в 1976 г. в Рославе. Окончила Новосибирский техникум легкой промышленности. Работала пекарем, поваром в столовой, библиотекарем. Публи-

куется впервые. Живет в с. Новобибеево Новосибирской области.

Перминова Надежда Ильинична родилась в 1943 г. в Маньчжурии. Окончила Кировский педагогический институт, Высшие литературные курсы. Автор 25 книг стихов и прозы. Лауреат ряда литературных премий. Работала журналистом, референтом областной писательской организации, руководителем ЛИТО. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Кирове.

Подистова Лариса Николаевна родилась в 1967 г. в Алама-Ате. Окончила Новосибирский государственный университет, филолог. Много лет преподавала русский язык и литературу, а также иностранный язык в школе. Стихи и проза публиковались в журналах «Новосибирск», «Невский альманах», «Дальний Восток», «Север» и др. Член Союза писателей России.

Полюга Михаил Юрьевич родился в 1953 г. в Бердичеве (Украина). Окончил Харьковский юридический институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор 19 книг поэзии и прозы. Публиковался в литературных периодических изданиях Украины, России, Германии, Израиля. Член Национального союза писателей Украины и Союза российских писателей. Живет в Бердичеве.

Савченкова Татьяна Павловна родилась в 1953 г. в Приморском крае. Окончила факультет русского языка и литературы Ишимского государственного педагогического института и аспирантуру Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена. Кандидат филологических наук. Автор ряда монографий по истории сибирской литературы и культуры. Живет в Ишиме.

Селюкова Дарья Александровна родилась в 1990 г. в Белгороде. Окончила факультет романо-германской филологии Белгородского государственного университета. Переводчик, журналист. Публиковалась в журнале «Дружба народов». Работает специалистом по связям с общественностью в БелГУ. Живет в Белгороде.

Хлебников Михаил Владимирович родился в 1974 г. Кандидат философских наук. Автор книг «Теория заговора. Опыт социокультурного исследования» и «Теория заговора. Историко-философский очерк». Публиковался в журнале «Подъем», газете «Литературная Россия». Живет в Новосибирске.

Чирков Владимир Федорович родился в 1947 г. Кандидат философских наук. Заслуженный деятель культуры Омской области, член комиссии по искусствоведению и художественной критике ВТОО СХР, почетный член Российской академии художеств. Автор более 300 публикаций и научных трудов, куратор выставочных и научных проектов. Живет в Омске.

СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 04.03.2019. Дата выхода № 4 за 2019 г. в свет 11.04.2019.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.